Оноре де Бальзак

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА



Свыше двадцати иллюстраций
и элементов оформления
Шарля Уарда

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ





Оноре де Бальзак
(1799–1850)

Оноре де Бальзак

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА



Перевод
Д. В. Аверкиева

Иллюстрации
Шарля Уарда

творческое объединение
Алькор

Совместный проект издательства СЗКЭО
и переплетной компании
ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Санкт-Петербург
СЗКЭО

ББК 84(4)-44
УДК 821.133.1
Б20

Первые 100 пронумерованных экземпляров
от общего тиража данного издания переплетены мастерами
ручного переплета ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Классический европейский переплет выполнен
из натуральной кожи особой выделки растительного дубления.
Инкрустация кожаной вставкой с полноцветной печатью.
Тиснение блинтовое, золотой и цветной фольгой.
6 бинтов на корешке ручной обработки.
Использовано шелковое лясе, золоченый каптал из натуральной кожи,
форзац и нахзац выполнены из дизайнерской бумаги Malmero
с тиснением орнамента золотой фольгой. Обработка блока
с трех сторон методом механического торшонирования
с нанесением золотой матовой полиграфической фольги горячим способом.
Оформление обложки пронумерованных экземпляров
разработано в ООО «Творческое объединение „Алькор“»

Б20 **Бальзак О.де.** Шагреневая кожа: — Санкт-Петербург. СЗКЭО, 2023.— 200 с., ил.
«Шагреневая кожа» — еще один роман из «Сцен жизни Парижа» большого цикла «Человеческая комедия», написанный О. де Бальзаком в 1830–1831гг. Автор рисует картину жизни простого человека, чья судьба переплелась с древним мистическим талисманом таинственного Востока.
Иллюстрации к роману создал французский художник XIX в. Шарль Уард. Его работы подчеркивают социальную направленность произведения.

ISBN 978-5-9603-0858-8 (7БЦ)
ISBN 978-5-9603-0859-5 (Кожаный переплет)
© СЗКЭО, 2023

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Господину Савари
члену Академии наук



Стерн, *«Тристрам Шенди»* (глава CCCXXII)

ТАЛИСМАН



В конце октября 1829 года молодой человек вошел в Пале-Руаяль в тот час, когда, согласно закону, покровительствующему сугубо облагаемой страсти, открываются игорные дома. Без особого колебания поднялся он в притон, значившийся под номером 36.

— Шляпу позвольте, сударь, — сухим и ворчливым голосом крикнул ему бледнолицый старичок, который примостился в тени за загородкой и внезапно привстал, обнаружив лицо, отлитое по какому-то гнусному образцу.

При входе в игорный дом, закон, прежде всего, лишает вас шляпы. Что это, евангельская и пророческая притча? Или же это особый вид заключения с вами адского договора, предусматривающий какой-нибудь залог? Или этим хотят навязать вам почтительное обхождение с теми, кто вас обыгрывает? Или полиция, которая пробирается во все общественные клоаки, желает знать фамилию вашего шляпочника или вашу собственную, если вы пометили ею свой головной убор? Или же это делается для того, чтобы снять мерку с вашего черепа и составить поучительную статистику умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но знайте! едва вы сделаете шаг к зеленому полю, как уже ваша шляпа принадлежит вам не больше, чем вы принадлежите самому себе; вы составляете собственность игры, вы и ваше состояние, и шляпа, и палка, и плащ. При выходе *игра* превратит в действительность жестокую эпиграмму и докажет, что, возвращая ваше добро, она всё же еще кое-что вам оставляет. Если же, паче чаянья, у вас новая шляпа, то вы на собственной шкуре узнаете, что следует обзавестись костюмом игрока.

Изумление, которое обнаружил молодой человек при получении нумерованного ярлычка взамен шляпы, оказавшейся, по счастию, с несколько потертыми полями, в достаточной степени доказывало, что у него еще душа новичка. Старичок, без сомнения погрязший с юности в отвратительных наслаждениях жизни игроков, посмотрел на него тусклым и холодным взглядом, в котором философ мог бы разглядеть ужасы больницы, бродяжничество разоренных людей,

протоколы о целой куче самоубийств при помощи удушья, бессрочные каторжные работы, бегство в Гуасакоалько [1]. Этот человек, с длинным, белым лицом, побледневшим от желатинных похлебок Дарсе [2], являл собою бледный образ страсти, доведенной до самого упрощенного вида. В его морщинах виднелись следы застарелых мучений; он, конечно, проигрывал свое скудное жалованье в самый день получки. Как на кляч уже не действуют удары бича, так и его ничто не заставило бы вздрогнуть; на него не влияли ни глухие стоны проигравшихся до разорения картежников, ни их немые проклятия, ни их отупелые взгляды. Он был воплощением игры. Если бы молодой человек разглядел этого мрачного цербера, то, может быть, подумал бы: «В этом сердце нет ничего, кроме колоды карт». Но незнакомец не внял этому живому совету, без сомнения, поставленному тут самим провидением, которое водружает отвращение у порога всех злачных мест. Он с решительным видом вошел в зал, где звон золота ослепляюще завораживал обуреваемые алчностью чувства. Этого молодого человека, вероятно, заставило прийти сюда самое логичное изо всех красноречивых изречений Жан-Жака Руссо, печальный смысл которого, кажется, таков: *Да, я допускаю, что человек прибегает к Игре, но лишь тогда, когда между собою и смертью он не видит ничего, кроме последнего экю.*

Вечером поэзия игорных домов пошловата, хотя ее успех столь же обеспечен, как и успех кровавой драмы. Залы набиты зрителями и игроками, небогатыми старцами, притащившимися сюда, чтоб погреться, и лицами, охваченными возбуждением; тут оргии начинаются с вина и готовы окончиться в водах Сены. Если и бушует страсть, то всё же слишком большое число действующих лиц мешает вам взглянуть прямо в лицо демону игры. Вечером тут настоящий музыкальный ансамбль, где голосит вся труппа, где всякий инструмент в оркестре модулирует свою фразу. Тут вы увидите множество почтенных особ, которые пришли ради развлечения и платят за него так же, как за удовольствия зрелища или обжорства, или, как если бы они отправились в какую-нибудь мансарду, чтобы купить по дешевой цене жгучих сожалений на три месяца. Но понимаете ли вы, какое волнение и какая напряженность должны господствовать в душе человека, который ждет с нетерпением открытия игорного дома? Между утренним и вечерним игроком такая же разница, как между беспечным мужем и любовником, млеющим под окнами своей возлюбленной. Только под утро появляются трепетная страсть и нужда во всем своем неприкрашенном ужасе. В это время вы можете полюбоваться на истого игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал, до того подхлестывает его бич дублетных ставок, до того он истерзан, измучен зудом ожидания, как выпадут карты в *trente-quarante*. В этот

---

[1] Гуасакоалько — река в Мексике; на ее берегу находилась французская колония для ссыльных.

[2] Дарсе Жан-Пьер (1777—1844) — французский химик; преимущественно занимавшийся вопросами практического применения химии, в частности — извлечением желатина из костей; приготовленный из этого желатина бульон, малопитательный, служил пищей городской бедноте.

проклятый час вы увидите глаза, спокойствие которых ужасает; лица, которые вас завораживают, взгляды, которые пронизывают и пожирают карты. Поэтому притоны азарта великолепны только в то время, когда посетители приступают к игре. Если в Испании есть бои быков, а в Риме были гладиаторы, то Париж гордится своим Пале-Руаялем, где возбуждающие рулетки доставляют приятное зрелище льющейся потоками крови, не подвергая зрителей опасности поскользнуться. Попытайтесь, взгляните украдкой на эту арену... войдите!.. Что за скудное зрелище! Стены, оклеенные засаленными, до высоты человеческого роста обоями, не представляют ничего, что могло бы освежить душу. В них не вбито даже гвоздя, который мог бы поспособствовать самоубийству. Паркет стертый, грязный. Продолговатый стол занимает середину зала. Простота соломенных стульев, стеснившихся вокруг этого истертого золотом сукна, указывает на любопытное равнодушие к роскоши у людей, явившихся сюда, чтоб погибнуть ради богатства и роскоши. Такое противоречие человеческой природы обнаруживается всюду, где душа оказывает могущественное воздействие на самое себя. Влюбленный желает одеть свою любовницу в шелк, облечь в мягкие восточные ткани, и большей частью обладает ею на жалком одре. Честолюбец мечтает о вершине власти, пресмыкаясь в грязи раболепства. Купец прозябает в глубине сырой и нездоровой лавки, воздвигая обширные хоромы, откуда его сына, скороспелого наследника, выгонит продажа с молотка его доли наследственного имущества. Наконец, есть ли что-нибудь отвратительнее домов наслаждения? Странная загадка! Вечно в противоречии с самим собой, обманывая ожидания переживаемыми бедствиями и бедствия не принадлежащей ему будущности, человек налагает на все свои действия печать непоследовательности и слабости. На земле ничто не совершенно, кроме несчастья.

В ту минуту, как молодой человек вошел в зал, там уже было несколько игроков. Три плешивых старика небрежно расселись вокруг зеленого поля; их гипсовые маски, бесстрастные, как лица дипломатов, обличали пресытившиеся души, сердца, давно разучившиеся трепетать, даже когда они ставили на карту личное имущество жены. Молодой черноволосый итальянец с оливковым лицом сидел, спокойно облокотившись на край стола, и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые роковым образом шепчут игроку: «да!» — «нет!». Это южное лицо отливало золотом и огнем. Семь или восемь человек стояли, как бы образуя галерею зрителей, и ждали сцен, которые готовили для них удары судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди стояли тут, молчаливые, неподвижные, внимательные, как народ на Гревской площади, когда палач отсекает осужденному голову. Высокий, сухопарый мужчина в потертом платье держал в одной руке табличку, а в другой булавку, чтобы отмечать, когда выпадет красная или черная. То был один из современных Танталов, которые живут в стороне от всех наслаждений своего века, один из тех скупцов без состояния, которые играют на воображаемую ставку, — род рассудительного сумасшедшего, который утешается в своих бедствиях, лелея химеру; словом, который поступает с пороком и опасностью так же, как молодые священники с евхаристией, когда

служат белую мессу. Напротив банкомета поместились один-два ловких и расчетливых игрока, умеющих учитывать шансы и похожих на бывших каторжников, которым уже не страшны никакие галеры; они явились сюда, чтобы рискнуть на три ставки и немедленно унести вероятный выигрыш, которым жили.

Двое престарелых служителей беспечно, со скрещенными руками, прогуливались по залу и от времени до времени выглядывали из окон в сад, как бы для того, чтобы показать прохожим вместо вывесок свои пошлые лица. Банкомет и крупье только что взглянули на понтеров тусклым, убийственным для них взглядом и провозгласили звонким голосом: «Делайте игру!», когда молодой человек отворил дверь. Наступило молчание, до некоторой степени еще более глубокое, и все головы из любопытства повернулись ко вновь вошедшему. Неслыханное дело! Отупевшие старики, окаменелые служители, зрители и даже фантастический итальянец,— все при виде незнакомца почувствовали нечто вроде ужаса. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы внушить симпатию, или же обладать очень мрачным видом, чтобы заставить вздрогнуть души в этом зале, где страдания обязаны быть молчаливыми, нужда веселой, отчаяние приличным. И что же! Все это заключалось в том новом ощущении, которое взволновало эти ледяные сердца при входе молодого человека. Но разве и палачи порою не плакали над участью чистых девушек, чьи белокурые головы им приходилось отсекать по приказу Революции?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; на его юных чертах была печать некоей сумрачной прелести, его взор говорил о бесплодных усилиях, о тысяче обманутых надежд. Угрюмая бесстрастность самоубийцы придавала его лбу матовую и болезненную бледность, горькая усмешка змеилась легкими вкладками в углах рта, а лицо выражало покорность року, оставлявшую тяжелое впечатление. Какой-то тайный дух сверкал в глубине его глаз, затуманенных, быть может, избытком наслаждений. Или то разгул наложил свою грязную печать на это благородное лицо, некогда чистое и оживленное, теперь же утерявшее свое достоинство? Доктора, без сомнения, объяснили бы болезнью сердца или грудной полости желтые круги вокруг век и красные пятна, выступившие на щеках, между тем как поэты охотно признали бы в этих признаках опустошения, произведенные наукой, следы ночей, проведенных при свете рабочей лампы.

Но страсть, более убийственная, чем болезнь, болезнь, более безжалостная, чем наука и гений, истрепали это молодое лицо, напрягли эти подвижные мускулы, скрутили это сердце, которого едва коснулись оргии, наука и болезнь. Когда прославленный преступник является на каторгу, другие осужденные встречают его с почтением; так и все эти демоны в людском образе, искушенные в мучениях, преклонились перед неслыханным горем, перед глубокой раной, которую измерял их взор, и узнали одного из своих властителей по величию его темой иронии, по изящной бедности его одежды. На молодом человеке был фрак, свидетельствовавший о хорошем вкусе, но пространство между жилетом и галстуком было слишком искусно прикрыто, чтоб можно было заподозрить

присутствие белья. Руки, красивые и женственные, отличались сомнительной чистотой; ведь уже два дня, как он ходил без перчаток! Банкомет и служители оттого и вздрогнули, что в этих тонких и изящных чертах, в этих редких, вьющихся от природы, белокурых волосах еще отчасти уцелело цветущее очарование неискушенной души. Этому лицу было всего двадцать пять лет, и порок на нем казался случайностью. Свежая, юная жизнь еще боролась в нем с опустошениями бессильной похоти. Мрак и свет, небытие и существование еще ратоборствовали в нем друг с другом, производя одновременно впечатление прелести и ужаса. Молодой человек походил здесь на ангела без сияния, сбившегося с пути. Оттого-то все эти заслуженные профессора порока и позора, словно беззубая старуха, проникшаяся жалостью к юной красавице, отдающейся разврату, готовы были крикнуть новичку: «Уйдите!» Но тот прямо подошел к столу, стал подле него и швырнул, не задумываясь, на сукно золотую монету, которая была у него в руках; она откатилась на черное табло; затем, как человек с сильной душой, ненавидящий сутяжнические колебания, он бросил на банкомета вызывающий и в то же время спокойный взгляд. Эта ставка представляла такой громадный интерес, что старички воздержались от игры; но итальянец с фанатизмом страсти ухватился за какую-то заманчивую мысль и поставил кучу золота на красное, в расчете на проигрыш незнакомца. Крупье забыл произнести фразы, превратившиеся с течением времени в хриплые и нечленораздельные возгласы: «Делайте игру!» — «Игра сделана!» — «Ставок больше нет!» [1].

Банкомет разложил карты и, равнодушный к убытку или прибыли тех, кто эксплуатирует эти мрачные развлечения, казалось, желал выигрыша новому пришельцу. В участи этой золотой монеты всем зрителям привиделась драма и последняя сцена благородной жизни; глаза их, устремленные на вещие табло, засверкали; но несмотря на внимание, с каким все поочередно следили за молодым человеком и картами, они не могли заметить и следа волнения на его холодном и полном отреченности лице.

— Красное, — официальным тоном провозгласил банкомет.

Нечто вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда друг за дружкой стали падать свернутые банковые билеты, которые бросал ему крупье. Что касается молодого человека, то он понял, что погиб, только в то мгновение, когда протянулась лопаточка, чтоб подобрать его последний наполеондор. Раздался сухой звук от соприкосновения слоновой кости с монетой, которая с быстротой стрелы очутилась в куче золота перед кассой. Незнакомец тихо закрыл глаза, его губы побледнели, но он тотчас же поднял веки, его уста вновь приняли красно-коралловый цвет, он надел на себя личину англичанина, для которого в жизни нет уже тайн, и исчез, не выпрашивая утешения теми раздирающими сердца взорами, которые нередко бросают на зрителей доведенные до отчаяния игроки. Сколько событий скучивается в одной секунде, и сколько роковых обстоятельств в одном броске костей!

---

[1] Эти галицизмы вошли в обиход наших игорных домов, существовавших до революции. (*Ред.*).



— Наверное, это его последний заряд, — сказал крупье после небольшого молчания, в течение которого он показал присутствовавшим золотую монету, держа ее между большим и указательным пальцами.

— Это забубённая головушка; он утопится, — отвечал один из завсегдатаев, поглядывая на остальных игроков, которые все знали друг друга.

— Ну, вот еще! — воскликнул лакей, беря понюшку табаку.

— Что бы нам последовать примеру этого господина! — оказал один из старичков своим товарищам, указывая на итальянца.

Все поглядели на счастливого игрока, который дрожащими руками считал банковые билеты.

— Я слышал голос, который шепнул мне на ухо: «Игра не будет благосклонна к отчаянию этого молодого человека», — возразил итальянец.

— Это не игрок, — заметил кассир, — иначе он разделил бы деньги на три ставки, чтобы иметь больше шансов.

Молодой человек, уходя, не спросил шляпы, но старый барбос-привратник, заметив, что шляпенка дрянная, подал ее ему, не сказав ни слова; игрок машинально возвратил ярлычок и спустился с лестницы, насвистывая «Di tanti palpiti» [1] столь тихо, что едва сам мог расслышать очаровательный мотив.

Он вскоре очутился в галерее Пале-Руаяля, дошел до улицы Сент-Оноре, свернул к Тюильри и нерешительным шагом пересек сад. Он шел точно по пустыне, его задевали локтями люди, которых он не видел; в шуме толпы ему слы-

[1] *«Di tanti palpiti»* («Что за трепет») — ария из оперы Россини «Танкред» (1813).

шался только один голос — голос смерти; наконец он забылся в оцепенелом раздумье, подобно тому, в какое порой впадают преступники, когда их везут из здания суда на Гревскую площадь, к эшафоту, покрасневшему от всей той крови, которая обагряла его, начиная с 1793 года.

В самоубийстве есть нечто великое и ужасное. Падение большинства людей безопасно, как падение детей, которые сваливаются со слишком незначительной высоты, чтоб сильно ушибиться; но когда разбивается великий человек, то ему приходится упасть с большой высоты, вознесясь до небес и прозрев какой-нибудь недоступный рай. Неукротимы должны быть те ураганы, которые заставляют его искать душевного успокоения в пистолетном дуле. Сколько молодых талантов, заточенных в мансардах, чахнет и гибнет за недостатком друга или женщины-утешительницы посреди миллиона существ, посреди толпы, которая пресыщена золотом и скучает. При такой мысли самоубийство принимает гигантские пропорции. Один бог ведает, сколько замыслов, неоконченных стихотворений, заглушённых криков и приступов отчаяния, бесполезных попыток и недоношенных шедевров роится между добровольной смертью и плодотворной надеждой, чей голос звал молодого человека в Париж. Всякое самоубийство — величавая поэма меланхолии. Где в литературном океане найдете вы всплывшую книгу, которая могла бы поспорить по гениальности с такими газетными строками:

Вчера, в четыре часа, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств.

Перед этим парижским лаконизмом бледнеют все драмы, романы, даже старинное заглавие: *Плач славного короля каэрнаванского, заточенного в тюрьму своими детьми* — последний отрывок затерянной книги, за чтением которой плакал даже Стерн, сам бросивший жену и детей.

Тысячи подобных мыслей осаждали незнакомца, обрывками мелькая в его душе, подобно разорванным знаменам, развевающимся на поле сражения. Когда он на мгновение сбрасывал с себя бремя размышлений и воспоминаний и останавливался перед какими-нибудь цветами, венчики которых, овеваемые ветерком, плавно покачивались среди густой зелени, его охватывал трепет жизни, все еще противившейся тяжкой мысли о самоубийстве, и он поднимал глаза к небу: там серые облака, порывы ветра, отягченные печалью, грузная атмосфера снова давали ему совет умереть. Направляясь к Королевскому мосту, он думал о последних прихотях своих предшественников. Он улыбался, вспоминая, что лорд Кестлри, перед тем как перерезать себе горло, удовлетворил самую низменную из человеческих потребностей, а академик Оже, отправляясь на смерть, стал искать табакерку, чтоб взять понюшку. Он анализировал эти причуды и сам задавал себе вопросы, когда, прислонившись к перилам моста, чтоб пропустить крючника, поймал себя на том, что тщательно очищает пыль с рукава своего фрака, так как крючник слегка запачкал его чем-то белым.

— Скверная погода, чтоб топиться, — сказала ему смеясь старуха в лохмотьях. — Ишь, Сена-то какая грязная да холодная.

Он отвечал ей наивной улыбкой, обличавшей отчаянье его души, как вдруг вздрогнул, увидев вдали, на Тюильрийском мосту, барак с вывеской, где буквами вышиной с фут были начертаны следующие слова: «Спасательная станция». Ему представился г-н Дашё[1] во всеоружии своей филантропии; он видел, как по настояниям этого благодетеля шевелятся и приходят в движение доблестные весла, которыми пробивают головы утопленникам, когда те всплывают, по несчастью; он видел, как тот собирает ротозеев, разыскивает доктора, приготовляет фумигацию; он читал сетования журналистов, написанные во время веселой пирушки с улыбающейся танцовщицей; он слышал, как звенели экю, отсчитываемые лодочникам префектом полиции за его голову. Мертвый, он стоил пятьдесят франков, но живой — он был только талантливый человек, без покровителей, без друзей, без соломенного тюфяка, без пристанища, настоящий общественный нуль, бесполезный для государства, которое о нем и не заботилось. Смерть посреди белого дня казалась ему мерзкой; он решил умереть ночью, дабы общество, не признававшее величия его жизни, получило неопознанный труп. Итак, он пошел дальше и направился к Вольтеровской набережной ленивой походкой незанятого человека, которому надо убить время. Когда он спускался по ступенькам, которыми на углу набережной оканчивается тротуар моста, его внимание было привлечено старыми книгами, разложенными на парапете; он чуть было не приценился к ним. Улыбнувшись, он философски засунул руки в поперечные кармашки штанов и собирался продолжать путь беззаботной походкой, в которой сквозило холодное презрение, как вдруг с изумлением услышал, что у него в кармане, поистине фантастически, звякнуло несколько монет. Улыбка засветилась на его лице, скользнула с губ по всем чертам, по лбу, зажгла радостью его глаза и сумрачные щеки. Эта искра счастья походила на огоньки, которые пробегают по остаткам уже сгоревшей бумаги; но его лицо постигла участь черного пепла: оно вновь омрачилось, когда незнакомец, торопливо вынув руку из кармашка, увидал три монетки по два су.

— Ах, добрый господин, la carita! a carita! Catarina! [2] Пожалуйте грошик на хлеб!

И молоденький трубочист в лохмотьях, с черным одутловатым лицом, с кожей цвета сажи, протянул руку к этому человеку, чтоб выманить у него последние су.

В двух шагах от мальчишки-савояра старый стыдливый нищий, болезненный, измученный, закутанный в гадкий дырявый кусок тканной обивки, обратился к нему глухим голосом:

— Пожалуйте мне, сударь, сколько соблаговолите; я стану молиться за вас...

---

[1] Д а ш ё служил инспектором спасательных постов на Сене. В числе средств для приведения утопленников в чувство применялось «промывание табачным дымом». За спасение утопленника еще живого платили спасшим его 25 франков, если же он был мертв — только 15 франков. Бальзак преувеличил стоимость мертвого Валантена.

[2] Милостыньку! Милостыньку!

Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и уже не стал больше просить, увидев, быть может, на этом мертвенном лице признаки более суровой нужды, чем его собственная.

— La carita! la carita!

Неизвестный бросил деньги мальчику и старому нищему и перешел с тротуара набережной поближе к домам: он не мог более выносить душераздирающего вида Сены.

— Мы будем молиться, чтоб господь хранил вашу жизнь, — сказали оба нищие.

Поравнявшись с выставкой торговца эстампами, этот почти мертвый человек встретил молодую женщину, выходившую из блестящего экипажа. Он с восторгом посмотрел на красавицу, белое лицо которой прелестно обрамлялось атласом изящной шляпки; его очаровала ее тонкая талия, ее красивые движения; под платьем, слегка приподнятым подножкой экипажа, он разглядел ногу, тонкие очертания которой обрисовывались под белым, отлично сидевшим чулком. Молодая женщина вошла в магазин и приценилась к альбомам, к собраниям литографий; она накупила их на несколько золотых, которые засверкали и зазвенели на прилавке. Молодой человек, стоя у дверей, был, по-видимому, занят рассматриванием гравюр на выставке, но он живо переглянулся с прекрасной незнакомкой, устремив на нее самый проницательный взгляд, какой только может кинуть мужчина в обмен на один из тех небрежных взоров, которые случайно бросают прохожим. С его стороны то было прощанье с любовью, с женщиной. Но этот последний и могучий призыв не был понят, не тронул сердца легкомысленной женщины, не заставил ее покраснеть или опустить глаза. Что значил он для нее? Лишний восторг, еще одно возбужденное желание, которое позволит ей вечером сладостно пролепетать: «Сегодня я была хороша». Молодой человек поспешно перешел к другой витрине и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества исчез, как исчезнет его жизнь. Он печально побрел вдоль магазинов, рассматривая без особого интереса образцы товаров. Когда ряд лавок прервался, он принялся рассматривать Лувр, Академию, башни Собора богоматери и Судебной палаты, мост Искусств[1]. Эти здания, казалось, принимали мрачный облик, отражая сероватые оттенки неба, слабые отсветы которого придавали угрожающий вид Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимым сменам красоты и безобразия. Таким образом, сама природа способствовала тому, чтобы погрузить его в болезненные галлюцинации. Став добычей той злотворной силы, растворяющее действие которой сосредоточено в токе, пробегающем по нашим нервам, он почувствовал, как его организм незаметно воспринимает свойства разжиженных тел. Муки этой агонии сообщали ему какое-то волнообразное движение, и он начинал видеть здания и людей сквозь туман, где всё покачивалось. Он хотел освободить-

[1] Мост Искусств на Сене предназначался только для пешеходов, которые платили за пользование им пять сантимов.

ся от раздражения, которое вызывало в его душе восприятие физического мира, и направился к антикварной лавке, в намерении дать пищу своим чувствам или дождаться там ночи, приценяваясь к произведениям искусства. Это, в сущности, значило пуститься в поиски за мужеством и просить подбадривающего средства, подобно преступникам, не доверяющим своим силам перед отправкой на эшафот; но сознание близкой смерти придало на мгновение молодому человеку уверенность герцогини, у которой два любовника. А потому он вошел в лавку редкостей с развязным видом, и на его устах появилась улыбка, неподвижная, как у пьяниц.

Разве не был он опьянен жизнью или, быть может, смертью! Вскоре им снова овладели галлюцинации, что, без сомнения, происходило от неправильной циркуляции крови, которая то бурлила в нем, как водопад, то лилась покойно и вяло, как тепловатая вода. Он самым естественным тоном выразил желание осмотреть магазин и поискать, не найдется ли там какой-нибудь редкости, которая бы ему подошла. Молодой приказчик со свежим и пухлым лицом, с рыжими волосами, в шапочке, опушенной выдрой, поручил охранять лавку старой крестьянке, своего рода Калибану в женском образе, которая была занята чисткой печки, бесподобного произведения, созданного гением Бернара де Палиси; затем с беззаботным видом он сказал незнакомцу:

— Посмотрите, сударь, посмотрите... Тут, внизу, у нас только заурядные вещи, но если вы потрудитесь подняться наверх, то я могу показать вам отличные каирские мумии, множество посуды с инкрустациями, резную слоновую кость, настоящий Ренессанс, всё вещи неописуемой красоты, только что полученные.

В том ужасном состоянии, в каком находился незнакомец, эта болтовня проводника, эти глупо-торгашеские фразы были для него той назойливой пошлятиной, при помощи которой ограниченные умишки убивают гениального человека. Неся до конца свой крест, он притворился, будто слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами; но незаметно он сумел приобрести право на молчание и мог без страха предаться последним размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его нечаянно напала на обильную пищу; перед смертью ему приходилось заранее заглянуть в останки двадцати миров.

На первый взгляд помещения лавки представляли сумбурное зрелище, где столкнулись все человеческие и божественные творения. Чучела крокодилов, обезьян и боа улыбались церковным витражам, казалось, хотели вцепиться зубами в бюсты, погнаться за китайскими лакированными вещицами, взобраться на люстры. Севрская ваза, на которой г-жа Жакото нарисовала Наполеона, стояла подле сфинкса, посвященного Сезострису. Начало мира и вчерашние события братались между собой с гротескным добродушием. Вертел лежал на ковчежце для мощей, республиканская сабля — на средневековом самопале. Г-жа Дюбари, нарисованная Латуром пастелью, со звездой на голове, нагая, окутанная облаком, казалось, с вожделением разглядывала индийский кальян, стараясь разгадать назначение извивавшихся по направлению к ней спиралей. Смертоносные

орудия: кинжалы, редкостные пистолеты, оружие с секретом, были перепутаны с сосудами житейского обихода: фарфоровыми супниками, саксонскими тарелками, восточными чашками, вывезенными из Китая, античными солонками, феодальными ларчиками для лакомств. Корабль из слоновой кости плыл на всех парусах по неподвижной черепахе. Воздушный насос лез прямо в глаза величественно-бесстрастному императору Августу. Несколько портретов французских общинных старост и голландских бургомистров, бесчувственных, как при



жизни, возвышались над этим хаосом древностей и бросали на него тусклый и холодный взгляд. Казалось, все страны земные прислали сюда какой-либо осколок своих знаний, образчик своих искусств. То была в некотором смысле философская мусорная куча, где были и трубка мира дикарей, и зеленая, расшитая золотом туфля из сераля, и мавританский ятаган, и татарский идол. Тут было всё, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до

перьев с какого-то трона. Эти чудовищные картины вдобавок менялись благодаря тысячам случайных освещений, благодаря причудливому разнообразию отсветов, зависевших от смеси оттенков, от резкой противоположности света и тени. Казалось, будто ухо слышит прерывистые крики, ум схватывает неоконченные драмы, глаз замечает не вполне погашенные вспышки света. Наконец, упорная пыль набросила свою легкую пелену на все эти вещи, разнообразные углы и многочисленные изгибы которых производили самые живописные эффекты.

Незнакомец сперва сравнил эти три зала, насыщенные цивилизацией, культами, божествами, шедеврами, царственностью, развратом, разумом и безумием, с зеркалом, каждая фасетка которого отражает особый мир. После первого туманного впечатления он захотел выбрать, чем бы полюбоваться; но от долгого смотренья, думанья и мечтания он впал в какое-то лихорадочное состояние, зависевшее, быть может, от голода, который свирепствовал в его внутренностях. Созерцание стольких национальных или индивидуальных существований, о которых свидетельствовали эти пережившие их останки, окончательно притупило чувства молодого человека; желание, заставившее его войти в магазин, осуществилось: он ушел от действительной жизни, постепенно поднялся в идеальный мир, добрался до волшебных палат Экстаза, и там вселенная явилась ему в виде каких-то осколков и огненных стрел, подобно тому, как некогда на Патмосе будущность прошла перед взором святого Иоанна, озаренная пламенем.

Множество страждущих, милых и ужасных, темных и светлых, отдаленных и близких образов вставали массами, мириадами, поколениями. Египет, застывший, таинственный, возникал из песков в виде мумии, обвитой черными повязками; фараоны, погребавшие целые народы, чтоб построить для себя гробницы; и Моисей, и евреи, и пустыня; он прозревал целый мир, древний и величественный. Свежая и пленительная мраморная статуя, водруженная на витой колонне и сверкающая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы, подобно ему, не улыбнулся, увидев на тонкой глине этрусской вазы смуглую девушку, пляшущую на красном фоне перед богом Приапом, которого она приветствует с веселым лицом; на оборотной стороне латинская царица любовно предавалась своим мечтам. Причуды императорского Рима дышали тут в своем натуральном объеме, и можно было видеть ванну, ложе, туалетный стол какой-нибудь ленивой мечтательной Юлии, поджидающей своего Тибулла. Вооруженная могуществом арабских талисманов, голова Цицерона возбуждала в нем воспоминание о свободном Риме и раскрывала пред ним страницы Тита Ливия. Молодой человек видел Senatus populusque romanus[1]; консулы, ликторы, отороченные пурпуром тоги, борьба на форуме, раздраженный народ проходили перед ним, как туманные фигуры сновидения. Наконец христианский Рим возобладал над этими образами. Картина изображала отверстые небеса: он увидел деву Марию среди сонма ангелов, окруженную золотым облаком, затмевающую великолепие солнца, внимающую стенаниям несчастных, которым эта воз-

[1] Сенат и народ римский.

рожденная Ева улыбалась ласковой улыбкой. Когда он прикоснулся к мозаике, сделанной из разноцветных лав Везувия и Этны, его душа перенеслась в теплую и дикую Италию; он присутствовал при оргиях Борджиа, скитался в Абруцских горах, вздыхал по любви итальянок, увлекался бледными лицами с продолговатыми черными глазами. Разглядывая средневековый кинжал с рукоятью, отделанной кружевной резьбою, и с ржавчиной, напоминавшей капли крови, он вздрагивал, воображая ночные свидания, прерванные холодной шпагой мужа. Индия и ее религия оживали перед ним в образе идола в островерхой шляпе с косоугольным орнаментом, украшенного колокольчиками, облаченного в золото и шелк. Подле этого уродца еще пахла сандалом циновка, прекрасная, как баядерка, которая когда-то валялась на ней. Китайское чудовище с перекошенными глазами, с искривленным ртом, с изуродованными членами, будоражило душу фантазией народа, который, утомясь красотой, всегда однообразной, находит несказанное удовольствие в разновидностях безобразия. Солонка, вышедшая из мастерских Бенвенуто Челлини, переносили его в лоно Возрождения, когда процветали искусства и распутство, когда государи развлекались пытками, когда отцы церкви, покоясь в объятиях куртизанок, предписывали на соборах целомудрие простым священникам. В камее он видел победы Александра, в пищали с фитилем — убийства, учиненные Писарро [1], в глубине шлема — религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Затем светлые образы рыцарства выглядывали из миланских лат, превосходно вороненных, отлично отполированных, и казалось, что из-под забрала еще сверкают глаза паладина.

Этот океан мебели, вымысла, мод, произведений искусства, обломков создавал для него нескончаемую поэму. Всё воскресало: формы, цвета, мысли; но душа не улавливала ничего цельного. Поэтому приходилось доканчивать наброски великого живописца, создавшего эту грандиозную палитру, где в изобилии и с пренебрежением были раскиданы бесчисленные явления человеческой жизни. Овладев миром, после созерцания стран, веков, царствований, молодой человек перешел к индивидуальным существованиям. Он снова перевоплотился, осознал подробности, отметнув жизнь народов, как слишком обременительную для одного человека.

Там спал ребенок из воска, уцелевший от собрания Рюйша[2], и это прелестное создание напомнило ему радости детства. При обаятельном виде девственного набедренника какой-нибудь таитянской девушки его горячее воображение рисовало ему простую жизнь природы, непорочную наготу истинного целомудрия, очарование лени, столь свойственной человеку, спокойное существование на берегу свежего и мечтательного ручейка, под бананом, который, не требуя ухода, оделяет всех сладостной манной. То вдруг, страстно вдохновленный жемчужны-

---

[1] Писарро Франциск (1475—1541) — испанский авантюрист, завоеватель Перу.

[2] Рюйш Фридрих (1638—1731) — голландский ученый, врач, изобретший особый способ сохранять трупы. Восковых фигур не было в его коллекциях, одну из которых приобрел в 1717 г. Петр I для Российской Академии наук.

ми переливами тысячи раковин, возбужденный видом какого-нибудь звездчатого коралла, пахнувшего морской травой, водорослями и атлантическими ураганами, он становился корсаром и облекался в грозную поэзию, которой проникнута личность Лары[1]. Затем, восхищаясь тонкими миниатюрами, лазурными и золотыми арабесками, украшавшими какой-нибудь драгоценный рукописный требник, он забывал о морских бурях. Тихо убаюкиваемый мирной мыслью, он вновь погружался в занятия и науку, вздыхал по сытой монашеской жизни, лишенной горечи, лишенной радости, и засыпал в глубине кельи, любуясь в стрельчатое окно лугами, лесами и вертоградами своего монастыря. Перед картиной Тенирса он облачался в солдатский плащ или в лохмотья работника; ему хотелось носить засаленную и пропитанную дымом шапку фламандцев, напиваться пивом, играть с ними в карты и улыбаться толстой крестьянке с заманчивой полнотою. Его охватывал озноб при виде метели Миэриса; он сражался, глядя на битву Сальватора Розы. Он поглаживал иллинойский томагавк и чувствовал, как ирокезский скальпель срезает ему кожу с черепа. Восхищенный видом ребенка, он влагал его в руки владетельнице замка и наслаждался ее мелодическим романсом, объясняясь ей в любви вечерком у готического камина, в полумраке, в котором тонул ее взгляд, суливший согласие. Он цеплялся за все радости, постигал все печали, овладевал всеми формулами существования, столь щедро расточая свою жизнь и свои чувства на призраки этой пластической и пустой природы, что шум собственных шагов раздавался в его душе, как отдаленный отзвук иного мира, подобно парижскому гулу, доносящемуся до башен Собора богоматери.

Поднимаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы, расположенные во втором этаже, он видел обетные щиты, полные доспехи, резные дарохранительницы, деревянные фигуры, развешанные по стенам или лежавшие на ступеньках. Преследуемый самыми диковинными формами, чудными творениями, находившимися на грани между смертью и жизнью, он шел как бы в очаровании сна. Наконец и сам он, сомневаясь в своем существовании, был, как и эти странные предметы, не вполне жив и не вполне мертв. Когда он вошел в верхние залы, день стал уже угасать; но свет, казалось, был не нужен для сваленных там богатств, сверкавших золотом и серебром. Самые дорогие причуды расточителей, владевших миллионами и умерших на чердаке, были собраны на этом обширном базаре человеческих безумств. Чернильница, за которую было заплачено сто тысяч франков и которая была потом куплена за сто су, лежала возле замка с секретом, стоившего столько, что на эти деньги можно было бы во время оно выкупить из плена короля. Тут человеческий гений являлся во всем блеске своей глупости, во всей славе своего гигантского ничтожества. Стол из черного дерева, настоящий кумир для какого-нибудь художника, украшенный резьбой по рисункам Жана Гужона и потребовавший когда-то нескольких лет работы, был, быть может, куплен за цену вязанки дров. Тут пренебрежительно были свалены в кучу драгоценные шкатулки и мебель, сделанная руками фей.

[1] Л а р а — герой одноименной поэмы Байрона, пират.

— Да у вас тут миллионы! — вскричал молодой человек, дойдя до комнаты, которой заканчивалась огромная анфилада зал с позолотой и лепкой работы артистов прошлого века.

— Скажите лучше: миллиарды, — отвечал толстый, полнощекий приказчик. — Но это еще пустяки. Поднимитесь на четвертый этаж, и вы увидите!

Незнакомец последовал за проводником и дошел до четвертой галереи, где перед его утомленными глазами, сменяя друг друга, прошли картины Пусена, великолепная статуя Микельанджело, несколько прелестных пейзажей Клода Лорена, полотно Герарда Доу, напоминавшее страницу из Стерна, разные Рембрандты, Мурильо, Веласкесы, мрачные и колоритные, как поэма лорда Байрона; затем античные барельефы, чаша из агата, чудные ониксы!.. Словом, то были плоды работ, способные вызвать отвращение к труду, такое нагромождение шедевров, что оно могло возбудить ненависть к искусству и убить энтузиазм. Он подошел к Пресвятой деве Рафаэля, но Рафаэль ему наскучил. Головка Корреджо, молившая о взгляде, не удостоилась никакого внимания. Античная ваза из бесценного порфира, по окружности которой была вырезана самая причудливая и бесстыдная из римских приапей, некогда приводившая в восторг какую-нибудь Коринну, едва заставила его улыбаться. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей, был убит роскошью и искусством, подавлен ожившими формами, которые вступали с ним в бесконечную борьбу, подобно чудовищам, зарождающимся под стопами какого-нибудь злого гения.

Похожая в своих причудах на современную химию, которая всё сотворенное сводит к газу, не образует ли душа чудовищных ядов при помощи мгновенной концентрации наслаждений, сил или идей? Не гибнут ли многие от молниеносного действия какой-нибудь моральной кислоты, внезапно разлившейся по всему их внутреннему существу?

— Что в этом ящике? — спросил он, войдя в большой кабинет, последнее скопище славы, человеческих усилий, чудачеств богатства, среди которых он указал пальцем на большой четырехугольный ларец красного дерева, подвешенный на гвоздь при помощи серебряной цепи.

— О! Ключ от него у хозяина! — сказал толстый приказчик с таинственным видом. — Если вы желаете видеть этот портрет, то я охотно осмелюсь обеспокоить хозяина.

— Осмелитесь? — возразил молодой человек. — Да разве ваш хозяин какой-нибудь принц?

— Право, не знаю, — отвечал приказчик.

Они некоторое время с одинаковым удивлением смотрели друг на друга. Приняв молчание незнакомца за согласие, приказчик оставил его одного в кабинете.

Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Увлеченные его гением, носились ли вы, словно поддержанные рукой волшебника, над безграничной бездной прошлого?

Открывая в пласте под пластом, в наслоении под наслоением, под Монмартрскими ломками или уральскими сланцами животных, чьи ископаемые останки принадлежат к допотопным цивилизациям, душа исполняется страха, прозревая миллиарды лет, миллионы народов, позабытых слабой человеческой памятью и нерушимым божественным преданием; и пепел которых, скопившийся на поверхности нашей планеты, образует слой земли в два фута, дающий нам хлеб и цветы. Разве Кювье не величайший поэт нашего времени? Правда, лорд Байрон воспроизвел словами нравственные волнения; но наш бессмертный натуралист, при помощи побелевших костей восстановил целые миры, построил, подобно Кадму [1], города из зубов, населил при помощи обломков каменного угля тысячи лесов всеми тайнами зоологии, отыскал в ноге мамонта целые народы великанов. Эти образы возникают перед вами, растут и наполняют пространства в соответствии со своим колоссальным телосложением. Он поэт, когда оперирует с цифрами; он величествен, когда приставляет ноль к семи. Он пробуждает небытие, не произнося никаких заумных магических слов; он откапывает кусочек гипса, замечает на нем отпечаток и восклицает: «Смотрите!» И вдруг мрамор превращается в животное, мертвое оживает, мир развертывается. После бесчисленных династий исполинских созданий, после поколений рыб и кланов моллюсков является, наконец, род человеческий, продукт вырождения некогда грандиозного типа, быть может, раздробленного создателем. Воспламененные его ретроспективным взглядом эти жалкие люди, родившиеся вчера, могут преодолеть хаос, возгласить бесконечный гимн и представить себе прошлое вселенной вроде некоего Апокалипсиса, прозревающего былое. При виде такого ужасающего воскрешения, свершившегося по слову одного человека, каким жалким кажется тот миг жизни, та крохотная доля, пользование которой предоставлено нам в этой безымянной, общей всем сферам бесконечности и которую мы назвали временем! Раздавленные развалинами стольких вселенных, мы спрашиваем самих себя: какую ценность имеют наша слава, ненависть, любовь, и стоит ли труда жить ради того, чтобы стать в будущем неосязаемой точкой? Вырванные с корнем из настоящего, мы мертвы, пока не войдет лакей и не скажет:

— Графиня приказали передать, что ждут вас.

Чудеса, разглядывание которых явило молодому человеку творения доступного нам мира, столь же удручили его душу, как удручает философа научное созерцание неведомого предмета; он сильнее, чем когда-либо, захотел умереть и опустился в курульное кресло, предоставив своим взорам блуждать по фантасмагориям этой панорамы былого. Картины озарились, головы мадонн улыбались ему и статуи облекались в краски призрачной жизни. Все эти произведения, заплясавшие в лихорадочном воображении его поврежденного мозга, задвигались под покровом сумерек и вихрем понеслись перед ним; каждый уродец строил ему гримасу, люди, изображенные на картинах, жмурили веки, увлажняя глаза; каждый из этих об-

[1] *Кадм* — легендарный основатель древних Фив. Из посеянных им зубов убитого им же дракона будто бы выросли предки фиванцев.

разов вздрогнул, подпрыгнул, сорвался с места, кто с важностью, кто легко, кто грациозно, кто резко, смотря по своему характеру, нраву и сложению. То был таинственный шабаш, достойный видений доктора Фауста на Брокене. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением зрительной способности или причудливым освещением сумерек, не могли устрашить незнакомца. Ужасы жизни были бессильны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Он даже поощрял своим смешливым соучастием причуды этого нравственного гальванизма, фокусы которого сочетались с последними мыслями, еще внушаемыми ему чувством существования. Вокруг него царила такая глубокая тишина, что он отважился окунуться в сладостную грезу, впечатления которой постепенно становились все темнее, следуя от оттенка к оттенку и как бы в силу волшебства по пятам медленно угасающего дня. Когда свет, покидая небо и борясь с ночью, вспыхнул последним красноватым проблеском, молодой человек поднял голову и увидел едва освещенный скелет, который с сомнением качал головой справа налево, как бы говоря ему: «Мертвые еще не зовут тебя». Проведя рукой по лбу, чтоб отогнать сон, молодой человек отчетливо почувствовал свежее дуновение, произведенное чем-то косматым, коснувшимся слегка его щек, и вздрогнул. Что-то глухо стукнуло об оконное стекло, и он подумал, что эта холодная ласка, достойная загробных тайн, исходила от какой-нибудь летучей мыши. Слабые отблески заката позволили ему еще мгновение смутно различать окружавшие его призраки; затем вся эта мертвая природа исчезла в однотонной тьме. Ночь, час смерти, настала внезапно. С этой минуты в течение известного промежутка времени у него не было ясного представления о земных предметах — потому ли, что он был погружен в глубокую задумчивость, или потому, что уступил сонливости, причиненной усталостью и множеством мыслей, разрывавших ему сердце. Вдруг ему показалось, что его зовет какой-то страшный голос, и он вздрогнул, как вздрагивают, когда вас посреди горячечного кошмара с одного размаха бросает в глубину пропасти. Он закрыл глаза, его ослепили лучи яркого света; перед ним посреди мрака засверкал красноватый шар, в центре которого стоял старичок и направлял на него свет лампы.

Он не слышал, как тот вошел, заговорил, двигался. В этом явлении было нечто волшебное. Самый смелый человек, разбуженный так неожиданно от сна, без сомнения, вздрогнул бы при виде этой необычайной личности, которая, казалось, вынырнула из соседнего саркофага. Своеобразная молодость, светившаяся в неподвижных глазах этого подобия призрака, не дозволила незнакомцу заподозрить тут вмешательство каких-либо сверхъестественных сил; тем не менее, в течение краткого промежутка, отделявшего его сомнамбулическую жизнь от действительной, он пребывал в состоянии философского сомнения, рекомендуемого Декартом, и тут, помимо воли, подпал под власть тех необъяснимых галлюцинаций, тайны которых осуждены нашей гордыней и которые наша бессильная наука тщетно старается подвергнуть анализу.

Вообразите себе сухопарого, худощавого старичка в черном бархатном платье, подпоясанном широким шелковым шнуром. На голове у него была черная же бархатная шапочка, из-под которой по обе стороны лица падали длинные

пряди седых волос; она облекала череп, резко обрамляя лоб. Платье прикрывало стан, как просторный саван, и не позволяло видеть никаких признаков человеческого тела, кроме узкого и бледного лица. Если бы не тощая, похожая на обернутую материей палку рука, которую старик приподнял, чтобы направить на молодого человека весь свет лампы, его лицо казалось бы плавающим в воздухе. Остриженная клином седая борода скрывала подбородок этого странного существа и придавала ему вид тех иудейских голов, которыми как типами пользуются художники, изображая Моисея. Губы у него были такие бесцветные и тонкие, что требовалось особое внимание, чтоб различить линию рта на его бледном лице. Широкий морщинистый лоб, бесцветные и впалые щеки, неуловимая строгость небольших зеленых глаз без век и ресниц могли навести незнакомца на мысль, что «Меняла» Герарда Доу вышел из рамы. Хитрость инквизитора, которую изобличали извилины морщин и складки на висках, указывала на глубокую житейскую мудрость. Невозможно было обмануть этого человека, обладавшего, по-видимому, даром угадывать мысли в глубине самых скрытных сердец. Нравы всех народов земного шара и их велемудрие были сосредоточены в этом холодном лице, подобно тому, как произведения всего мира грудились в его пыльных хранилищах. Вы прочли бы в нем светлое спокойствие бога, который все видит, или горделивую силу человека, который все видел. Живописец, придавая этому лицу различные выражения, мог бы двумя ударами кисти создать из него и прекрасный образ бога предвечного и насмешливую маску Мефистофеля, ибо в одно и то же время на лбу его запечатлелась возвышенная мощь, а на устах мрачная насмешливость. Сокрушив, благодаря непомерному могуществу, все людские горести, этот человек должен был убить и земные радости. Умирающий вздрогнул, предчувствуя, что этот старый дух поселился в чуждой миру сфере и жил там один, без наслаждений, потому что не питал более иллюзий, без печалей, потому что не знал более удовольствий. Старик стоял недвижно, несокрушимо, как звезда посреди пронизанного светом облака. Его зеленые глаза, полные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали нравственный мир, как его лампа освещала этот таинственный кабинет.

Таково было странное зрелище, поразившее молодого человека, когда он открыл глаза, после того как мысли о смерти и фантастические образы убаюкали его. Если он некоторое время был ошеломлен, если на мгновение им овладела вера, достойная ребенка, слушающего кормилицыны сказки, то такое заблуждение следует приписать пелене, навеянной глубокими думами на его жизнь и его понимание, возбуждению раздраженных нервов, жестокой драме, сцены которой доставили ему такие же мучительные наслаждения, какие таятся в кусочке опиума. Это видение явилось в Париже, на набережной Вольтера, в XIX веке, то есть в таком месте и в такое время, когда была невозможна никакая магия. Сосед того дома, где умер бог французского неверия[1], ученик Гей-Люссака и Араго, очевидец

[1] *Богом французского неверия* Бальзак называет великого французского писателя Вольтера (1694—1778).



фокусов, проделываемых стоящими у власти лицами, незнакомец, без сомнения, поддался тем поэтическим чарам, обаяние коих он признал и коим мы часто уступаем как бы ради того, чтобы убежать от неутешительных истин и искусить божье могущество. Однако он задрожал перед этим светом и этим стариком, волнуемый необъяснимым предчувствием какой-то странной власти; но это волнение было похоже на то, какое все мы испытывали перед Наполеоном или в присутствии великого человека, одаренного сверкающим гением и облаченного славой.

— Вам угодно видеть лик Иисуса Христа работы Рафаэля? — учтиво спросил его старик голосом, в ясной и обрывистой звучности которого было что-то металлическое.

И он поставил лампу на стержень сломанной колонны, так что весь свет озарил тёмно-красный ящик.

При священных именах Иисуса Христа и Рафаэля у молодого человека вырвался жест любопытства, которого торговец, по-видимому, ожидал, так как не замедлил нажать какую-то пружину. Тотчас же филёнка красного дерева скользнула по пазу, опустилась без шума, и перед незнакомцем предстала картина, которой он мог любоваться. При виде этого бессмертного творения он забыл все курьезы лавки, все причуды своего сна, стал снова человеком, увидел в старике создание из плоти, вполне живое, нимало не фантасмагоричное, и вновь зажил в реальном мире. Нежная заботливость и сладостная ясность божественного лица тотчас же оказали на него свое влияние. Какое-то источаемое небесами благоухание рассеяло адские мучения, сжигавшие его до мозга костей. Голова спасителя словно выступала из мрака, образуемого черным фоном; лучистый ореол ярко сиял вокруг его волос, служивших как бы источником этого света; в этой голове и в этом теле жила красноречивая убежденность, которая проницающим током исходила из каждой черты. Алые уста словно только что изрекли слово жизни, и зритель искал его священного отзвука в воздухе, вопрошал тишину об его восхитительных притчах, подслушивал его у будущего, находил его в поучениях прошлого. Евангелие отражалось в спокойной простоте этих пленительных очей, где находили прибежище все мятущиеся души. Наконец, можно было прочесть всё вероучение спасителя в сладостной и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, ту заповедь, в которой заключена вся его сущность: «Возлюбите друг друга». Эта картина вдохновляла на молитву, внушала всепрощение, заглушала себялюбие, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществом музыкальных чар, творение Рафаэля подчиняло вас властному обаянию воспоминаний, и торжество его было полное: вы забывали о живописце. Сверх того, на этом чуде отражалось влияние освещения; по временам казалось, будто голова высится вдали, среди какого-то облака.

— Я выложил все это полотно червонцами, — спокойно сказал купец.

— Ну что ж! Придется умереть! — вскричал молодой человек, отрываясь от размышлений, последняя мысль которых, напоминая о роковой судьбе, заставила его путем неощутимых выводов отказаться от последней надежды, за которую он ухватился.

— Так, так, недаром же я тебя опасался! — отвечал старик, схватывая молодого человека за обе кисти, которые он, словно клещами, сжал одной рукой.

Незнакомец печально улыбнулся такому недоразумению и кротко оказал:

— Сударь, не бойтесь: я имел в виду свою жизнь, а не вашу. И почему бы мне не сознаться в невинной хитрости? — продолжал он, глядя на встревоженного старика. — Дожидаясь ночи, чтоб утопиться без шума, я зашел поглядеть на ваши богатства. Кто не простит напоследок такого развлечения человеку науки и поэзии!

Слушая эту речь, недоверчивый купец пристально разглядывал угрюмое лицо мнимого покупателя. Вскоре, успокоенный звуком печального голоса или же прочтя в этих бледных чертах ту мрачную судьбу, которая давеча заставила вздрогнуть игроков, он отпустил его руки; но остаток подозрительности, свидетельствовавшей, по меньшей мере, о вековой опытности, заставил его небрежно протянуть руку к поставцу, как бы для того, чтоб об него опереться, и он, взяв лежавший там стилет, сказал:

— Не служите ли вы три года сверхштатным в казначействе, не получая жалованья?

Незнакомец, сделав отрицательный жест, не смог сдержать улыбки.

— Не попрекнул ли вас отец слишком резко за то, что вы родились? Или, может быть, вы обесчестили себя каким-нибудь поступком?

— Желай я обесчестить себя, я стал бы жить.

— Что же, вас освистали в театре Фюнамбюль иль нужда заставила вас сочинять веселые куплетцы, чтоб было чем заплатить за похороны любовницы? Или же у вас карманная чахотка? Или вы хотите разделаться с тоской? Словом, какое заблуждение заставляет вас умереть?

— Не ищите оснований, побуждающих меня желать смерти, в пошлых причинах, которыми обусловливается большинство самоубийств. Чтоб избавить себя от труда обнажать перед вами неслыханные страдания, которые трудно выразить человеческим языком, я скажу, что впал в самую глубокую, в самую мерзкую и самую язвящую бедность. Тем не менее, — прибавил он тоном, свирепая гордость которого опровергала предыдущие слова, — я не хочу просить ни помощи, ни утешения.

— Э, э!

Эти два слога, произнесенные вместо ответа, напомнили звук трещотки. Затем старик продолжал:

— Не принуждая вас умолять меня, не заставляя вас краснеть и не подавая вам ни французского сантима, ни левантского пара, ни сицилийского тарина, ни немецкого геллера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого обола или сестерция древнего мира, ни пиастра мира нового, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни слитками, ни ассигнациями, ни кредитными билетами, я могу сделать вас богаче, могущественнее и значительнее любого конституционного короля.

Подумав, что старик впал в детство, молодой человек как бы оцепенел, не смея отвечать.

— Обернитесь, — сказал купец, внезапно схватив лампу и направив свет на стену, противоположную портрету; — взгляните на эту *Шагреневую Кожу*, — добавил он.

Молодой человек торопливо встал и выразил некоторое изумление, увидев над креслом, где он сидел, висевший на стене кусок шагреневой кожи, величиною с лисью шкурку; но в силу необъяснимого на первый взгляд свойства, эта кожа испускала среди глубокого мрака, царившего в лавке, такие блестящие лучи, что вы назвали бы ее маленькой кометой. Юный маловер подошел к мнимому талисману, долженствовавшему охранить его от несчастия, и посмеялся над ним про себя. Но, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтоб внимательно осмотреть кожу со всех сторон, и вскоре открыл естественную причину этого странного сияния: черная мерея шагреня была так тщательно натерта и так хорошо вылощена, его капризные извивы были так чисты и отчетливы, что шероховатости этой восточной кожи, подобно фасеткам граната, образовали маленькие фокусы, сильно отражавшие свет. Он математически доказал причину этого явления старику, который вместо ответа лукаво улыбнулся. Эта снисходительная улыбка заставила молодого ученого подумать, что он стал жертвой какого-нибудь шарлатанства. Он не пожелал взять с собой в могилу одной загадкой больше и быстро возвратился к коже, как ребенок, торопящийся узнать секрет новой игрушки.

— Ага! — вскричал он, — вот оттиск печати, которую жители Востока называют Соломоновым перстнем.

— Так вы ее знаете? — спросил купец и, выпустив два-три раза воздух через ноздри, выразил этим больше идей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами.

— Найдется ли на свете простак, способный верить в эту химеру! — вскричал молодой человек, раздраженный этим немым и полным горького издевательства смехом. — Вы, конечно, знаете, что суеверный Восток почитает священными мистическую форму и лживые литеры этой эмблемы, символизирующей сказочное могущество. Я полагаю, что в данном случае меня следует почитать не большим дураком, чем когда я говорю о сфинксах и грифах, существование которых некоторым образом допускается мифологией.

— Раз вы ориенталист, — сказал старик, — то не прочтете ли это изречение?

Он поднес лампу к талисману, который молодой человек держал изнанкой кверху, и указал ему на литеры, инкрустированные в клетчатке этой чудной кожи и как бы являвшиеся органической особенностью того животного, которому она принадлежала.

— Признаюсь, — вскричал незнакомец, — что я не сумею объяснить, каким образом удалось врезать так глубоко буквы в кожу онагра!

И, порывисто обернувшись к столам, загроможденным редкостями, он, по-видимому, стал искать что-то на них глазами.

— Что вы ищете? — спросил старик.

— Какого-нибудь орудия, чтобы взрезать шагрень и посмотреть, тисненые ли буквы или же инкрустированные.

Старик подал ему стилет; незнакомец взял его и попытался отколупнуть кожу в том месте, где были начертаны слова; но, когда ему удалось снять легкий слой, буквы вновь обозначились с прежней четкостью и оказались совершенно тождественны с теми, которые были оттиснуты на поверхности, так что в первую минуту он подумал, будто вовсе не срезал кожи.

— Левантское мастерство владеет тайнами, известными лишь ему, — сказал он с некоторым беспокойством, разглядывая восточные изречения.

— Да, — отвечал старик, — лучше пенять на людей, чем на бога.

Таинственные буквы были расположены следующим образом:

لو ملكتنى ملكت الكل
ولكن عمرك ملكى
واراد الله هكذا
اطلب وستنال مطالبك
ولكن قس مطالبك على عمرك
وهى هاهنا
فلكل مرامك ستنزل ايامك
أتريد فىّ
الله مجيبك
آمين

Что означает:

ОБЛАДАЯ МНОЮ, ТЫ БУДЕШЬ ОБЛАДАТЬ ВСЕМ.
НО МНЕ БУДЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ТВОЯ ЖИЗНЬ.
ТАК УГОДНО БОГУ.
ЖЕЛАЙ, И ТВОИ ЖЕЛАНЬЯ ИСПОЛНЯТСЯ.
НО СОРАЗМЕРЯЙ ЖЕЛАНЬЯ С ЖИЗНЬЮ.
ОНА ВО МНЕ.
ПРИ КАЖДОМ ТВОЕМ ЖЕЛАНИИ
Я БУДУ УБЫВАТЬ,
КАК ТВОИ ДНИ.
ХОЧЕШЬ ЛИ МЕНЯ?
ВОЗЬМИ! БОГ ТЕБЕ ВНИМЕТ,
ДА БУДЕТ ТАК!

— Эге, вы бегло читаете по-санскритски, — сказал старик. — Не путешествовали ли вы по Персии или по Бенгалии?

— Нет, сударь, — отвечал молодой человек, ощупывая с любопытством эту символическую кожу, несколько походившую благодаря своей незначительной гибкости на металлический лист.

Старый купец снова поставил лампу на колонну, с которой ее взял, и поглядел на молодого человека с холодной иронией, казалось говорившей: «Он уже раздумал умирать».

— Что это, шутка или тайна? — спросил молодой незнакомец.

Старик покачал головой и сказал ему серьезно:

— Не сумею вам ответить. Я предлагал то страшное могущество, которым обладает этот талисман, людям, по-видимому более энергическим, чем вы; но все, потешаясь над загадочном влиянием, которое он может оказать на их будущую судьбу, тем не менее не отваживались вступить в договор, предлагаемый на столь роковых условиях уж и не знаю какой силой. Я разделяю их мнение: я сомневался, воздерживался, и...

— И вы даже не попытались? — прервал его молодой человек.

— Попытаться? — продолжал старик.— Разве, стоя на Вандомской колонне, вы пытались бы броситься в воздух? Можно ли остановить течение жизни? Разве человек мог когда-либо раздробить смерть на части? Перед тем как войти в этот кабинет, вы решились на самоубийство; но вдруг вас заняла тайна и отвлекла от мысли о смерти. Дитя! Разве каждый день вашей жизни не представляет для вас загадки, более интересной, чем эта? Выслушайте меня. Я видел распутный двор регента. Как вы, я был тогда в крайней бедности; я выпрашивал на хлеб; тем не менее, я дожил до ста двух лет и стал миллионером: несчастие составило мне состояние, невежество просветило меня. Я в немногих словах открою вам великую тайну человеческой жизни: человек истощает себя двумя действиями, совершаемыми им инстинктивно и иссушающими источники его существования. Два глагола выражают все формы, которые принимают эти две причины смерти: *желать и мочь*. Между двумя этими терминами человеческих действий существует еще другая формула, которой овладевают мудрецы, и ей то я обязан своим счастием и долголетием. Желать — нас сжигает; мочь — нас разрушает; но знать дарует нашей слабой организации непрерывное спокойствие. Итак, желание или хотение во мне мертво, убито мыслью; движение или способность действия проявляется в естественных отправлениях моих органов; словом, я сосредоточил жизнь не в сердце, которое разрывается, не в чувствах, которые притупляются, но в мозгу, который не ветшает и переживает всё. Никакое излишество не сокрушало ни моей души, ни моего тела. А между тем я видел весь мир. Мои ноги шагали по высочайшим горам в Азии и Америке, я изучил все языки человеческие, я жил при всяких правлениях; я давал взаймы китайцу и брал с него в залог труп его отца; я спал под шатром араба, веря его честному слову, я подписывал контракты во всех европейских столицах и без страха оставлял золото в вигваме дикарей; наконец, я получил все,

потому что сумел пренебречь всем. Мое честолюбие заключалось в одном: видеть. А разве видеть не значит знать? А знать, молодой человек, не значит ли наслаждаться духовно? Не значит ли открывать самую субстанцию факта и овладевать им по существу? Что остается от материального обладания? — Идея. Рассудите же сами, как прекрасна должна быть жизнь человека, который, имея возможность запечатлеть в мыслях все реальности, переносит в свою душу источники счастья, извлекает из них тысячи идеальных наслаждений, очищенных от земной грязи. Мысль — ключ от всех сокровищ, она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. Таким образом, я парил над миром, и мои удовольствия были всегда умственными наслаждениями. Мой разгул состоял в созерцании морей, народов, лесов, гор. Я осмотрел всё, но спокойно, без утомления; я никогда ничего не желал, я всего ожидал, я прогуливался по вселенной, как по саду при собственном доме. То, что люди зовут огорчениями, любовью, честолюбием, ударами судьбы, печалью,— для меня идеи, которые я превращаю в мечты; вместо того чтобы чувствовать их, я нахожу для них выражение и истолкование; вместо того чтобы дозволять им снедать мою жизнь, я их драматизирую, я развиваю их, я ими забавляюсь, как романами, которые бы читал при помощи внутреннего зрения. Я никогда не утомлял своих органов и пользуюсь доселе крепким здоровьем. Моя душа унаследовала всю ту силу, которую я не истратил, моя голова богаче моей лавки. Тут,— сказал он, ударяя себя по лбу,— тут настоящие миллионы. Я чудно провожу дни, бросая умудренный взгляд на прошлое; я вызываю перед собой целые страны, пейзажи, виды океана, исторически прекрасные личности. У меня есть воображаемый сераль, где я обладаю всеми женщинами, которых не познал. Я часто вижу вновь ваши войны, ваши революции и сужу их. О, разве можно предпочесть этому лихорадочные, хрупкие восторги перед какими-нибудь более или менее округленными формами! Как предпочесть все бедствия ваших обманутых желаний величавой способности вызывать в самом себе всю вселенную, огромному удовольствию двигаться, не будучи связанным ни узами времени, ни путами пространства, удовольствию все объять, все видеть, склоняться над краем мира, чтоб вопрошать другие сферы и внимать богу. Тут,— сказал он громким голосом, указывая на Шагреневую Кожу,— соединены и *желать и мочь*. Тут — ваши общественные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша неумеренность, ваши убийственные радости, ваши печали, заставляющие жить чересчур интенсивно; потому что страдание, быть может, не что иное, как жгучее наслаждение. Кто может определить точку, где сладострастие становится страданием, а страдание еще является сладострастием? Разве самый яркий свет идеального мира не ласкает зрения, между тем как самый сладостный мрак мира физического всегда режет глаза? Разве мудрость не зависит от знания, и что такое безумие, как не безудержное могущество?

— Я и хочу жить без удержу! — сказал незнакомец, схватывая Шагреневую Кожу.

— Молодой человек, берегитесь! — с невероятной живостью вскричал старик.

— Я отдал свою жизнь науке и мысли, но они были не в силах даже прокормить меня,— возразил незнакомец.— Я не хочу быть одураченным ни предсказанием, достойным Сведенборга, ни вашим восточным амулетом, ни милосердными усилиями, которые вы делаете, чтоб удержать меня в мире, где мое существование более невозможно. Слушайте,— прибавил он, судорожно сжимая талисман и глядя на старика,— я желаю царственно-великолепного обеда, вакханалии, достойной века, в котором, как говорят, все достигло совершенства. Я хочу, чтоб мои сотрапезники были молоды, умны, без предрассудков и веселы до безумия, чтоб нам подавали вина, чем дальше, тем крепче, тем искрометнее, и такие, чтоб могли опьянить нас на три дня. Я хочу, чтоб эта ночь была украшена пылкими женщинами, чтоб исступленный разгул с ревом умчал нас в своей колеснице, запряженной четверней, за пределы мира и выбросил на неизвестные берега, чтоб души наши вознеслись к небесам или окунулись в грязь,— ибо я не знаю, возвышаются они тогда или унижаются, и меня это не заботит. Итак, я приказываю этой мрачной силе слить для меня все радости в одну радость. Да, мне нужно обнять земные и небесные наслаждения в последнем объятье, чтоб умереть от него. Еще желаю я после пьянства античных приапей; песен таких, чтоб разбудили мертвых, и тройных поцелуев, поцелуев без конца, чтоб шум от них пронесся над Парижем, как треск пожара, разбудил бы всех мужей и внушил бы им жгучий пыл, который помолодил бы даже семидесятилетних.

Взрыв хохота, сорвавшийся с уст старика как адский гомон, раздался в ушах молодого безумца и так деспотически прервал его, что он умолк.

— Не думаете ли вы, — сказал старик, — что у меня сейчас разверзнется пол, чтоб пропустить великолепно убранные столы и сотрапезников с того света? Нет, нет, молодой безумец. Вы подписали договор. Этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться до мелочей, но за счет вашей жизни. Круг ваших дней, отображенный этой кожей, будет сжиматься, смотря по силе и числу ваших желаний, от самого легкого до самого непомерного. Брамин, коему обязан я этим талисманом, объяснил мне тогда же, что судьба и желания владельца будут таинственно согласовываться между собою. Ваше первое желание пошло, и я мог бы осуществить его; но я предоставляю заботу об этом событиям вашего нового существования. В конце концов, вы хотели умереть. Что ж, ваше самоубийство только отсрочено.

Незнакомец, изумленный и почти раздраженный тем, что над ним все подшучивает этот странный старик, полуфилантропическое намерение которого, по-видимому, ясно доказывалось последней выходкой, вскричал:

— Посмотрю, сударь, изменится ли моя судьба за то время, пока я пересеку набережную! И если вы насмехаетесь над несчастным, желаю вам в отместку за такую роковую услугу, чтоб вы влюбились в танцовщицу. Тогда вы поймете блаженство разгула и, быть может, расточите все богатства, которые сберегали так философски.

Он удалился, не расслышав глубокого вздоха старика, прошел через залы и спустился по лестнице в сопровождении толстого, полнощекого приказчика,

который тщетно пытался посветить ему: он бежал со скоростью вора, пойманного с поличным. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной гибкости Шагреневой Кожи, которая стала мягка, как перчатка, свернулась под его судорожными пальцами и поместилась в кармане фрака, куда он сунул ее почти непроизвольно. Он бросился из двери магазина на улицу и столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли, держась под руки.

— Скотина!

— Дурак!

Таковы были учтивые приветствия, которыми они обменялись.

— Э, да это Рафаэль!

— Вот так так... а мы тебя ищем.

— Как, это вы?

Эти три дружеские фразы последовали за ругательством, едва свет фонаря, качавшегося на ветру, упал на лица изумленной группы.

— Любезный друг, — сказал Рафаэлю молодой человек, которого он чуть было не сшиб с ног, — ты пойдешь с нами.

— В чем дело?

— Идем, а я по дороге тебе расскажу.

Хотел ли того или не хотел Рафаэль, друзья окружили его, подхватили под руки и, втянув в свой веселый круг, повлекли к мосту Искусств.

— Милый мой,— продолжал оратор,— мы ищем тебя уже примерно с неделю. В твоей достопочтенной гостинице «Сен-Кантен» [1], где — к слову сказать — на бессменной вывеске, как во времена Жан-Жака Руссо, красные буквы все еще чередуются с черными, твоя Леонарда [2] сказала нам, что ты уехал в деревню. Между тем, мы вовсе не имели вида денежных воротил, судебных приставов, заимодавцев, чинов коммерческого суда и тому подобных. Впрочем, это неважно. Но Растиньяк видел тебя накануне в Опера-Буфф; это снова нас окрылило, и мы почли для себя делом самолюбия узнать, не примостился ли ты на дереве в Елисейских полях, не отправился ли ночевать за два су в один из филантропических притонов, где нищие спят, облокотясь на протянутые веревки, или не посчастливилось ли тебе устроиться в каком-нибудь будуаре. Мы нигде не могли тебя найти: ни в арестантских списках Сен-Пелажи, ни в списках Ла-Форса. Министерства, Опера, монастырские дома, кофейни, библиотеки, списки префектур, редакции, рестораны, театральные фойе — словом, все пристойные и непристойные места Парижа были обследованы нами по всем правилам науки, и мы уже скорбели о гибели человека, достаточно одаренного, чтоб его можно было с равным успехом разыскивать и при дворе, и в тюрьме. Мы уже поговаривали о том, чтоб канонизовать тебя как героя Июльской революции и, честное слово, жалели о тебе.

---

[1] В гостинице «Сен-Кантен», существовавшей и во времена Бальзака на улице Канатчиков, Жан-Жак Руссо действительно жил в 1749 г.

[2] Леонарда — кухарка из романа Лесажа «Жиль Блас», настолько популярного, что имя «Леонарда» стало синонимом слова «служанка».

В это время Рафаэль проходил с друзьями по мосту Искусств и, не слушая их, поглядывал на Сену, в шумных волнах которой отражались огни Парижа. В отношении реки, куда давеча он хотел броситься, исполнилось предсказание старика: час его смерти уже был отсрочен роковым образом.

— И мы вправду жалели о тебе,— говорил его друг, продолжая развивать свою тему.— Дело идет о комбинации, к которой мы хотели тебя приобщить в качестве человека высших способностей, то есть человека, способного возвыситься над всем. Фокусничество с конституционным шариком и двойным дном королевского стаканчика, мой милый, теперь в ходу больше, чем когда-



нибудь. Позорная монархия, свергнутая народным героизмом, была женщиной скверного поведения, с которой можно было посмеяться и покутить; но Отечество — сварливая и добродетельная супруга, и нам, волей-неволей, приходится принимать ее накрахмаленные ласки. Как тебе известно, власть из Тюильри перемещена в журналистику, подобно тому, как бюджет переехал в другой квартал, из Сен-Жерменского предместья на шоссе д'Антен[1]. Но вот что тебе, быть может, и неизвестно. Правительство, то есть банкирская и адвокат-

[3] *...из Сен-Жерменского предместья на шоссе д'Антен.* Смысл этой фразы таков: бюджет находится теперь в распоряжении буржуазии, а не аристократии.

ская аристократия, которая олицетворяет отечество, как некогда попы олицетворяли монархию, почувствовало необходимость надувать добрый французский народ по примеру философов всех школ и сильных людей всех веков, при помощи новых слов и старых идей. Требуется поэтому внедрить в нас глубоко национальное убеждение, доказав, что мы будем счастливее, платя тысячу двести миллионов тридцать три сантима отечеству, представленному такими-то и такими господами, чем платя тысячу сто миллионов девять сантимов королю, который вместо «мы» говорил «я». Словом, основывается газета, вооруженная добрыми двумя или тремя сотнями тысяч франков, с целью проводить оппозиционные мнения, которые удовольствовали бы недовольных, не вредя национальному правительству короля-гражданина. Ввиду того, что мы смеемся над свободой в такой же мере, как над деспотизмом, над религией — в такой же мере, как над безверием; ввиду того что для нас отечество — столица, где обмениваются идеями, где всякий день предстоят вкусные обеды и многочисленные зрелища, где кишат распутные блудницы и ужины оканчиваются лишь под утро, где любовь нанимается, как кареты, на часы, а равно ввиду того что Париж всегда будет самым обожаемым из всех отечеств, отечеством веселья, свободы, остроумия, хорошеньких женщин, прохвостов, доброго вина, и где жезл правления никогда не даст себя особенно чувствовать, потому что здесь стоишь слишком близко к тем, у кого он в руках... мы, истинно верующие в бога Мефистофеля, предпринимаем повеленье общественного мнения, переодеванье актеров, прибивку новых досок к правительственному бараку, лечение доктринеров, перекалку старых республиканцев, подновление бонапартистов и снабжение съестными припасами центра, только бы нам было позволено смеяться in petto [1] над королями и народами, держаться вечером другого мнения, чем поутру, и проводить веселую жизнь по образцу Панурга или же more orientali [2], лежа на мягких подушках. Мы предоставляем тебе бразды правления этого макаронического бурлескного царства; а посему мы сейчас же ведем тебя на обед к основателю вышереченной газеты, банкиру, удалившемуся от дел, который, не зная куда девать деньги, хочет выменять их на остроумие. Ты будешь там принят, как брат; мы тебя провозгласим королем фрондирующих умов, которых ничто не страшит, и чья прозорливость открывает намерения Австрии, Англии или России, раньше, чем Россия, Англия или Австрия возымеют какое-нибудь намерение. Да, мы тебя признаем владыкой тех умственных сил, которые дарują миру Мирабо, Талейранов, Питтов, Меттернихов, словом, всех этих ловких Криспенов [3], играющих между собой на судьбы государств, подобно тому, как простые смертные играют на киршвассер в домино. Мы выдали тебя за самого неустрашимого борца, который когда-либо боролся один на один с разгулом, этим удивительным чудовищем, с коим не прочь побороться самые сильные

[1] про себя.

[2] по восточному обычаю.

[3] К р и с п е н, или вернее, Криспино — тип пронырливого слуги в старой итальянской комедии.

умы. Мы даже утверждали, что ты еще ни разу не был им побежден. Надеюсь, ты не посрамишь наших похвал. Тайефер, наш амфитрион, обещал затмить жалкие сатурнали современных Лукуллычиков. Он достаточно богат, чтобы придавать величие мерзости, изящество и прелесть пороку. Слышишь, Рафаэль? — прерывая самого себя, спросил его оратор.

— Да, — отвечал молодой человек, не столько изумленный исполнением своих желаний, сколько тем естественным образом, каким сплетались события. Для него было немыслимо верить в магическое влияние, однако он все же изумлялся случайности человеческой судьбы.

— Но ты говоришь «да» таким тоном, точно думаешь о смерти своего дедушки, — заметил ему один из товарищей.

— Ах,— отвечал Рафаэль с такой наивностью, что эти писатели, надежда юной Франции, рассмеялись,— я думал, друзья, о том, что вот мы готовы стать величайшими негодяями. Доселе мы вели себя нечестиво, будучи слегка под хмельком, взвешивали жизнь в состоянии опьянения, оценивали людей и события, переваривая пищу. Действенные в отношении дел, мы были отважны на словах; но теперь, когда мы заклеймены раскаленным железом политики, мы вступим в великий острог и лишимся там всех иллюзий. Когда веришь только в дьявола, то позволительно пожалеть о рае своей юности, о том невинном времени, когда мы благочестиво подставляли язык доброму патеру, чтобы приобщиться тела господня. Ах, добрые друзья, если мы чувствовали удовольствие, творя первые грехи свои, то ведь тогда у нас были еще упреки совести, которые скрашивали их, придавали им остроту, вкус, теперь же...

— О, — возразил первый собеседник, — теперь нам осталось еще...

— Что? — спросил другой.

— ...преступление...

— Вот слово столь же высокое, как виселица, и столь же глубокое, как Сена, — возразил Рафаэль.

— О, ты меня не понял. Я говорю о политических преступлениях. С сегодняшнего утра я завидую только жизни заговорщиков. Не знаю, доживет ли эта фантазия до завтра; но нынче вечером бледная жизнь нашей цивилизации, однообразная, как полотно железной дороги, заставляет мое сердце сжиматься от омерзения. Меня увлекают бедствия московского отступления, волнения Красного корсара[1] и жизнь контрабандистов. И ввиду того, что во Франции нет больше картезианцев, я стремлюсь, по крайней мере, в Ботани-Бей[2], в этот своего рода лазарет для маленьких лордов Байронов, которые, скомкав свою жизнь, словно салфетку после обеда, не умеют ни за что взяться, как только мутить свое отечество, пускать пулю в лоб, составлять республиканские заговоры или требовать войны...

---

[1] *«Красный корсар»* — роман Фенимора Купера, появившийся в 1828 г.

[2] Ботани-Бей — бухта в Австралии; здесь английское правительство устроило в 1787 г. колонию для ссыльных, которых Бальзак называет маленькими Байронами.

— Эмиль, — с жаром возразил собеседнику сосед Рафаэля, — честное слово, не будь Июльской революции, я пошел бы в патеры, чтобы жить животной жизнью в какой-нибудь деревушке, и...

— И каждый день читал бы требник?

— Да.

— Ты ломака.

— Да ведь читаем же мы газеты!

— Недурно для журналиста. Но замолчи: мы идем посреди толпы подписчиков. Журнализм, видишь ли, — религия новейших обществ, но и тут есть прогресс.

— В чем же он заключается?

— Первосвященники не обязаны верить, и народ также....

Ведя такие разговоры, как и подобало славным малым, издавна знакомым с «De viris illustribus» [1], они подошли к дому на улице Жубер.

Эмиль был журналист, более прославившийся своими провалами, чем другие своими успехами. Смелый критик, полный задора и язвительности, он обладал всеми качествами, какие только допускали его недостатки. Откровенный и насмешливый, он говорил тысячи эпиграмм в лицо друзьям, которых за глаза защищал смело и преданно. Он смеялся над всем, даже над своей будущностью. Вечно без денег, он, как все более или менее способные люди, предавался невыразимой лени, швыряя одним словом, равноценным целой книге, в нос господам, которые не умели ни слова написать в своих книгах. Щедрый на обещания, которые никогда не исполнял, он из своего счастья и славы устроил себе подушку для спанья, рискуя тем, что в старости придется проснуться в богадельне. Вдобавок, верный друзьям до плахи, фанфарон цинизма и простодушный, как дитя, он работал только из каприза или по необходимости.

— Мы, по выражению мессира Алькофрибаса[2], «потешим малость грешную плоть», — сказал он Рафаэлю, указывая на ящики цветов, которые наполняли всю лестницу зеленью и ароматом.

— Я люблю, когда прихожие хорошо натоплены и устланы богатыми коврами, — отвечал Рафаэль. — Роскошь, начиная с перистиля, редкость во Франции. Я чувствую, что возрождаюсь здесь.

— А там, наверху, мы еще раз выпьем и похохочем, мой бедный Рафаэль. — Ну, — добавил Эмиль, — надеюсь, что мы останемся победителями и пройдемся по всем этим головам.

Затем он насмешливым жестом указал на гостей, входя вместе с друзьями в гостиную, блестевшую позолотой и огнями, где их тотчас же приветствовали самые замечательные из парижских молодых людей. Один только что объявился в качестве нового таланта и стал с первой же картины соперником прослав-

---

[1] *«De viris illustribus»* («О прославленных мужах») — жизнеописание великих людей древности, составленное Корнелием Непотом.

[2] Мессир Алькофрибас — псевдоним Рабле. Приводимое Бальзаком изречение см. в «Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. 11. гл. 22.

ленных художников императорской эпохи. Другой только накануне отважился выпустить книгу, полную свежести, отмеченную печатью некоего литературного презрения и открывшую современной школе новые пути. Несколько поодаль скульптор, лицо которого, полное суровости, говорило о могучем гении, разговаривал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, то нигде не хотят видеть превосходства, то признают его всюду. Тут самый остроумный из наших карикатуристов, с лукавым взглядом, с ехидными губами, подстерегал эпиграммы, чтобы передать их штрихом карандаша. Там молодой и смелый писатель, который лучше всех умел дистиллировать квинтэссенцию политических мнений или, шутя, сконденсировать остроумие плодовитого писателя, беседовал с поэтом, чьи сочинения затмили бы все произведения нашего времени, если бы его талант был столь же силен, как его ненависть. Оба старались не говорить правды и не лгать, расточая друг другу сладостную лесть. Знаменитый музыкант утешал насмешливым голосом в si-bemol'e молодого политика, который недавно упал с трибуны, не причинив себе никакого вреда. Юные авторы без стиля стояли подле юных авторов без мыслей, прозаики, полные поэзии,— возле прозаических поэтов. Глядя на эти незавершенные создания, бедный сен-симонист, достаточно наивный, чтобы верить в свое учение, милосердно примирял их, без сомнения желая превратить в монахов своего ордена. Наконец, тут было двое или трое ученых, предназначенных вводить азот в беседу[1], и несколько водевилистов, готовых бросить в нее те эфемерные блестки, которые, как лучи алмаза, не светят и не греют. Несколько человек с парадоксальным умом, смеясь втихомолку над теми, кто соглашался с их восторженными или презрительными суждениями о людях и вещах, уже занимались той обоюдоострой политикой, при помощи которой они составляют заговор против всех политических систем, не становясь ни на чью сторону. Тут был и критикан, ничему не удивляющийся, сморкавшийся посреди каватины в Опера-Буфф, кричавший bravo раньше всех и противоречивший всем, кто предупреждал его мнение, и старавшийся приписать себе остроты умных людей. Между этими гостями у пятерых была будущность, десятку предстояло приобрести кой-какую пожизненную славу; что касается остальных, то они могли, как все посредственности, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII: Единение и Забвение[2]. Амфитрион проявлял озабоченную веселость человека, тратящего две тысячи экю. От времени до времени его глаза с нетерпением обращались к дверям гостиной, призывая того из приглашенных, который заставлял себя ждать. Вскоре появился толстенький человечек, встреченный лестным гулом; то был нотариус, поутру завершивший основание газеты.

---

[1] *Вводить азот в беседу* означает: делать беседу безжизненной, скучной, так как термин «азот», которым обозначается инертный газ, в буквальном переводе с греческого значит «безжизненный».

[2] *Единение и Забвение* — намек на лозунг «единение всей французской нации и забвение внутренних разногласий», провозглашенный Людовиком XVIII при вступлении на престол в 1814 г.

Лакей в черной ливрее отворил двери обширной столовой, куда все направились без церемонии отыскивать свои места за огромным столом. Прежде чем уйти из гостиной, Рафаэль еще раз окинул их взором. Действительно, его желание полностью осуществилось. Шелк и золото украшали стены покоев; богатые канделябры с бесчисленным множеством восковых свечей заставляли блестеть самые мелкие детали позолоченных карнизов, нежную чеканку бронзы и роскошные краски обстановки. Редкие цветы, в художественно сделанных из бамбука жардиньерках, распространяли сладостное благоухание. Всё, вплоть до драпировок, дышало непритязательным изяществом; во всем была какая-то поэтическая прелесть, обаяние которой должно было действовать на воображение человека без денег.

— Сто тысяч дохода — прелестный комментарий к катехизису и чудесным образом помогают нам претворить *мораль в действие*, — сказал он, вздыхая. — Ох, моя добродетель уже не ходит пешком. Для меня порок — чердак, потертое платье, серая шляпа зимой и долг швейцару. Ах, хотелось бы пожить посреди такой роскоши год, полгода, все равно сколько! А потом можно и умереть. По крайней мере, я исчерпал бы, познал, сожрал тысячу жизней.

— Гм,— сказал слушавший его Эмиль,— ты принимаешь карету биржевого маклера за счастье. Полно, тебе скоро бы наскучило богатство; ты заметил бы, что оно мешает тебе стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатства и богатством бедности? Разве у нашего брата нет вечного тяготения к борьбе? А потому держи наготове свой желудок, и взгляни,— сказал он, указывая героическим жестом на великолепный, трижды святой и обнадеживающий вид, который представляла столовая блаженного капиталиста.— В сущности,— продолжал он,— этот человек трудился и копил деньги только для нас. Разве это не род губки, пропущенной натуралистами в отряде полипов, которую надо деликатно поднажать, прежде чем предоставить наследникам ее высасывать? Чем не стильны, по-твоему, барельефы, украшающие стены? А люстры, а картины? Как много вкуса в этой роскоши! Если верить завистникам и тем, кто почитают себя знатоками всех пружин жизни, то этот человек во время Революции убил немца и еще нескольких лиц, а именно, как говорят, своего лучшего друга и мать этого друга. Можешь ли ты предположить преступление под седеющими волосами этого почтенного Тайефера? У него вид предоброго человека. Погляди-ка, как блещет это столовое серебро! И что ж, каждый из этих лучей якобы для него удар кинжала... Полно, скорей можно уверовать в Магомета. Если молва права, то вот тридцать добрых и талантливых людей готовятся есть внутренности, пить кровь целой семьи. И выходит, что мы, двое скромных молодых людей, полные энтузиазма, станем сообщниками преступления. Меня берет охота спросить нашего капиталиста, честный ли он человек.

— Только не теперь! — вскричал Рафаэль, — а когда он будет мертвецки пьян... и мы уже пообедаем.

Друзья уселись, смеясь. Вначале, взглядом быстрее слова, каждый из гостей заплатил дань удивления великолепному зрелищу, которое представлял длинный стол, белый, как только что выпавший снег, и симметрически расставленные приборы, увенчанные рыжими хлебцами. Хрусталь отражал звездчатыми отблесками радужные цвета; от свечей лились бесконечно перекрещивавшиеся лучи света; блюда, покрытые серебряными колпаками, возбуждали любопытство и аппетит. Обменивались словами только изредка. Соседи поглядывали друг на друга. Обносили мадерой. Затем появилось первое блюдо во всей своей славе; оно сделало бы честь покойному Камбасересу[1] и Брийа-Саварен прославил бы его. Бордоские и бургундские вина, белые и красные, подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пира во всех отношениях можно было сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие было уже несколько болтливее. Всякий гость выпил надлежащим образом, чередуя вина по своему капризу, так что, когда унесли остатки великолепного блюда, уже завязались бурные споры; несколько бледных лбов покраснело, кое-чьи носы стали фиолетовыми, лица заблестели, глаза засверкали. На заре охмеления разговор не преступал еще пределов приличия; но шутки, остроты мало-помалу стали срываться с уст; затем клевета потихоньку подняла свою змеиную головку и заговорила тоненьким голоском; кое-где несколько скрытных людей слушали внимательно, в надежде сохранить здравомыслие.

Вторая перемена застала уже головы сильно разгоряченными. Всякий кушал, разговаривая, и разговаривал, кушая; пил, не остерегаясь обилия напитков, до того были они прозрачны и душисты, до того заразителен был пример. Тайефер захотел оживить гостей и приказал двинуть жестокие ронские вина, жгучий токай, старый пьянящий русильон. Подхлестываемые колючими искрами шампанского, ожидавшегося с нетерпением, но зато полившегося в изобилии, эти люди, тронувшись, как лошади почтовой кареты, отъезжающей от станции, пустили свои мысли в галоп по пустому пространству рассуждений, которым никто не внимает; начали рассказывать анекдоты, которые не находят слушателей, и по сто раз возобновляли вопросы, которые остаются без ответа.

Только одна оргия возвышала свой громкий голос, голос, сотканный из сотни смутных гулов, нараставших, как крещендо Россини. Затем последовали лукавые тосты, хвастливые речи, вызовы. Никто не хотел гордиться присущими ему умственными способностями, стремясь почерпнуть таковые из бочек, сороковок и кадок. Казалось, что у каждого по два голоса. Настало мгновение, когда господа говорили сразу, а слуги ухмылялись. Но эта смесь слов, без сомнения, заинтересовала бы философа странностью мнений или удивила бы политика курьезностью политических систем, ибо тут среди криков, расследований, верховных приговоров и благоглупостей сталкивались друг с другом парадоксы сомнительного блеска и истины в гротескном облачении, подобно

[1] Камбасерес, Ж.-Ж., канцлер в эпоху Наполеона, и Брийа-Саварен, А., член кассационного суда, прославились не столько своими заслугами, сколько гурманством.

тому, как на поле сражения скрещиваются ядра, пули и картечь. То сразу была и книга, и картина. Философские системы, религии, нравственные учения, столь различные под разными широтами, формы управления, наконец, все великие деяния человеческого разума падали под косой, столь же длинной, как коса Времени, и, быть может, вы затруднились бы решить, в чьих руках была эта коса — в руках у опьяненной Мудрости или у Опьянения, ставшего мудрым и прозорливым. Увлекаемые каким-то вихрем, эти умы, подобно морю, раздраженному против утесов, хотели, казалось, поколебать все законы, между которыми плавают цивилизации, угождая таким образом бессознательно воле бога, который дает место, в природе и добру, и злу, но хранит про себя тайну их непрерывной борьбы. Бурный и шутовской этот спор был некоторого рода шабашем умов. Между грустными шутками этих детей Революции при рождении газеты и болтовней веселых пьянчужек при рождении Гаргантюа была целая пропасть, отделяющая XIX век от XVI. Тот, смеясь, готовил разрушение; наш же смеется посреди развалин.

— Как зовут вот того молодого человека? — спросил нотариус, указывая на Рафаэля. — Мне послышалось, что его фамилия Валантен.

— Кого это вы так запросто называете Валантеном? — со смехом вскричал Эмиль. — Рафаэль де Валантен, с вашего позволения! У нас герб: золотой орел на черном поле, в серебряной короне, с крыльями, когтями и клювом, и славный девиз: «Non cecidit animus!» [1] Мы не какой-нибудь найденыш, а потомок императора Валента, родоначальника рода Валантенуа, основателя городов Валанса во Франции и Валенсии в Испании, законный наследник Восточной империи. Если мы и позволяем царствовать Махмуду в Константинополе, то единственно по нашей доброй воле и за недостатком денег или солдат.

Эмиль описал в воздухе вилкой корону над головой Рафаэля. Нотариус немного подумал и принялся вновь пить, сделав классический жест, которым, казалось, признавал, что ему невозможно включить в число своих клиентов города Баланс и Валенсию, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантенуа.

— Разве разрушение этих муравейников, именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, то и дело придавливаемых пятой проходящего великана, не является предупреждением, которое дает человечеству некая насмехающаяся сила? — сказал Клод Виньон, некое подобие раба, нанятого, чтоб изображать Босюэ по десяти су за строку.

— Моисей, Сулла, Людовик XI, Ришелье, Робеспьер и Наполеон, быть может, один и тот же человек, появившийся в разные эпохи, как комета на небе, — отвечал баланшист.

— К чему испытывать провидение? — сказал Каналис, кропатель баллад.

— Ну, вот заговорили о провидении! — прерывая его, вскричал критикан. — Я не знаю более растяжимого слова.

---

[1] «Не падает духом!»

— Но позвольте, Людовик XIV погубил больше людей для устройства Ментенонского акведука, чем Конвент для справедливого распределения податей, объединения законодательства, национализации имущества во Франции и установления равенства в праве наследования, — сказал Масоль, молодой человек, ставший республиканцем ввиду отсутствия слога «де» перед его фамилией.

— Вы, однако, принимаете кровь за вино, — отвечал ему Моро, уазский помещик; — оставите ли вы нам на этот раз головы на плечах?

— К чему? Разве принципы социального порядка не стоят некоторых жертв?

— Биксиу, слышишь! Этот пресловутый республиканец полагает, что голова вот этого помещика тоже может быть названа жертвой, — сказал один из молодых людей своему соседу.

— Люди и события ничего не значат, — продолжал развивать свою теорию республиканец, невзирая на икоту. — В политике и философии существуют только принципы и идеи.

— Что за ужас! И вам не жаль будет убивать своих друзей из-за какого-нибудь «если»...

— Э! Настоящий негодяй это тот, кто чувствует угрызения совести, потому что у него есть известное представление о добродетели; между тем как Петр Великий, герцог Альба были политическими системами, а корсар Момбар[1] — организацией.

— Но разве общество не может обойтись без ваших систем и без вашей организации? — сказал Каналис.

— О, конечно! — вскричал республиканец.

— От вашей глупой республики меня просто тошнит. Да нам нельзя будет спокойно разрезать каплуна, чтоб не найти в нем аграрного закона.

— Твои принципы превосходны, о Брутик, начиненный трюфелями! Но ты напоминаешь моего лакея; этот дурак до того одержим манией чистоплотности, что, разреши я ему чистить мое платье по его усмотрению, мне пришлось бы ходить голышом.

— Этакие скоты! Вы хотите чистить нацию зубочисткой, — возразил господин с республиканскими убеждениями. — По-вашему, правосудие опаснее воров.

— Гм, гм! — заметил стряпчий Дерош.

— Как вы скучны со своей политикой, — сказал нотариус Кардо. — Затворите дверь. Нет ни наук, ни добродетели, которая стоила бы капли крови. Если приняться за ликвидацию истины, то она, пожалуй, окажется несостоятельным должником.

— О, без сомнения, дешевле забавляться злом, чем ссориться из-за блага. Поэтому я все речи, произнесенные с трибуны за сорок последних лет, променяю на форель, на сказку Перро или на набросок Шарле.

---

[1] М о м б а р , по прозвищу Истребитель, — знаменитый морской разбойник XVII в., которого французские беллетристы и драматурги начала XIX в. не раз делали героем своих произведений.

— И вы правы. Передайте мне спаржу... Потому что в конце концов свобода порождает анархию, анархия ведет к деспотизму, а деспотизм снова приводит к свободе. Миллионы существ погибли, а все-таки не могли доставить торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вертеться нравственный мир? Человек думает, что он совершенствуется, а на самом деле он просто занимается перестановкой.

— О, о! — вскричал Кюрси, водевилист. — В таком случае я предлагаю тост за Карла X, отца свободы.

— А почему бы нет? — сказал Эмиль. — Когда законы покоятся на деспотизме, то в нравах воцаряется свобода, и vice versa [1].

— Итак, выпьем за глупость власти, которая дарует нам такую власть над глупцами, — сказал банкир.

— Ах, милейший, Наполеон оставил нам, по крайней мере, славу! — кричал морской офицер, никогда не выходивший в море из Бреста.

— Слава — жалкий продукт. Стоит она дорого, а держится недолго. Не является ли она просто эгоизмом великих людей, как счастье — эгоизмом дураков?

— Сударь, вы счастливец.

— Изобретатель рвов, без сомнения, был человек слабый, потому что общество имеет смысл только для хилых. Находясь на двух крайних точках нравственного мира, дикарь и мыслитель равно питают отвращение к собственности.

— Прелестно! — вскричал Кардо. — Но, если бы не было собственности, как бы стали мы составлять акты?

— Фантастический горошек! До чего вкусно!

— И приходского священника нашли мертвым в постели на другое утро...

— Кто говорит о смерти? Не шутите. У меня есть дядюшка.

— И вы, без сомнения, охотно примиритесь с его потерей?

— Об этом не может быть и вопроса.

— Слушайте, господа. Способ убить своего дядю. Тс! (Слушайте, слушайте!) Сперва обзаведитесь дядюшкой, толстым и жирным, по меньшей мере семидесяти лет; это самый лучший сорт дядюшек. (Сенсация.) Заставьте его под каким-нибудь предлогом съесть страсбургский паштет...

— Ох, у меня дядюшка высокий и сухой, скупой и необжорливый.

— Да такие дяди — чудовища, злоупотребляющие жизнью.

— И, в то время как он будет переваривать съеденное, — продолжал господин с дядюшками, — скажите ему, что его банкир обанкротился.

— А если он выдержит?

— Подсуньте ему хорошенькую девушку.

— А если?.. — спросил другой, сделав отрицательный знак.

— В таком случае это не дядя; все дядюшки — народ ходовой.

— У г-жи Малибран пропали две ноты в голосе.

— Нет, сударь.

---

[1] наоборот.

— Да, сударь.

— О, о! Да разве «да» и «нет» не история всех религиозных, политических и литературных рассуждений? Человек — шут, пляшущий над пропастью.

— Если только я вас правильно понял, то выходит, что я дурак?

— Напротив, вы дурак именно потому, что меня не поняли.

— Образование — это чушь. Г-н Гейнеффеттермах определяет число напечатанных томов более чем в миллиард, а человек во всю жизнь не может прочесть и ста пятидесяти тысяч. Объясните же мне, в таком случае, что значит «образование». Для одного оно состоит в том, чтобы знать имена лошади Александра, дога Беречилло сеньёра Дезакор[1] и не знать имени человека, которому мы обязаны изобретением фарфора или сплава леса. Для других быть образованным значит ухитриться сжечь завещание и зажить жизнью порядочных людей, всеми любимых и уважаемых, вместо того чтобы сделаться рецидивистом, украсть часы при пяти отягчающих вину обстоятельствах и отправиться на Гревскую площадь, заслужив ненависть и позор.

— Выживет ли слава Натана?[2]

— Его сотрудники, сударь, очень умны.

— А Каналис?

— Он великий человек; не станем и говорить о нем.

— Вы пьяны.

— Непосредственное последствие всякой конституции — опошление умов. Искусства, науки, памятники — все пожирается ужасающим чувством эгоизма, этой язвой нашей эпохи. Ваши триста буржуа, сидящие на депутатских скамьях, ни о чем не подумают, кроме посадки тополей. Деспотизм незаконно совершает великие дела, а свобода не потрудится законно выполнить даже самые маленькие.

— Ваше взаимное обучение создает не людей, а какие-то пятифранковики из человеческого мяса, — вмешался абсолютист. — Индивидуальности исчезают в народе, приведенном к одному уровню образования.

— Но разве цель общества не в том, чтобы доставить всем благоденствие? — спросил сен-симонист,

— Будь у вас пятьдесят тысяч ливров доходу, вы не стали бы думать о народе. Но может быть, вы страстно влюблены в человечество? Так поезжайте на Мадагаскар; там вы найдете целый свеженький народец, который можно сен-симонизовать, разделить на классы, уложить в банки; но тут всякий естественно входит в свою ячейку, как клин в дырку. Швейцары здесь — швейцары, а глупцы — глупцы, и не требуется священной коллегии, чтобы возвести их в это звание. Ха, ха!

---

[1] Сеньёр Дезакор — псевдоним Этьена Табуро, писателя XVII в., забытого уже во времена Бальзака. Тем не менее, так называемая «образованность» требовала, чтобы всякий знал, как звали собаку этого безвестного Табуро.

[2] *Выживет ли слава Натана? Его сотрудники очень умны.* Натан — одно из вымышленных лиц «Человеческой комедии». В более ранних изданиях вместо этих фраз были: «Ламартина не забудут: Скриб... очень умен».

— Да вы карлист.

— А почему мне и не быть им? Я люблю деспотизм, в нем есть некоторое презрение к человеческому роду. К королям я не питаю никакой ненависти. Они такие забавные. И разве ничего не значит царствовать в палате, в тридцати миллионах льё от солнца?

— Изложим же вкратце длинный путь цивилизации,— говорил умный ученый, который ради наставления скульптора принялся за рассуждения о начале обществ и первобытных народах.— При зарождении национальных объединений сила была в некотором роде материальной, единичной, грубой; затем, с возрастанием аггрегаций, при помощи более или менее искусных разложений, из первичной власти выделились правительства. Так, в глубокой древности сила была в теократии; жрец владел мечом и кадильницей. Позже уже имеются два жреческих звания: первосвященник и царь. Теперь наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть по числу комбинаций, и мы пришли к силам, именуемым промышленностью, мыслью, деньгами, словом. Власть, не имея уже единства, беспрепятственно идет к общественному разложению, для которого нет иной преграды, кроме интереса. Таким образом, мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но заменяет ли книга меч, заменяет ли рассуждение действие? Вот в чем вопрос.

— Разум убил всё! — вскричал карлист. — Полноте, абсолютная свобода направляет народы к самоубийству; несмотря на свое торжество, они скучают, как какой-нибудь миллионер-англичанин.

— Что вы можете сказать нам нового? Вот вы осмеиваете все власти, и это столь же пошло, как отрицать бога. У вас больше нет веры. Поэтому наш век похож на старого султана, погрязшего в распутстве. Наконец, ваш лорд Байрон, в последнем поэтическом отчаянии, воспел преступные страсти.

— Знаете ли, — отвечал ему совершенно пьяный Бьяншон, — что большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или злодеем, умным или идиотом, добродетельным или преступным?

— Можно ли так говорить о добродетели! — вскричал Кореи. — Ведь добродетель — сюжет всех театральных пьес, развязка всех драм, основа всех судов...

— Да замолчи же, животное! Твоя добродетель — Ахиллес без пяты, — ответил Биксиу.

— Дайте вина!

— Хочешь держать пари, что я выпью целую бутылку шампанского сразу?

— Как остроумно! — воскликнул Биксиу.

— Они пьяны, как ломовые извозчики, — сказал молодой человек, обильно поливая живот вином.

— Да-с, сударь, умение управлять государством заключается в наше время в том, чтоб искусно предоставить общественному мнению возможность господствовать.

— Мнение? Да это самая распутная на всех потаскушек. Послушать вас, господа моралисты и политики, так придется предпочесть ваши законы природе и мнение — совести. Полноте, все правдиво и все ложно. Если общество дало нам пуховые подушки, то оно же возместило это благодеяние подагрой, подобно тому, как оно завело судебную процедуру для укрощения правосудия и простуду как последствие кашемировых шалей.

— Чудовище, — сказал Эмиль, прерывая мизантропа, — как ты смеешь чернить цивилизацию в присутствии вин, восхитительных блюд и будучи сыт по горло. Кусай эту косулю с золочеными ногами и рогами, но не кусай своей матери.

— Да разве моя вина, если католицизм дошел до того, что набил мучной мешок миллионом богов, если республика всегда упирается в какого-нибудь Наполеона, королевская власть постоянно находится между убийством Генриха IV и приговором над Людовиком XVI, а либерализм превращается в Лафайета?

— А вы обнимались с ним в июле?

— Нет.

— В таком случае молчите, скептик.

— Скептики самые совестливые люди.

— У них нет совести.

— Что вы говорите! — У них, по меньшей мере, две.

— Учесть небо, как вексель! Вот поистине коммерческая идея. Древние религии были просто счастливым развитием физического удовольствия: но мы развили душу и упование; в этом прогресс...

— Ах, добрые друзья мои, чего можно ждать от века, насыщенного политикой? — сказал Натан.— Какая судьба постигла «Историю чешского короля и его семи замков», этот дивный замысел?

— О! — крикнул критикан с другого конца стола, — да это набор фраз, вынутых наудачу из шляпы; произведение, написанное прямо для сумасшедшего дома.

— Дурак!

— Глупец!

— Ого!

— Ага!

— Они будут драться.

— Какой там!

— До завтра, милостивый государь.

— Нет, сейчас, — отвечал Натан.

— Полно! полно! вы оба люди храбрые.

— А вы-то не очень, — сказал зачинщик.

— Они даже не могут стоять на ногах.

— Что! Это я-то не держусь на ногах? — сказал воинственный Натан, еле поднимаясь, как бумажный змей.

Он окинул весь стол отупелым взглядом, затем, как бы истощенный таким усилием, упал на стул, опустил голову и онемел.

— Не забавно-ли, — сказал критикан своему соседу, — драться из-за сочинения, которого я никогда не видал и не читал?

— Эмиль, береги фрак: твой сосед побледнел, — сказал Биксиу.

— Кант, сударь. Вот еще шар, пущенный для забавы глупцов. Материализм и спиритуализм — две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях перебрасывают один и тот же волан. Бог ли во всем, как говорит Спиноза, или же всё исходит от бога, как говорит святой Павел... Глупцы! Что отворить дверь, что затворить — не то же ли это движение? Яйцо ли происходит от курицы или курица от яйца?.. Позвольте мне утки... Вот и вся наука.

— Простофиля! — крикнул ему ученый. — Вопрос, который ты предлагаешь, разрешается одним фактом.

— Каким?

— Не профессорские кафедры были сделаны для философии, но философия для кафедр. Надень очки и прочти бюджет.

— Воры!

— Глупцы!

— Мошенники!

— Дурачье!

— Где вы, кроме Парижа, встретите такой живой, такой быстрый обмен мыслей? — вскричал Биксиу, переходя на баритон.

— Ну, Биксиу, представь нам какой-нибудь классический фарс. Шарж. Просим!

— Хотите, я вам представлю девятнадцатый век.

— Слушайте!

— Смирно!

— Заткните глотки!

— Да замолчишь ли ты, китаец?

— Налейте вина этому ребеночку! Пусть замолчит.

— Начинай, Биксиу.

Художник застегнул черный фрак до шеи, надел желтые перчатки и скосил глаз, изображая «Revue des Deux Mondes» [1], но шум заглушил его голос: не было возможности расслышать ни слова из его шутки. И если ему не удалось представить наш век, то все же он представил журнал, потому что не понимал самого себя.

Десерт появился точно по волшебству. На стол поставили огромное плато из золоченой бронзы, вышедшее из мастерских Томира[2]. Высокие фигуры, которым

---

[1] *Художник... скосил глаз, изображая «Revue des Deux Mondes»*. Редактор журнала «Ревю де Дё Монд» Бюлоз кривил одним глазом, и художник, конечно, изображает его.

[2] Ювелирный магазин *Томира* существовал в 1830 г. на улице Бланш в Париже.

знаменитый художник придал формы, признаваемые в Европе идеалом красоты, поддерживали и несли целые кустарники клубники, ананасы, свежие финики, желтый виноград, золотистые персики, апельсины, доставленные на пакетботе из Сетубаля, гранаты, китайские плоды — словом, всякие диковины роскоши, чудеса печений, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Цвета этой гастрономической картины еще ярче выступали от блеска фарфора, от сверкающих золотых линий, от изломов ваз. Прелестный, как волнистая бахрома океана, зеленый и легкий мох венчал Пусеновские пейзажи, скопированные на Севрском заводе. Не хватало бы владений немецкого князька, чтоб заплатить за такую нахальную роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь снова явились в новых формах; но отяжелелые глаза и болтливая лихорадка хмеля едва дозволили гостям составить туманное представление об этом волшебстве, достойном восточной сказки. Десертные вина внесли с собой благоухание и пламя, могучее приворотное зелье, чарующие пары, которые порождают некоторого рода умственный мираж, крепко связывают путами и отягощают руки. Пирамиды плодов были разграблены, голоса стали громче, шум сильнее. Нельзя было разобрать слов; стаканы разлетались вдребезги, страшный хохот взрывался, как ракеты. Кюрси схватил рог и начал трубить сбор. То был словно сигнал, поданный сатаной. Обезумевшие гости заревели, засвистали, запели, заголосили, завыли, зарычали. Вы бы улыбнулись, увидев людей, по природе веселых, которые стали мрачны, как развязки Кребильона[1], или задумчивы, как моряк в карете. Скрытные люди разглашали свои тайны людям любопытным, которые их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы по окончания пируэта. Клод Виньон раскачивался, как медведь в клетке. Закадычные друзья вызывали друг друга на дуэль. Звериное сходство, начертанное на человеческих лицах и с такой занимательностью обнаруженное физиологами, неясно выступало также в жестах и положениях тел. Тут была целая готовая книга для какого-нибудь Биша[2], если бы он присутствовал между ними трезвый и натощак. Хозяин чувствовал, что пьян, не смел подняться, но одобрял сумасбродство своих гостей неподвижной гримасой, стараясь сохранить выражение приличия и гостеприимства. Его широкое лицо покраснело и посинело, стало почти фиолетовым; на него было страшно взглянуть: голова, участвуя в общем движении, раскачивалась, как бриг при боковой и килевой качке.

— Вы их убили? — спросил его Эмиль.

— Конфискация и смертная казнь отменены после Июльской революции,— отвечал Тайефер, приподняв брови с видом, выражавшим одновременно и хитрость, и глупость.

— Но вы их видите порою во сне, — заметил Рафаэль.

— Давность уже истекла, — отвечал начиненный золотом убийца.

---

[1] Кребильон. Имеется в виду Проспер Кребильон (1674—1762), автор трагедий, насыщенных ужасами.

[2] Биша Франсуа (1771—1802) — французский ученый, физиолог и анатом.

— И на его гробнице, — сардоническим тоном вскричал Эмиль, — содержатель кладбища вырежет: *Прохожие, уроните слезу в его память!* О, — продолжал он, — я охотно заплатил бы сто су математику, который доказал бы мне, при помощи алгебраического уравнения, существование ада.

И он подбросил монету, воскликнув:

— Если орел, то есть бог!

— Не глядите, — сказал Рафаэль, подхватывая монету, — почем знать? Случай любит подшутить.



— Ах, — продолжал Эмиль с шутовски опечаленным лицом, — я не знаю, где ступить ногой между геометрией неверующего и папским Pater noster [1]. Впрочем, чокнемся. «Пейте», так, кажется, гласит оракул божественной Бутыли, которым кончается Пантагрюэль.

— Не будь Pater noster'a,— возразил Рафаэль,— не было бы у нас ни искусств, ни памятников, ни, быть может, даже наук; и не было бы еще более важного благодеяния — наших современных правительств, в которых обширное и плодовитое общество так давно представлено пятьюстами умов и в которых противоположные друг другу силы уравновешиваются, уступая всю власть цивилизации, исполинской королеве, замещающей короля,— этот страшный и древний образ, род лжесудьбы, поставленной человеком между собой и небом. Перед лицом такого множества завершенных произведений атеизм кажется бесплодным скелетом. Что ты на это скажешь?

[1] Отче наш.

— Я думаю о потоках крови, пролитых католицизмом, — холодно отвечал Эмиль. — Он использовал наши жилы и сердца, чтоб устроить пародию потопа. Наплевать! Всякий мыслящий человек должен идти под хоругвью Христа. Он один обеспечил победу духа над материей, он один поэтически раскрыл перед нами посредствующий мир, отделяющий нас от бога.

— Ты веруешь? — возразил Рафаэль, глядя на него с неописуемой, пьяной улыбкой. — Хорошо же, чтобы не компрометировать себя, провозгласим славный тост: Diis ignotis! [1].

И они опорожнили чаши науки, угольной кислоты, благовония, поэзии и безверия.

— Пожалуйте в гостиную, — провозгласил дворецкий, — кофе подан.

В этот момент почти все гости уже возлежали на лоне сладостного преддверия к раю, когда свет ума гаснет и тело, освобожденное от своего тирана, предается бредовым радостям свободы. Одни, достигнув вершины опьянения, были угрюмы и всячески силились ухватить мысль, которая подтвердила бы им их собственное существование; другие, погруженные в маразм, производимый отягченным пищеварением, отреклись от движения. Неутомимые ораторы произносили еще туманные слова, смысл коих ускользал от них самих. Раздавались какие-то припевы, похожие на шум механического прибора, который принужден влачить до конца свою деланную и бездушную жизнь. Тишина и шум смешивались самым странным образом. Тем не менее, услышав звонкий голос дворецкого, который вместо выбывшего из строя хозяина возвещал им новые радости, гости поднялись, влача, поддерживая и неся друг друга. На пороге они на мгновение остановились, недвижимые и очарованные. Все чрезмерные наслаждения пира побледнели перед соблазнительным зрелищем, которое предлагал амфитрион самому сластолюбивому из их чувств.

Под сверкающими свечами золотой люстры, вокруг стола, заставленного позолоченным серебром, опешившим гостям, у которых глаза искрились, как бриллианты, вдруг представилась группа женщин. Великолепны были уборы, но еще великолепнее была ослепительная красота, перед которой стушевывались все чудеса этого дворца. Страстные глаза этих женщин, обаятельных, как феи, были ярче потоков света, заставлявшего блестеть атласные переливы обоев, белизну мрамора, нежные выпуклости бронз и изящные складки портьер. Сердце горело при виде контрастов их волнующихся головных уборов и их поз, различных по характеру и привлекательности. То была изгородь цветов, перемешанная с рубинами, сапфирами и кораллами, цепь черных ожерелий на белоснежных шеях, легких шарфов, колеблющихся, как пламя маяка, горделивых тюрбанов, туник, возбуждающих своей скромностью.

Этот сераль был обольстителен для всех глаз, сулил сладострастие всем прихотливым мечтам. Стоя в восхитительной позе, танцовщица казалась нагой под волнистыми складками кашемира. Там полупрозрачный газ, здесь переливча-

[1] неведомым богам.

тый шелк скрывали или обнажали таинственные совершенства. Узенькие ножки говорили о любви; свежие и алые уста молчали. Хрупкие и благонравные девицы, поддельные весталки, с дивными волосами, от которых веяло священной невинностью, явились взорам, как призраки, готовые исчезнуть от дуновения. Далее, аристократические красавицы с гордым взглядом, но небрежными повадками, слабые, худощавые, грациозные склонили голову, словно у них были в запасе королевские милости, которые они могли пустить в продажу. Англичанка, белый и непорочный воздушный образ, сошедший с облаков Оссиана, походила на ангела печали, на совесть, бегущую преступления. Парижанка, вся красота которой в неописуемой прелести, тоже находилась среди этого опасного сборища; гордая своим туалетом и умом, вооруженная всемогуществом слабости, гибкая и упругая, сирена без сердца и страсти, но умеющая искусственно создавать сокровища страсти и подделываться под язык сердца. Вокруг нее блистали итальянки, спокойные с виду и слушающиеся в минуты наслаждения; нормандки с великолепными формами, южанки с черными волосами и красивым разрезом глаз. Вы сказали бы, что это красавицы Версаля, созванные Лёбелем [1], которые уже с утра, приготовив все свои капканы, явились сюда, как толпа восточных рабынь, разбуженных голосом купца, чтобы тронуться в путь с зарею. Трепетные и стыдливые, они теснились вокруг стола, как пчелы, жужжащие внутри улья. Это боязливое смущение, сочетавшее упрек и кокетство, было либо сознательным соблазном, либо невольной стыдливостью. Быть может, чувство, которого женщина никогда не обнажает вполне, внушило им закутаться в плащ добродетели, чтобы придать больше прелести и пикантности распоясавшемуся пророку. Таким образом, заговор, устроенный старым Тайефером, казалось, не удался. Эти разнузданные мужчины сразу были покорены величественной властью, которой облечена женщина. Шёпот восторга пронесся, как сладостная музыка. Любовь не сопутствовала опьянению; вместо бури страстей, гости, застигнутые в минуту слабости, отдались очарованию сладострастного экстаза. Послушные, как всегда, голосу поэзии, художники с наслаждением изучали нежные оттенки, отличавшие этих избранных красавиц. Возбужденный мыслью, которую, быть может, породила выделяемая шампанским угольная кислота, философ вздрогнул, подумав, какие несчастия привели сюда этих женщин, некогда, быть может, достойных самого чистого поклонения. Каждая из них, без сомнения, могла бы поведать какую-нибудь кровавую драму. Почти каждая принесла в душе адские мучения и влачила за собой неверных мужчин, неосуществленные обещания, радости, купленные тяжелой нуждой. Гости вежливо подошли к ним, и завязались разговоры, столь же различные, как характеры. Образовались группы. Вы сказали бы, что это салон хорошего общества, где молодые девушки и дамы предлагают после обеда гостям кофе, ликеры и сахар, чтоб услужить обжорам, обремененным трудом строптивого пищеварения. Но вскоре раздался смех, разговор усилился,

[1] Лёбель — личный лакей Людовика XV.

голоса зазвучали громче. Оргия, укрощенная на мгновение, грозила возобновиться. Эти чередования тишины и шума имели отдаленное сходство с Бетховенской симфонией.

Когда оба друга уселись на мягком диване, к ним сперва подошла высокая, хорошо сложенная девушка, с великолепной осанкой и чертами лица довольно неправильными, но пронизывающими, порывистыми и поражающими душу контрастами. Ее черные, похотливо вьющиеся волосы, казалось, уже выдержали любовную схватку и легкими прядями спадали на широкие плечи, открывавшие привлекательные для взоров перспективы. Длинные каштановые локоны наполовину скрывали ее величественную шею, по который от времени до времени скользил свет, выделяя изящество красивых очертаний. Бледно-матовая кожа подчеркивала теплые и живые тона яркого румянца. Глаза горели смелым огнем, бросая искры любви из-под длинных ресниц. Рот, алый, влажный, полураскрытый, просил поцелуя. У нее была широкая, но сладострастно-упругая талия; грудь и руки роскошно развиты, как у красавиц Караччо; тем не менее, она казалась гибкой и ловкой; ее сила заставляла предполагать подвижность пантеры, а мужественное изящество ее форм обещало пожирающие любовные наслаждения. Хотя эта девушка, вероятно, умела смеяться и дурачиться, но ее взгляды и улыбки запугивали мысль. Подобная пророчицам, завороженным демоном, она скорее поражала, чем нравилась. Самые различные выражения, словно молнии, скопом пробегали по ее подвижному лицу. Быть может, она восхитила бы людей пресыщенных, но молодого человека могла испугать. То была колоссальная статуя, упавшая с вершины греческого храма, издали великолепная, но вблизи казавшаяся грубой. Тем не менее, ее разительная красота должна была возбуждать бессильных, ее голос чаровать глухих, ее взгляд оживлять побелевшие кости; и Эмиль в своем туманном воображении сравнивал ее с трагедией Шекспира, с удивительным арабеском, где пылает страсть, где веселье воет, где в любви есть что-то дикое, где магия грации и счастья сменяет кровавый мятеж гнева; с чудовищем, которое умеет ластиться и кусать, хохотать, как демон, плакать, как ангелы, вдохновенно соединить в одном объятии все соблазны женщины, кроме вздохов печали и волшебной скромности девственницы, затем, спустя мгновение, зарычать, растерзать свое чрево, разбить страсть и любовника и, наконец, уничтожить, как возмутившийся народ, самое себя. Одетая в красное бархатное платье, она беззаботно топтала ногой цветы, уже упавшие с головы ее подруг, и надменно протягивала обоим друзьям серебряный поднос. Гордясь своей красотой, гордясь, быть может, своим пороком, она обнажила белую руку, четко выделявшуюся на фоне бархата. Она была как бы царицей наслаждения, образом человеческого веселья, того веселья, что расточает сокровища, скопленные тремя поколениями, смеется над трупами, вышучивает предков, распыляет жемчуг и престолы, превращает юношей в стариков в зачастую стариков в юношей; того веселья, которое позволительно только исполинам, усталым от власти, истомленным мыслью и почитающим войну игрушкой.

— Как тебя зовут? — спросил Рафаэль.

— Акилина.

— О, о! Да ты из «Спасенной Венеции» [1]? — вскричал Эмиль.

— Да, — отвечала она. — Как папы, возвышаясь над всеми мужчинами, принимают новое имя, так и я взяла новое, возвысившись над всеми женщинами.

— Что же, у тебя, как у твоей тезки, есть благородный и гордый заговорщик, который любит тебя и сумеет за тебя умереть? — с живостью опросил Эмиль, пробужденный этим призраком поэзии.

— Был, — отвечала она — Но моей соперницей явилась гильотина. Потому-то у меня в уборе всегда есть какая-нибудь красная тряпка, чтобы моя веселость не заходила чересчур далеко.

— О, если вы только позволите ей рассказать историю четырех молодых людей из Ла-Рошели [2], то она никогда не кончит. Замолчи-ка лучше, Акилина. Разве не у всякой женщины есть оплакиваемый любовник; но не всякой выпадало такое счастье, как тебе, потерять его на эшафоте. О, пусть уж лучше мой спит на Кламарском кладбище, чем в постели соперницы.

Эти слова были произнесены нежным и мелодическим голосом и исходили от самого невинного, самого прелестного и самого милого созданьица, какое когда-либо вылуплялось из волшебного яйца. Она подошла бесшумными шагами и обнаружила нежное личико, тонкую талию, голубые глаза, восхищавшие своей скромностью, чело свежее и гладкое. Невинная наяда, вышедшая из ручейка, не была бы более робка, более бела и более наивна; казалось, будто ей всего шестнадцать лет, будто она не знает ни зла, ни любви, не изведала житейских бурь и только что пришла из церкви, где молила ангелов, чтобы ее раньше срока отозвали на небо. Только в Париже встречаются такие создания с целомудренным личиком, скрывающие самую глубокую распущенность, самые утонченные пороки под челом, таким ласковым, таким нежным, как цветы маргаритки. Обманутые поначалу небесными надеждами, возбуждаемыми сладостными чарами этой девушки, Эмиль и Рафаэль взяли кофе, который она налила им в чашки, поднесенные Акилиной, и начали ее расспрашивать. При помощи мрачной аллегории перевоплотила она перед глазами обоих поэтов какой-то лик человеческой жизни, противопоставив безжалостному и страстному выражению своей внушительной подруги образ холодной испорченности, сладострастно-жестокой, достаточно ветреной, чтобы совершить преступление, достаточно сильной, чтобы посмеяться над ним,— род некоего демона без сердца, терзающего одаренные и нежные души волнениями, которых сам не знает, запасшегося раз навсегда продажной любовной гримасой, слезами, чтобы поплакать на похоронах своей жертвы, и весельем, чтобы вечером прочесть ее завещание. Поэт восхитился бы прекрасной Акилиной: весь мир должен был бежать от трогательной Евфрасии; одна была душой порока, другая пороком без души.

---

[1] *«Спасенная Венеция»* — трагедия английского драматурга Томаса Отвей (1651 — 1685), ее героиня носит имя «Акилина».

[2] *Молодые люди из Ла-Рошели* — четыре сержанта: Бори, Годен, Рау и Помье, участники революционного заговора, казненные в сентябре 1822 г.

— Желал бы я знать, — сказал Эмиль этому хорошенькому созданию, — думаешь ли ты когда-нибудь о будущем?

— О будущем? — смеясь отвечала она. — Что вы называете будущим? Зачем я стану думать о том, чего еще нет? Я не заглядываю вперед и не оглядываюсь назад. Мне хватит и дум об одном дне. Впрочем, мы знаем свое будущее: это — богадельня.

— Как же ты, предвидя богадельню, не стараешься ее избежать? — вскричал Рафаэль.

— А что же такого страшного в богадельне? — спросила роковая Акилина.— Мы не матери, не жены, и когда старость обует нам ноги в черные чулки и нарисует на лбу морщины, когда от ее дыхания завянет в нас все женственное и высохнет радость в глазах наших друзей, то что нам будет нужно? Тогда вы будете видеть в нас, во всем нашем существе, только первоначальный ком грязи, шествующий на двух лапах, холодный, сухой, разложившийся и шелестящий на ходу, как увядшие листья. Самые красивые наши наряды покажутся вам тогда отрепьями, амбра, наполняющая будуар благоуханием, примет запах трупа и будет отдавать скелетом; когда же в этом комке попадется сердце, то вы все его оскорбляете, вы не дозволяете нам даже сохранить ни одного воспоминания. Разве наша жизнь будет не одинакова, возьмемся ли мы о ту пору ухаживать за собачонками в богатом доме или разбирать тряпье в богадельне? Какая разница в том, спрячем ли мы свои седые волосы под платком с красными и синими клетками или под кружевами, будем ли веником мести улицы или шелковым хвостом ступени Тюильри, сидеть у раззолоченных каминов, присутствовать при казнях на Гревской площади или ездить в Оперу?

— Aquilina mia [1], ты никогда в минуты отчаяния не бывала так права, — отвечала Евфрасия. — Да, кашемировые шали, алансонские кружева, духи, золото, шелк, роскошь, всё, что блестит, всё, что нравится, к лицу только молодости. Только время может восторжествовать над нашим безумством, но удача нас оправдывает. Вы смеетесь над тем, что я говорю, — сказала она с ядовитой улыбкой двум друзьям, — но разве я не права? По-моему, лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. У меня нет ни пристрастья к вечности, ни особого уважения к роду человеческому, поскольку я вижу, что из него сделал бог. Дайте мне миллионы, я их проем; я и сантима не отложу на будущий год. Жить для того, чтобы нравиться и властвовать, таков приговор, который выносит каждое биение моего сердца. И общество одобряет меня; разве оно не споспешествует непрестанно моим развлечениям? Почему господь бог посылает мне всякое утро доход, который я трачу вечером? Почему вы строите для нас богадельни? Мы стоим между добром и злом не затем, чтобы избирать то, что нас мучает или нам докучает, а потому с моей стороны было бы глупо не веселиться.

— А другие? — спросил Эмиль.

---

[1] моя Акилина.

— Другие? Пусть их устраиваются, как знают. По-моему, лучше смеяться над их страданиями, чем плакать над своими. Нет такого мужчины, который в состоянии причинить мне хотя бы малейшее страдание.

— Что же ты выстрадала, чтобы рассуждать таким образом? — спросил Рафаэль.

— Меня бросили ради наследства! Да, меня, — сказала она, принимая позу, выставлявшую напоказ все ее чары. — А между тем, я работала и дни, и ночи, чтобы прокормить любовника. Больше меня не надуют ни улыбкой, ни обещанием, и вся моя жизнь будет длинным рядом удовольствий.

— Но разве наше счастье зависит не от души? — вскричал Рафаэль.

— А разве,— возразила Акилина,— ничего не значит, когда тобой восхищаются, когда тебе льстят, когда ты торжествуешь над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, убивая их своей красотой, своим богатством? К тому же, мы в день проживаем больше, чем иная достойная мещанка в десять лет, и этим все сказано.

— Разве женщина без добродетели не отвратительна? — сказал Эмиль Рафаэлю.

Евфрасия посмотрела на них взглядом гадюки и отвечала с неподражаемым оттенком иронии:

— Добродетель! Мы ее предоставляем дурнушкам и горбуньям. Чем они были бы без нее, бедняжки!

— Перестань, — вскричал Эмиль, — не говори о том, чего не знаешь.

— Что! Я-то не знаю? — возразила Евфрасия. — Всю жизнь отдаваться ненавистному человеку, суметь воспитать детей, которые тебя бросят, и говорить им «спасибо», когда они тебя поражают в самое сердце, — вот добродетели, которых вы требуете от женщины. И вдобавок, в награду за самоотречение, вы ей навязываете страдания, стараясь ее обольстить; если она устоит, вы ее скомпрометируете. Чудная жизнь! Нет, лучше быть вольной, любить того, кто нравится, и умереть молодой.

— И ты не боишься, что когда-нибудь придется поплатиться за это?

— Что же,— отвечала она,— вместо того чтобы мешать радость с горем, я разделяю жизнь на две части: на молодость, несомненно, веселую, и на какую-то неведомую старость, когда я настрадаюсь вдоволь.

— Она не любила, — сказала Акилина низким голосом. — Она никогда не делала ста миль, чтобы испытать тысячу восторгов, встретив взгляд и получив отказ; она никогда не вешала своей жизни на волосок, не пыталась заколоть несколько человек, чтобы спасти своего владыку, своего господина, своего бога. Для нее любовь — красивый полковник.

— Ха, ха! Ла-Рошель! — отвечала Евфрасия, — любовь, что ветер, мы не знаем, откуда она приходит. К тому же, если тебя сильно любил зверь, тебе опротивеют умные люди.

— Уложение запрещает любить зверей,— иронически отвечала рослая Акилина.

— Я думала, ты снисходительнее относишься к военным, — со смехом вскричала Евфрасия.

— Счастливицы, они могут отречься от разума! — вскричал Рафаэль.

— Счастливицы! — сказала Акилина с улыбкой жалости и ужаса, окинув обоих друзей страшным взглядом. — Ах, вы не знаете, что значит с похоронами в сердце быть приговоренной к веселью...

Наблюдать в это мгновение за тем, что творилось в гостиной, значило заглянуть в Пандемоний Мильтона. Голубоватое пламя пунша освещало адским блеском лица тех, кто еще был в состоянии пить. Безумные танцы, полные дикой энергии, возбуждали хохот и крики, которые раздавались, как грохот фейерверка. Усеянные мертвыми и умирающими будуар и маленькая гостиная походили на поле сражения. Атмосфера накалилась от вина, веселья и слов. Хмель, любовь, безумство, забвение мира завладели сердцами, отражались на лицах, были начертаны на коврах, проявлялись в беспорядке и набрасывали на все взоры легкую пелену, сквозь которую мерещились в воздухе опьяняющие пары. Вихрилась блестящая пыль, как это бывает в светлых полосках от солнечных лучей, позволяя улавливать самые причудливые формы, самые гротескные схватки. То там, то здесь группы сплетенных тел сливались с белым мрамором, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими апартаменты. Хотя у обоих друзей еще сохранилась некоторого рода обманчивая неясность мыслей и чувств, последнее трепетание, неполное подобие жизни, но для них невозможно было уже различить, что именно было реального в странных фантазиях, что фактического в сверхъестественных картинах, непрестанно возникавших перед их утомленными очами. Душный балдахин мечтаний, жгучая сладость, сжимающая образы наших видений, особенно же какая-то отягощенная цепями подвижность и, наконец, самые необычайные явления сна охватили их с такой живостью, что они приняли забавы этого разгула за капризы кошмара, где движение бесшумно, где крики теряются для уха. В эту минуту доверенному камердинеру не без труда удалось вызвать хозяина в прихожую и шепнуть ему на ухо:

— Сударь, все соседи высунулись из окон и жалуются на шум.

— Если они боятся шума, то пусть постелют перед дверями солому! — воскликнул Тайефер.

Рафаэль вдруг расхохотался так шутовски и несвоевременно, что друг спросил его, откуда такая дикая радость.

— Тебе трудно будет понять меня,— отвечал он.— Прежде всего, я должен сознаться, что вы подхватили меня на Вольтеровской набережной, когда я собирался броситься в Сену, и ты захочешь, без сомнения, узнать причину, побудившую меня к самоубийству. Не знаю, поймешь ли ты меня лучше, если я добавлю, что по случайности, почти сказочной, перед моими глазами сконцентрировались благодаря символическому истолкованию человеческой мудрости самые поэтические развалины материального мира, между тем как теперь обломки всех умственных сокровищ, которые мы подвергли за столом такому бешеному разграблению, сосредоточиваются в этих двух женщинах, живых и оригинальных образах безумия; при этом наша глубокая беззаботность относительно людей

и дел послужила переходом для сильно колоритных картин двух систем существования, столь диаметрально противоположных. Не будь ты пьян, ты бы увидел в этом, может быть, философский трактат.

— Если бы ты не положил обеих ног на восхитительную Акилину, храпенье которой имеет какое-то сходство с ревом готовой разразиться бури, ты покраснел бы и за свой хмель, и за свою болтовню,— возразил Эмиль, наматывая и разматывая волосы Евфрасии и не особенно вдумываясь в это невинное занятие.— Твои две системы могут уместиться в одной фразе и сводятся к одной мысли. Простая и механическая жизнь приводит к некоей тупой мудрости, заглушая наше понимание работой, между тем как жизнь, проведенная в пустом



пространстве отвлеченностей или в пропастях нравственного мира, ведет к некоторого рода безумной мудрости. Словом, убить чувства, чтобы дожить до старости, или умереть молодым, приняв мученичество страстей,— вот наша судьба. Причем этот приговор находится в борьбе с тем темпераментом, которым нас наделил суровый шутник, изготовляющий шаблоны для всех созданий.

— Глупец! — прерывая его, воскликнул Рафаэль. — Продолжай резюмировать свои мысли таким же образом, и ты наполнишь целые тома. Имей я притязание на то, чтобы четко формулировать эти две идеи, я сказал бы тебе, что человек развращается, упражняя свой разум, и обретает чистоту при помощи невежества. Это значит тягаться с обществом. Но будем ли мы жить с ревнителями мудрости или погибнем с глупцами, разве результат рано или поздно не окажется один и тот же? Потому-то великий извлекатель квинтэссенции некогда выразил эти системы двумя слезами: *каримари, каримара.*

— Ты заставляешь меня сомневаться во всемогуществе бога, потому что твоя глупость превосходит его могущество, — возразил Эмиль. — Наш милый Рабле выразил ту же философию одним словом, которое короче *каримари, каримара,* именно словом «может быть», откуда Монтень взял свое «почем я знаю?» Но разве это последнее слово нравственной науки не то же, что восклицание Пиррона, остановившегося между добром и злом, как Буриданов осел между двумя мерами овса? Но оставим этот вечный спор, который теперь сводится к «да»и «нет». Какой опыт думал ты произвести, бросаясь в Сену? Или ты позавидовал гидравлической машине на мосту Нотр-Дам?

— Ах! если бы ты знал мою жизнь...

— Ах! — передразнил его Эмиль, — я не думал, что ты так банален. Какая затасканная фраза! Все мы притязаем на то, что страдаем сильнее других. Разве это тебе не известно?

— Ах! — вздохнул Рафаэль.

— Ты просто глуп со своими «ах». Ну говори же: душевная или телесная болезнь, что ли, заставляет тебя по утрам притягивать напряжением мускулов тех лошадей, которые вечером четвертуют тебя, как это было некогда с Дамьеном[1]? Или тебе пришлось съесть на чердаке свою собаку, сырую, без соли? Или дети твои кричали: «Есть хочется!» Или ты продал волосы любовницы, чтобы идти в игорный дом? Или ты боялся опоздать, отправившись к фальшивому домицилиату платить по фальшивому векселю, выданному на фальшивого дядюшку? Говори же, я слушаю. Если ты хотел утопиться из-за женщины, опротестованного векселя или тоски, то я от тебя отрекаюсь. Исповедуйся, не лги; я не требую от тебя исторических мемуаров. В особенности будь краток, насколько тебе дозволит хмель: я требователен, как читатель, Я готов заснуть, как женщина за требником.

— Несчастный глупец! — сказал Рафаэль. — С каких это пор страдания не находятся в соответствии с чувствительностью? Когда наука дойдет до того, что мы будем в состоянии написать естественную историю сердец, составить перечень названий, распределить их по родам, видам и семействам, разделить их на ракообразных, ископаемых, ящеров, микроорганизмы и... уже не знаю на какие еще подразделения, тогда, добрый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие, как цветы, и что они, подобно цветам, ломаются от легкого прикосновения, которого даже не чувствуют сердца, созданные из минералов.

— О, ради бога, избавь меня от предисловия, — сказал полусмеясь, полусочувственно Эмиль, взяв Рафаэля за руку.

---

[1] Дамьен Робер-Франсуа был четвертован в 1757 г. за покушение на Людовика XV. По рассказам современников, он отличался такой силой, что долгое время сдерживал коней, которые должны были разорвать его на части, и казнь осуществилась лишь тогда, когда палачи перерезали ему мускулы на руках и ногах.

ЖЕНЩИНА БЕЗ СЕРДЦА

Помолчав с минуту, Рафаэль с беззаботным жестом сказал:

— Я, право, не знаю, не следует ли приписать парам вина и пунша ту ясность мышления, которая дозволяет мне в настоящее мгновение обнять всю мою жизнь как бы в одной картине, где верно переданы фигуры, цвета, тени, свет и полутени. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась некоторого рода презрением к моим былым страданиям и радостям. Если поглядеть издали, то моя жизнь словно сдавлена каким-то моральным фактором. Долгое и медлительное страдание, длившееся десять лет, теперь может быть передано несколькими фразами, в которых это страдание явится простой мыслью, а радость философским рассуждением. Я не чувствую, но обсуждаю.

— Ты скучен, как поправка к закону, которой не видно конца! — вскричал Эмиль.

— Возможно, — безропотно сказал Рафаэль. — А потому, чтобы не злоупотреблять твоим слухом, я пропущу первые семнадцать лет своей жизни. До тех пор я жил, как ты, как тысячи других, жизнью коллежа или лицея, мнимые несчастья и реальные радости которой составляют теперь отраду наших воспоминаний. В ту пору нам по пятницам давали такие овощи, что наша пресыщенная гастрономия будет тосковать по ним, пока нам снова не удастся их отведать. Дивная жизнь, труды которой мы презирали, хотя они-то и научили нас труду...

— Приступи же к драме, — сказал Эмиль, полунасмешливым, полужалобным тоном.

— Когда я покинул школу, — продолжал Рафаэль, попросив жестом, чтоб его не прерывали, — мой отец подчинил меня строгой дисциплине и поселил в комнате подле своего кабинета. Я ложился спать в девять часов вечера и вставал в пять утра; он требовал, чтобы я добросовестно занимался юридическими науками; мне приходилось и слушать лекции, и работать у стряпчего; но законы времени и пространства столь строго применялись к моим прогулкам и работам; и отец за обедом требовал с меня такого подробного отчета...

— Какое мне до этого дело? — прервал его Эмиль.

— Ах, черт тебя подери! — ответил Рафаэль.— Как же ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о незаметных фактах, которые влияли на мою душу, приучали ее к страху и надолго сохранили во мне примитивную непорочность юности? Так до двадцати одного года сгибался я под гнетом деспотизма, столь же холодного, как монастырский устав. Чтоб объяснить тебе мою печальную жизнь, быть может, будет достаточно описать моего отца: то был высокий, худой и тощий человек, с профилем, похожим на лезвие ножа, с бледным цветом лица, отрывистой речью, придирчивый, как старая дева, мелочный, как столоначальник. Отцовская власть тяготела над моими шаловливыми и веселыми мыслями, держа их как бы под свинцовым куполом. Когда мне хотелось обнаружить нежное и мягкое чувство, он обращался со мной, как

с ребенком, который собирается сказать глупость. Я боялся его больше, чем некогда мы трусили классных наставников. Для него мне всё еще было восемь лет. Мне кажется, что я вижу его перед собой: в каштановом сюртуке, держась прямо, как пасхальная свеча, он походил на селедку, завернутую в красноватую обложку какого-нибудь памфлета. И всё-таки я любил отца; в сущности, он был справедлив. Быть может, мы перестаем ненавидеть суровость, когда она оправдывается сильным характером, чистотой нравов и искусно перемешана с добротой. Если отец не выпускал меня из виду, если до двадцати лет он не предоставлял в мое распоряжение и десяти франков, десяти беспутных и распутных франков,— огромная сумма, обладание которой, столь желанное и тщетное, было связано в моих мечтах с несказанными наслаждениями,— то он, по крайней мере, доставлял мне кой-какие развлечения. Обещая мне месяцами какое-нибудь удовольствие, он водил меня в Опера-Буфф, на концерт, на бал, где я надеялся встретить любовницу. Любовница! Для меня это значило — независимость. Но застенчивый и робкий, не умея говорить по-салонному и никого не зная, я постоянно возвращался домой с сердцем, по-прежнему несведущим и обуреваемым желаниями. На следующий день, взнузданный отцом, как кавалерийская лошадь, я вновь отправлялся к стряпчему, на лекции, в суд. Если бы я пожелал уклониться от однообразного пути, начертанного отцом, я подверг бы себя его гневу, он грозил мне, что при первом же проступке отправит меня в качестве юнги на Антильские острова. Поэтому меня пробирала страшная дрожь, когда случайно я осмеливался на час или на два отдаться какому-нибудь развлечению. Представь себе воображение, самое бродячее, сердце, самое влюбчивое, душу, самую нежную, ум, самый поэтический, в постояннном общении с самым кремнистым, самым желчным, самым холодным человеком на свете; словом, выдай молодую девушку за скелета, и ты поймешь мою жизнь, полную курьезных сцен, описание которых ты отказываешься выслушать: проекты бегства, исчезавшие при виде отца, отчаяние, находившее успокоение во сне, подавленные желания, мрачная меланхолия, которую рассеивала музыка. Я изливал свое горе в мелодиях. Бетховен и Моцарт часто были моими скромными наперсниками. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, тревоживших мою совесть в ту эпоху невинности и добродетели: мне казалось, что, ступи я ногой в ресторан, я разорюсь; воображение рисовало мне кофейню как место распутства, где люди лишаются чести и запутывают свои денежные дела, а чтоб пуститься в игру и рискнуть деньгами, надо было иметь их.

О! хоть и усыплю тебя, а расскажу про одну из самых ужасных радостей в моей жизни, одну из тех радостей, вооруженных когтями, которая въедается в наше сердце, как клеймо в плечо каторжника. Я был на балу с отцом у его двоюродного брата, герцога де Наварен. Но, чтобы ты мог вполне понять мое положение, надо сказать, что на мне был потертый фрак, топорные башмаки, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забрался в уголок, чтобы спокойно есть мороженое и глазеть на хорошеньких женщин.

Отец заметил меня. По причине, которой я никогда не мог разгадать,— до того его доверие ошеломило меня,— он дал мне подержать свои ключи и деньги. В десяти шагах от меня шла игра. Я слышал, как звенело золото. Мне было двадцать лет, и я мечтал, как бы посвятить целый день грешкам, свойственным моему возрасту. То было некоторого рода умственное распутство, подобия которому не сыскать ни в прихотях куртизанки, ни в снах молоденьких девушек. Уже с год, как я видел себя хорошо одетым, в карете, подле меня сидит красавица, я корчу из себя вельможу, обедаю у Вери, вечером отправляюсь в театр с решимостью не возвращаться домой раньше следующего утра, причем у меня для отца приготовлен рассказ о приключении, запутаннее, чем «Свадьба Фигаро», и которого ему никогда не распутать. По моему расчету, все это стоило бы пятьдесят экю. Я был еще весь под обаянием школьных проказ. Итак, прошел я в будуар, где один, с загоревшимися глазами, пересчитал дрожащими пальцами отцовские деньги: сто экю. Подзадоренный этой суммой, я увидел перед собой все прелести своей мечты; они вертелись, как ведьмы Макбета вокруг котла, но манящие, животрепещущие, восхитительные. Я стал отъявленным негодяем. Несмотря на звон в ушах, на судорожное биение сердца, я взял две монеты в двадцать франков, которые, как сейчас, еще вижу перед собой. Год на них был стерт и лицо Бонапарта корчило рожу. Положив кошелек в карман и держа обе золотые монеты в потной ладони, я подошел к игорному столу и стал кружиться вокруг игроков, как кобчик вокруг курятника. Уверенный, что меня не увидит никто из знакомых, я присоединил свои деньги к понту толстого весельчака и над его головой произнес столько молитв и обетов, сколько не произносится на море и в течение трех штормов. Затем, по какому-то побуждению хитрости или макиавеллизма, удивительного в мои лета, я остановился у дверей и, ничего не различая, стал глядеть в другие гостиные. Моя душа и мои взоры носились вокруг фатального зеленого поля. В этот вечер я сделал первое физиологическое наблюдение, которому обязан известного рода проницательностью, дозволившею мне угадать некоторые тайны нашей двойственной натуры. Я повернулся спиной к столу, где решалась судьба моего будущего счастья, счастья особенно глубокого, быть может, потому, что оно было преступно; между обоими игроками и мною стояла стена людей, состоявшая из четырех или пяти рядов собеседников; жужжание их голосов мешало мне различить звон золота, который смешивался со звуками оркестра; невзирая на все эти препятствия, благодаря преимуществу, которым одарены страсти и которое дает им возможность преодолевать пространство и время, я отчетливо слышал слова обоих игроков, замечая, сколько у каждого очков знал, кто из них вскрывал короля, как если бы сам видел карты; словом, в десяти шагах от игры, я бледнел от ее прихотей. В это время внезапно прошел отец, и я понял тогда слова писания: «Дух божий прошел перед лицом его». Я выиграл. Сквозь толпу, напиравшую на игроков, я бросился к столу и пробрался к нему с ловкостью угря, ускользающего из сети через прорванную петлю. Мое напряжение из томительного стало радостным. Я был похож на осужденного, который, по дороге к месту казни,

встречает короля. Случайно какой-то господин с орденом потребовал сорок франков, которых недоставало. Беспокойные взоры подозрительно обратились ко мне; я побледнел и капли пота выступили у меня на лбу. Мне подумалось, что я наказан за преступную кражу у отца. Но милый толстячок сказал поистине ангельским голосом: «Все эти господа ставили»,— и заплатил сорок франков. Я поднял голову и победоносно оглядел игроков. Положив в отцовский кошелек взятое оттуда золото, я поручил свой выигрыш этому достойному и честному господину, который продолжал выигрывать. Когда я очутился владельцем ста шестидесяти франков, я завернул их в платок так, чтобы они не могли шелохнуться и зазвенеть на обратном пути домой, и уже больше не играл.

— Что вы делали у игорного стола? — спросил отец, садясь в фиакр.

— Смотрел, — дрожа отвечал я.

— Не было бы, однако, ничего удивительного, — продолжал отец, — если бы самолюбие принудило вас что-нибудь поставить на зеленое поле. В глазах светских людей вы уже в таких летах, что имеете право делать глупости. А потому, Рафаэль, я извинил бы вас, если бы вы воспользовались моим кошельком...

Я ничего не отвечал. Когда мы воротились, я подал отцу ключи и деньги. Войдя в комнату, он высыпал золото на камин, перечел его и, довольно благосклонно обратясь ко мне, сказал, отделяя фразу от фразы более или менее долгой и знаменательной паузой:

— Сын мой, вам скоро двадцать лет. Я вами доволен. Вам надо назначить карманные деньги, хотя бы ради того, чтобы научить вас делать сбережения и понимать житейские обстоятельства. С нынешнего дня я буду вам давать по сто франков в месяц. Вы можете распоряжаться этими деньгами по своему произволу. Вот вам за первую четверть текущего года,— добавил он, перебирая столбец золота, словно хотел проверить счет.

Сознаюсь, я готов был броситься к его ногам, признаться, что я разбойник, негодяй и... хуже этого, что я лжец. Стыд удержал меня. Я подошел, чтобы обнять его; он слабо отстранил меня.

— Теперь ты мужчина, *дитя мое,* — сказал он.— Я поступил просто и справедливо, и тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на вашу благодарность, Рафаэль,— продолжал он тоном, полным достоинства,— то за то, что предохранил вашу юность от несчастий, которые губят всех молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год вы станете доктором прав. Вы, не без некоторых неудовольствий и лишений, приобрели солидные знания и любовь к труду, столь необходимые для людей, которым приходится вести дела. Узнайте же меня поближе, Рафаэль. Я хочу, чтоб из вас вышел не адвокат и не нотариус, а государственный муж, который прославил бы наш бедный род. До завтра,— прибавил он, отпуская меня с таинственным жестом.

С этого дня отец откровенно посвятил меня в свои планы, Я был единственным сыном; мать моя умерла десять лет назад. Некогда, не считая для себя лестным пахать землю со шпагой на боку, отец мой, глава исторического рода, почти забытого в Оверни, явился в Париж, чтобы искусить судьбу. Обладая той хитро-

стью, которая, в соединении с энергией, так помогает выдвинуться уроженцам южной Франции, он без особой поддержки занял хорошее положение в самом средоточии власти. Революция вскоре подорвала его благосостояние; но он сумел жениться на богатой наследнице, и во времена империи ему удалось вернуть нашему роду прежний блеск. Реставрация возвратила значительное имущество моей матери, но разорила отца. Он некогда скупил много находившихся за границей земель, подаренных императором своим генералам, и уже десять лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с прусскими и баварскими судами, чтобы сохранить за собою эти злосчастные владения, права на которые оспаривались. Отец ввел меня в безысходный лабиринт этого крупного процесса, от исхода которого зависела наша будущность. Нас могли приговорить к возврату полученных отцом доходов, а равно к уплате за порубки, сделанные с 1814 по 1816 год, и тогда состояния моей матери едва хватило бы для спасения чести нашего имени. Таким образом, когда отец в некотором смысле даровал мне свободу, я подпал под самое отвратительное иго. Мне приходилось сражаться, как на поле битвы, работать ночь и день, посещать государственных людей, стараться обмануть их совесть, заинтересовать их в нашем деле, соблазнять их самих, их жен, их слуг, собак и прикрывать это ужасное занятие изящными формами, приятными шутками. Я понял всё горе, отпечаток которого омрачил лицо моего отца. Около года я вел по наружности жизнь светского человека, но за этим беспечным существованием и за моими стараньями завязать связи с родственниками, находившимися в милости, или с людьми, которые могли быть нам полезны, скрывались громадные труды. Мои развлечения были, в сущности, замаскированными тяжбами, а разговоры — челобитными. До тех пор я был добродетелен, потому что не имел возможности предаваться страстям, присущим молодым людям; но с этого времени, боясь какой-нибудь неосторожностью разорить отца или самого себя, я стал своим собственным деспотом и не смел себе позволить ни удовольствия, ни издержек. Пока мы молоды, пока соприкосновение с людьми и событиями не отняло еще у нас нежный цветок чувства, свежесть мысли и благородную чистоту совести, не допускающей нас до сделок со злом, — мы живо чувствуем свои обязанности; честь говорит в нас громко и заставляет себя слушать; мы откровенны и не знаем уловок; таков и я был тогда. Мне хотелось оправдать доверие отца. Прежде я с удовольствием утащил бы у него какую-нибудь жалкую сумму, но, неся вместе с ним бремя его дел, его чести и рода, я отдал бы ему тайно всё свое состояние, все свои надежды, подобно тому, как я ради него жертвовал удовольствиями и даже был счастлив своей жертвой.

Таким образом, когда господин де Вийель [1] откопал, в пику нам, императорский декрет об утрате прав и тем разорил нас, то я подписал акт о продаже своих имений и сохранил за собой только не имеющий ценности остров на Луаре, где была могила моей матери. Теперь, быть может, доказательства, уловки, философские, филантропические и политические рассуждения и удержали бы меня

[1] Де Вийель — председатель совета министров с 1821 по 1823 г.

от того, что мой поверенный назвал *глупостью.* Но в двадцать лет, повторяю, мы — воплощенное великодушие, горячность, любовь. Слезы, которые я увидел на глазах своего отца, в то время заменили для меня все богатства, и воспоминание об этих слезах часто утешало меня в бедности. Спустя десять месяцев после расплаты с кредиторами отец мой умер с горя. Он меня обожал — и разорил; эта мысль убила его.

В 1826 году, двадцати двух лет от роду, в конце осени, я шел один за гробом лучшего своего друга, за гробом отца. Лишь немногим молодым людям выпадает на долю сопровождать похоронные дроги в полном одиночестве со своими думами, затерявшись в Париже, без будущности, без состояния. У сирот, подобранных общественной благотворительностью, по крайней мере есть будущность в виде поля сражения, есть отец в лице правительства или королевского прокурора, есть приют в качестве убежища. У меня же не было ничего. Спустя три месяца присяжный оценщик передал мне тысячу сто двенадцать франков, чистый и свободный от взыскания остаток отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу движимость. Привыкнув с юности придавать большую цену предметам роскоши, меня окружавшим, я не мог воздержаться, чтобы не выразить некоторого рода удивления при виде такого тощего остатка.

— О, — сказал мне оценщик, — все это уж слишком *отдавало стариной.*

Страшное слово, омрачившее все, что я привык уважать с детства, и отнявшее у меня первые, самые дорогие из всех иллюзии. Мое имущество состояло из описи проданных вещей, моя будущность покоилась в полотняном мешке, заключавшем в себе тысячу сто двенадцать франков, и общество являлось мне в лице присяжного оценщика, который говорил со мной, не снимая шляпы. Очень любивший меня камердинер Ионафан, которому моя матушка некогда подарила четыреста франков пожизненного дохода, сказал мне, уходя из дома, откуда я так часто в дни детства весело уезжал в карете: «Будьте как можно бережливее, господин Рафаэль». И добряк заплакал.

Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сжали в своих тисках мою судьбу, преобразовали мою душу и поставили меня, еще незрелого юношу, в самое ложное из всех общественных положений,— сказал Рафаэль, немного помолчав.— Родство, впрочем отдаленное, связывало меня с некоторыми богатыми семействами, куда доступ возбранила бы мне собственная гордость, если бы презрение и равнодушие уже раньше не закрыли передо мной дверей этих домов. Родственник весьма влиятельных лиц, расточавших чужим свое покровительство, я не знал ни родственников, ни покровителей. Встречая постоянно препятствия для своих излияний, душа моя как бы ушла в себя: откровенный и чуждый притворства, я был вынужден казаться холодным и скрытным; отцовский деспотизм убил во мне уверенность в самом себе; я был робок и неловок, не верил, чтоб мой голос мог оказать на кого-либо хотя бы малейшее воздействие, не нравился самому себе, находил себя безобразным, стыдился своего взгляда. Вопреки внутреннему голосу, который поддерживает в борьбе талантливых людей и твердит им: «смелей, вперед!», вопреки внезапному осознанию



своей силы в уединении, вопреки надежде, которую возбуждало во мне сравнение новых восхищавших публику сочинений с теми, что роились в моей голове, я не доверял себе, как дитя. Мной владело чрезмерное честолюбие, я думал, что предназначен для великих дел, а чувствовал, что живу в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях, но друзей у меня не было. Мне хотелось пробить себе дорогу в свете, а я оставался одиноким, скорее от стыда, чем от страха. В течение года, когда отец толкнул меня в вихрь большого света, я жил в нем с нетронутым сердцем, со свежей душой. Как все взрослые дети, я втайне вздыхал о прекрасной любви. Среди молодых людей моих лет я встретил целую секту фанфаронов; они ходили с высоко поднятой головой, болтали пустяки, без трепета усаживаясь подле женщин, казавшихся мне особенно недоступными, нагличали, грызли головки своих палок, жеманились, приписывали себе успех у первейших красавиц, ночевали или притворялись, что ночуют во всех альковах, делали вид, будто отказываются от наслаждения, считали самых добродетельных, самых скромных женщин легкой добычей, которую можно взять с одного слова, при помощи сколько-нибудь смелого жеста или первого нахального взгляда. Говорю тебе от всей души и по чистой совести, что достигнуть власти или громкой литературной известности мне казалось более легкой победой, чем иметь успех у женщины высшего общества, молодой, остроумной и милой. Волнения моего сердца, мои чувства, мои верования находились в противоречии с правилами света. Я был смел, но только в душе, а не в обхождении. Впоследствии я узнал, что женщины не любят тех, кто выпрашивает у них благосклонность. Я встречал многих, которых обожал издали, которым готов был предложить душу на растерзание, безукоризненное сердце и энергию, не боящуюся ни жертв, ни пыток: они отдавались глупцам, которых я не взял бы к себе в швейцары. Сколько раз на балу, безмолвный, неподвижный, я приходил в восторг, встретив женщину, о которой мечтал! Посвящая тогда мысленно свое существование вечным ласкам, я сосредоточивал все свои надежды в едином взгляде и в экстазе предлагал ей любовь юноши, бегущего навстречу обманам. Бывали мгновения, когда я отдал бы жизнь за одну ночь. И что ж, не находя ушей, готовых выслушать мои страстные речи, очей, готовых глядеть в мои очи, сердца для своего сердца, я жил в мучениях бессильной энергии, пожиравшей самое себя по отсутствию смелости или случая или по неопытности. Быть может, я отчаялся, что меня поймут, или боялся, что буду слишком понят. И все же я встретил бы целой бурей всякий любезный взгляд, которым бы меня наградили. Невзирая на свою готовность принять этот взгляд или слова, по видимости сердечные, за посулы любви, я никогда не умел ни кстати заговорить, ни кстати замолчать. От наплыва чувств мои речи были незначительны и мое молчание становилось глупым. Без сомнения, я был чересчур наивен для того деланного общества, которое живет при искусственном освещении и выражает все свои мысли с помощью условных фраз или слов, предписанных модою. Притом, я не умел говорить молча, и молчать, говоря. Наконец, хотя я хранил в себе сжигавшее меня пламя, хотя у меня была душа, какую женщины мечтают встретить, хотя я был во власти той

экзальтации, которой они жаждут, и обладал той энергией, которой хвалятся глупцы,— все женщины были предательски жестоки ко мне. А потому я наивно удивлялся героям котерии, когда они славили свои победы, не подозревая, что они лгут. Без сомнения, я был неправ, желая любви на честное слово, думая, что сердце пустой и легкомысленной женщины, стремящейся к роскоши и опьяненной тщеславием, может глубоко и сильно почувствовать ту беспредельную страсть, тот океан, который бурлил в моем сердце. О, чувствовать, что ты создан для любви, для того, чтоб осчастливить женщину,— и не найти никого, даже какой-нибудь смелой и благородной Марселины [1] или какой-нибудь старой маркизы! Носить в сумке сокровища — и не иметь возможности даже встретить девочки, какой-нибудь любопытной крошки, которая полюбовалась бы ими! В отчаянии я часто думал лишить себя жизни.

— Ты сегодня чертовски трагичен! — вскричал Эмиль.

— Ах, не мешай мне осуждать свою жизнь! — отвечал Рафаэль. — Если твоя дружба и не в силах выслушивать моих элегий, если ты не можешь уделить мне полчаса скуки, так лучше спи. Но в таком случае не требуй от меня отчета о моем самоубийстве, которое клокочет, дыбится, призывает меня, и которое я приветствую. Чтоб судить о человеке, надо, по крайней мере, проникнуть в тайну его мыслей, несчастий, волнений; узнавать же только внешние происшествия его жизни, значит заниматься хронологией, историей глупцов!

Горький тон, коим были произнесены эти слова, так живо поразил Эмиля, что с этого мгновения он стал самым внимательным образом слушать Рафаэля, глядя на него отупелым взглядом.

— Однако теперь, — продолжал рассказчик, — луч, окрашивающий эти происшествия, придает им новый вид. Те обстоятельства, на которые я некогда смотрел как на несчастье, быть может, породили прекрасные способности, ставшие впоследствии предметом моей гордости. Философская любознательность, чрезмерные труды, любовь к чтению, которые с семилетнего возраста до моего вступления в свет постоянно наполняли мою жизнь, — не им ли обязан я, если вам верить, — той легкости, с какой умею передавать свои идеи и продвигаться вперед по обширному поприщу человеческих знаний! Заброшенность, на которую я был осужден, привычка обуздывать свои чувства и жить сердцем, не они ли даровали мне способность сравнивать и размышлять! Разве моя чувствительность, уцелевшая среди светских волнений, от которых мельчают и становятся тряпками самые прекрасные души, не сосредоточилась и не стала усовершенствованным органом воли, более благородной, чем веления страсти? Помню, что, не признанный женщинами, я наблюдал их с прозорливостью отверженной любви. Теперь я вижу, что им не должна была нравиться откровенность моего характера. Быть может, женщинам даже хочется некоторого лицемерия? Я в один и тот же час бываю поочередно мужчиной и ребенком, пустельгой и мыслителем, человеком без предрассудков и суевером, а зачастую такой же жен-

[1] Марселина — мать Фигаро в комедии Бомарше.

щиной, как они; не могли ли они поэтому принять мою наивность за цинизм и даже целомудрие моей мысли за разврат? Моя ученость была им скучна, женственная томность казалась слабостью. Чрезмерная живость моего воображения, — это проклятие поэтов, — вероятно, побуждала их смотреть на меня как на существо, неспособное любить, неустойчивое в своих убеждениях, лишенное энергии. Я казался идиотом, когда молчал, и, быть может, пугал их, когда пытался понравиться. И женщины осудили меня. Я со слезами и печалью принял приговор света. Это огорчение принесло свой плод. Мне хотелось отомстить обществу, хотелось овладеть душой всех женщин, подчинив себе умы, и видеть, как все взгляды обращаются на меня, когда лакей докладывает о моем приходе в дверях салона. С детства, ударяя себя по лбу, я говорил, как Андре Шенье: «Тут кое-что есть!» Мне казалось, что я призван высказать идею, установить систему, обосновать науку. О, милый мой Эмиль, теперь, когда мне двадцать шесть лет, когда я уверен, что умру в безвестности, не став любовником женщины, о которой мечтал, позволь мне рассказать тебе о своих безумствах! Разве все мы в большей или меньшей мере не принимали своих желаний за действительность? О, я не хотел бы быть другом молодого человека, который в своих мечтаниях не свивал бы для себя венков, не строил какого-нибудь пьедестала и не обзаводился приветливыми любовницами. А я? Я часто бывал генералом, императором, бывал лордом Байроном, а потом ничем. Поразвлекшись мысленно на вершине человеческих деяний, я замечал, что остается еще подняться на все горы, преодолеть все трудности. Но меня спасли громадное самолюбие, клокотавшее во мне, и возвышенная вера в будущее, способная, быть может, сделать человека гениальным, если только он не допустит, чтоб его душа ободралась при житейских столкновениях, как овца, оставляющая шерсть на шипах кустарников, мимо которых проходит. Я хотел покрыть себя славой и работать в тишине ради любовницы, которая, как я надеялся, у меня будет. Все женщины заключались для меня в одной, и эту женщину я надеялся встретить в первой попавшейся мне на глаза; но, видя в каждой из них королеву, я считал, что всем им, как королевам, подобало высказать благосклонность возлюбленному, а потому они, до некоторой степени, пойдут навстречу и мне, болезненному, бедному и робкому. Ах, для той, которая пожалела бы меня, у меня помимо любви нашлось бы в сердце столько благодарности, что я боготворил бы ее всю жизнь! Позже наблюдение научило меня суровым истинам. Таким образом, милый мой Эмиль, я рисковал вечно прожить в одиночестве. Не знаю, в силу какого уклона мысли, но женщинам свойственно видеть в талантливых людях только их недостатки, а в глупцах только их достоинства; они питают большую симпатию к достоинствам глупца, потому что эти достоинства вечно льстят их собственным недостаткам, между тем как даровитый человек не даст им столько наслаждений, чтоб возместить свои несовершенства. Талант — это перемежающаяся лихорадка, и ни одна женщина не пожелает нести только ее тяготы; все хотят найти в своих любовниках средство для удовлетворения тщеславия, и в нас они любят опять-таки самих себя. Разве бедный, гордый мужчина, художник, одаренный творческой

способностью, не обладает оскорбительным эгоизмом? Вокруг него образуется какой-то вихрь мыслей, в который он увлекает всё, даже свою любовницу, принужденную следовать за движением. Может ли женщина, окруженная лестью, верить любви такого человека? Станет ли она добиваться его? У такого любовника нет досуга для сентиментальной возни около кушетки, которую так любят женщины и которая составляет славу лживых и бесчувственных людей. Ему времени не хватает на работу; как же он станет тратить его на то, чтоб умалять себя, на то, чтоб рядиться хлыщом? Я был готов отдать всю жизнь сразу, но не желал опошлять ее по частям. Наконец, в приемах маклера, исполняющего поручения бледной и жеманной женщины, есть нечто низменное, чего страшится художник. Отвлеченной любви мало для бедного и великого человека, он требует от нее всяческого самопожертвования. Ничтожные создания, проводящие всю жизнь в примеривании кашемировых шалей, или превратившиеся в шлейфоносцев моды, не умеют жертвовать собой; такие женщины требуют жертв и видят в любви сладость не послушания, но власти. Истинная жена по сердцу, по плоти и кости идет туда, куда влечет ее тот, в ком зиждется ее жизнь, ее слава, ее счастье. Выдающимся людям нужны восточные женщины, все мысли которых направлены на то, чтоб угадать потребности мужа: для них несчастье заключается в несоответствии средств с желаниями. А я, почитавший себя гением, любил именно этих щеголих. Лелея идеи, столь противоположные общепринятым мнениям, претендуя на то, чтобы попасть на небо без помощи лестницы, владея сокровищами, не имевшими хождения на рынке, вооруженный знаниями, обременявшими мою память, неклассифицированными, неосвоенными, один, без родственников, без друзей, один посреди самой ужасной пустыни, пустыни замощенной, пустыни одушевленной, живой, мыслящей, где всякий для вас хуже врага, где он к вам равнодушен, я принял решение, вполне естественное, хотя и безумное. В нем было нечто невозможное, и это-то придавало мне бодрости. Я точно играл против самого себя; я был сам и игроком, и ставкой. Вот мой план.

Тысячи ста двенадцати франков должно было мне хватить на три года; в течение этого времени я намеревался написать сочинение, которое привлекло бы ко мне внимание публики, создало бы мне состояние или имя. Я радовался, что мне, как фиваидскому отшельнику, придется жить на хлебе и молоке, что я буду погружен в мир книг и идей, окажусь в недостижимой сфере посреди шумного Парижа, в сфере труда и тишины, где, как куколка бабочки, я строил для себя могилу, чтобы возродиться из нее блестящим и славным. Чтобы жить, я подвергался риску умереть. Ограничив существование насущными потребностями, только самым необходимым, я нашел, что трехсот шестидесяти пяти франков в год вполне достаточно для моей бедности. В самом деле, этой тощей суммы оказалось довольно, пока я мирился с установленной мною для себя монастырской дисциплиной.

— Невозможно! — вскричал Эмиль.

— Я жил так около трех лет,— с некоторой гордостью отвечал Рафаэль.— Сочти сам,— продолжал он.— На три су хлеба, на два молока и на три колбасы

не давали мне умереть с голоду и поддерживали мой дух в состоянии особой ясности. Ты знаешь, я наблюдал чудесное действие, производимое диетой на воображение. Квартира стоила мне три су в день, я сжигал по вечерам масла на три су, сам убирал комнату, носил фланелевые рубашки, чтобы не тратить более двух су в день на стирку, топил каменным углем, стоимость которого, если ее разделить на число дней в году, не превышала двух су в сутки; у меня было на три года платья, белья и обуви; я облачался, только когда шел на публичные лекции или в библиотеки. Все эти расходы в общей сложности не превышали восемнадцати су, и у меня оставалось еще два на непредвиденные расходы. Я не помню, чтобы за этот долгий период я хотя раз прошел по мосту Искусств или заплатил за воду; я сам ходил за ней к фонтану на площади Сен-Мишель, на углу улицы Гре. О, я гордо переносил бедность. Человек, предчувствующий прекрасную будущность, выступает в дни нужды, как невинный, идущий на казнь; он не испытывает стыда. С болезнями в будущем я не считался. Как Акилина, я без ужаса представлял себе богадельню. Я ни минуты не беспокоился о своем здоровье. Притом, бедняк вправе слечь в постель только тогда, когда пора умирать. Я стриг свои волосы до того момента, пока ангел любви и доброты... Но я не хочу забегать вперед. Знай только, о милый друг, что за неимением любовницы я сожительствовал с великой мыслью, с мечтой, с призраком, в который мы все поначалу более или менее верим. Теперь я смеюсь над собою, над тем моим «я», быть может святым и возвышенным, которого более не существует. Общество, свет, наши обычаи, наши нравы, наблюдаемые вблизи, указали мне на опасность моей невинной веры и на тщетность моих усердных работ. Такая запасливость бесполезна для честолюбца: пусть будет легка ноша того, кто гонится за счастьем. Ошибка даровитых людей в том, что они тратят молодые годы на то, чтоб сделать себя достойным успеха. Пока бедняки накапливают силу и знания, дабы без усилий носить бремя убегающей от них власти, интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, снуют взад и вперед, обманывают дураков и втираются в доверие к полудуракам; одни учатся, другие действуют; одни скромны, другие смелы; гений замалчивает свою гордость; интриган выставляет ее напоказ и неизбежно достигнет своей цели. Люди, стоящие у власти, испытывают такую потребность веровать в готовое достоинство, в бесстыдный талант, что со стороны истинного ученого было бы ребячеством надеяться на человеческое воздаяние. Я, разумеется, вовсе не имею желания парафразировать общие места добродетели, песнь песней, которую вечно поют непризнанные гении; я хочу логически доказать причину частых успехов посредственности. Ах, наука так матерински добра, что, может быть, было бы преступлением требовать от нее иных воздаяний, кроме чистых и сладостных радостей, которыми она питает своих детей! Помню, что мне порой случалось весело макать хлеб в молоко, сидя у окна, вдыхая свежий воздух и блуждая взором по перспективе крыш, бурых, сероватых, красных, шиферных, черепичных, покрытых желтым или зеленым мхом. Если вначале такой вид казался мне монотонным, то вскоре я открыл в нем особые красоты. То, вечером, светлые полосы, проникавшие сквозь неплотно запер-

тые ставни, оттеняли и оживляли черные пропасти этой оригинальной местности, то бледный свет фонарей бросал снизу, сквозь туман, желтоватые отблески и смутно выделял над улицами извилистые линии этих скученных крыш — океан неподвижных волн. Порой посреди этой угрюмой пустыни появлялись редкие фигуры; среди цветов какого-нибудь воздушного сада я замечал угловатый и клювастый профиль старухи, поливающей настурции, или же в отверстии сгнившего слухового окна — молодую девушку, которая одевалась, думая, что ее никто не видит, и я различал только красивый лоб и прядь длинных волос, поднятых вверх хорошенькой белой рукой. В водосточных трубах я любовался на эфемерные растения, бедные травинки, которые вскоре уносила буря. Я изучал мхи, их цвета,— оживленные дождем, освещенные солнцем, они превращались в коричневый и сухой бархат с причудливыми оттенками. Наконец, поэтические и зыбкие эффекты дня, печали тумана, внезапные отблески солнца, тишина и волшебство ночи, тайны зари, дым каждой трубы,— словом, все явления этой странной природы стали мне близки и развлекали меня. Я любил свое заключение; оно было добровольное. Эти парижские степи из крыш, подведенных, как равнина, под один уровень, но скрывавших населенные бездны, подходили к моей душе и гармонировали с моими мыслями. Неприятно вновь столкнуться с миром, внезапно спустившись с небесных высот, куда нас увлекают научные умозрения; таким образом, я тогда вполне постиг наготу монастырей.

Решив следовать новому плану жизни, я стал разыскивать себе обиталище в самых пустынных кварталах Парижа. Как-то вечером, возвращаясь домой с Эстрапады, проходил я по улице Канатчиков. На углу улицы Клюни попалась мне девочка лет четырнадцати; она играла с подругой в волан; их смех и проказы забавляли соседей. Погода была отличная, ветер теплый: стоял еще сентябрь. У каждой двери сидели и болтали женщины, как в провинции по праздникам. Я сначала смотрел на девочку, лицо которой было удивительно выразительно, а тело так и просилось на картину. Сцена была восхитительная. Я стал отыскивать причину такой патриархальности посреди Парижа и заметил, что улица кончается тупиком и что по ней мало ходят. Вспомнив, что Жан-Жак Руссо жил в этих местах, я разыскал гостиницу «Сен-Кантен» и запущенное состояние, в котором она находилась, подало мне надежду найти там недорогое помещение. А потому я решил туда зайти. Войдя в низкую комнату, я увидел классические медные подсвечники с сальными свечами, методически расставленные под каждым ключом, и был поражен чистотой, господствовавшей в зале, обычно довольно неопрятной в других гостиницах. Она походила на цветную жанровую картину: синяя кровать, утварь, мебель — всё имело кокетливый условный вид натюрморта. Хозяйка гостиницы, женщина лет под сорок, черты которой выражали горе, а глаза потускнели от слез, привстала и подошла ко мне. Я смиренно сказал ей, сколько могу платить. Она не удивилась и, выбрав один из ключей, повела меня на чердак, где показала комнату с видом на крыши и дворы соседних домов, из окон которых торчали шесты для сушки белья. Нет ничего ужаснее чердака с желтыми грязными стенами, от которых пахнет нуждой и которые



ждут своего ученого. Кровля над ним неровно осела, и между разъединенными черепицами было видно небо. В комнате имелось место для кровати, стола, нескольких стульев, а под острым углом крыши я мог поставить свое фортепиано. Средств на омеблировку этой клетки, достойной венецианских Пьомби[1], у бедной женщины не было, а потому она никогда не могла сдать ее внаем. Поскольку при продаже своей движимости мне удалось исключить несколько вещей, в некотором смысле личного характера, я скоро поладил с хозяйкой и на следующий же день перебрался к ней.

Три года прожил я в этом воздушном гробу, без устали работая день и ночь с таким удовольствием, что ученые занятия казались мне самой лучшей целью, самым удачным разрешением человеческой жизни. В спокойствии и тишине, столь необходимых для ученого, есть что-то сладостное и опьяняющее, как любовь. Умственная работа, идейные искания, спокойное научное созерцание в изобилии доставляют нам наслаждения, несказанные, неописуемые, как и все, что касается разума, явления которого не ощущаются нашими внешними чувствами. Оттого-то мы всегда принуждены объяснять тайны духа при помощи материальных сравнений. Удовольствие плавания по прозрачному озеру, посреди скал, лесов и цветов, в полном одиночестве, под лаской теплого ветерка, может дать несведущим некоторое слабое понятие о счастье, которое испытывала душа моя, купаясь в сиянии какого-то света, когда я слышал страшные и смутные голоса вдохновения, когда из неведомого источника образы струились в мой трепещущий мозг. Видеть идею, которая зарождается над полем человеческих абстракций, как утреннее солнце, и восходит, как оно,— более того! — которая растет, как дитя, достигает возмужалости и медленно совершенствуется,— есть радость, превышающая все земные радости, или, вернее, это божественное наслаждение. Занятия придают нечто магическое всему, что нас окружает. Жалкое бюро, на котором я писал, и покрывавший его коричневый сафьян, мое фортепиано, постель, кресло, странные узоры моих обоев, мебель — словом, все предметы моей обстановки оживлялись и становились для меня смиренными друзьями, молчаливыми сотрудниками моей будущности. Сколько раз, глядя на них, открывал я им свою душу! Часто, блуждая взором по отставшей штукатурке, я находил новые толкования, разительное подтверждение своей теории или слова, которые считал удачными для передачи почти невыразимых мыслей. От долгого рассматривания окружавших меня предметов, я у каждого открывал его физиономию, его характер; нередко они говорили со мной, когда заходящее солнце бросало поверх крыш в мое узкое окно слабый беглый свет, они расцвечивались, бледнели, блестели, веселели или опечаливались, всегда поражая меня новизной впечатления. Эти мелкие происшествия уединенной жизни, ускользающие от внимания света, служат утешением для заключенных. А разве я не был в плену у идеи, не был заключен в узилище системы, поддерживаемый,

[1] П ь о м б и — тюремные камеры под крышей венецианского Дворца дожей, обитые внутри свинцом (piombo по-итальянски — свинец), чтобы заключенные мучались от жары.

однако, перспективой славной жизни? При победе над каждым препятствием я целовал нежные руки женщины с прекрасными очами, изящной и богатой, которая должна была когда-нибудь гладить меня по волосам и приговаривать с умилением: «О, ты много страдал, мой бедный ангел!»

Я взялся за два больших произведения. За комедию, которая должна была доставить мне в несколько дней известность, состояние и доступ в тот свет, куда я хотел явиться с регалией гения. Все вы сочли этот шедевр за первое заблуждение юнца, только что разделавшегося со школой, за истинно детскую дребедень.

Ваши насмешки уничтожили плодотворные иллюзии, которые с тех пор уже не пробуждались. Ты один, милый Эмиль, смягчил бальзамом глубокую рану, которую другие нанесли моему сердцу. Ты один восхищался моей *Теорией воли,* этим объемистым произведением, ради которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому посвятил большую часть времени, — произведением, которое, если не ошибаюсь, дополнит труды Месмера, Лафатера, Галля, Биша и откроет новый путь для науки о человеке.

На этом заканчивается моя прекрасная жизнь, являвшаяся ежедневным жертвоприношением, работой неизвестного миру шелковичного червя, вся награда за которую заключалась, быть может, в самой работе. С тех пор как я достиг зрелого возраста, и до того дня, когда закончил свою *Теорию,* я наблюдал, изучал, писал и читал без отдыха, и жизнь моя была бесконечным уроком, заданным в наказание.

Изнеженный поклонник восточной лени, влюбленный в свои мечтания сластолюбец, я постоянно работал, не дозволяя себе вкусить радостей парижской жизни. Будучи лакомкой, я соблюдал умеренность; любя путешествовать и по суше и по морю, горя желанием посетить разные страны, все еще находя удовольствие в том, чтоб пускать рикошетом камень по воде, я сидел сиднем, с пером в руке; склонный к болтовне, я молча слушал профессоров публичных курсов при Библиотеке и Музеуме; я спал на грубом одиноком ложе, как монах ордена св. Бенедикта, а между тем женщина была единственной моей мечтой, мечтой, которую я ласкал и которая все убегала от меня. Словом, жизнь моя была жестокой антитезой, беспрерывной ложью. Вот и судите о людях. Порой мои природные склонности прорывались, как долго тлевший пожар. Под влиянием какого-то миража или тропической горячки я, вдовец всех женщин, о которых мечтал, лишенный всего и живущий на чердаке художника, видел себя окруженным восхитительными любовницами. Я летал по парижским улицам, развалясь на мягких подушках блестящего экипажа. Меня разъедали все пороки, я был погружен в распутство, желал всего, обладал всем; словом, я был пьян натощак, как св. Антоний во время своего искушения. По счастью, сон в конце концов разгонял эти ненасытные видения; поутру меня с улыбкой манила Наука, и я оставался ей верен. Я думаю, что так называемые добродетельные женщины часто подвергаются подобным же приступам безумства, желаний и страстей, которые поднимаются в нас помимо нашей воли. Такие мечтания не лишены прелести; не похожи ли сны на те вечерние беседы зимой, когда от своего очага

уносишься в далекий Китай! Но куда девается добродетель во время таких прелестных путешествий, когда мысль перешагнула через все препятствия?

Первые десять месяцев своего заключения я вел бедную и одинокую жизнь, которую уже тебе описал; рано утром незаметно я ходил покупать себе свою дневную провизию; убирал комнату; сам был и барином, и слугой; диогенствовал с невероятной гордостью. Но за это время хозяйка и ее дочка выследили мои нравы и привычки, пригляделись ко мне и поняли мою бедность, быть может, потому что сами были очень несчастны. Между ними и мною установились неизбежные сношения. Полина, это очаровательное создание, чья наивность и скрытые прелести некоторым образом заманили меня к ним в гостиницу, оказывала мне множество услуг, от которых никак нельзя было отказаться. Все невзгоды — сестры между собою: они говорят одним языком, обладают тем же великодушием, великодушием ничего не имеющих, щедры на чувства и расплачиваются своим временем и своей личностью. Незаметно Полина стала у меня хозяйкой; она пожелала мне услуживать, и ее мать тому нимало не противилась. Я видел, как сама мать чинила мне белье и краснела, когда я заставал ее за таким человеколюбивым занятием. Став невольно их протеже, я принимал их услуги. Чтобы понять такую странную привязанность, надо знать увлечение работой, тиранию идей и инстинктивное отвращение к мелочам материальной жизни, которое чувствует человек, живущий мыслью. Мог ли я отказаться от нежной внимательности, с какою Полина, беззвучно шагая, вносила мне скудный обед, когда замечала, что в течение семи или восьми часов я ничего не ел? То был Ариэль, скользивший, как сильф, под моей кровлей и предвидевший все, что мне нужно. Как-то вечером Полина с трогательной наивностью рассказала мне свою историю. Ее отец командовал эскадроном конных гренадеров в императорской гвардии. При переходе через Березину он был взят в плен казаками; позже, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири; по словам других пленников, он убежал, имея намерение пробраться в Индию. С тех пор г-жа Годен, моя хозяйка, не получала никаких вестей от мужа. Настали бедствия 1814 и 1815 годов; одна, без средств и без помощи, решилась она держать меблированные комнаты, чтобы было на что прокормить дочь. Она не теряла надежды увидеть мужа. Самым жестоким для нее горем было то, что Полина останется без образования; ее Полина, крестница княгини Боргезе, которой нельзя было не оправдать блестящей будущности, обещанной ей высокой покровительницей. Когда г-жа Годен сообщила мне об этом убивавшем ее горе, то прибавила раздирающим тоном: «Я охотно отдала бы клочок бумаги, который превратил Годена в барона Империи, и право, которое мы имеем на доходы с Вичнау, только бы знать, что Полина получит образование в Сен-Дени». Я вдруг вздрогнул; у меня явилась мысль отблагодарить обеих женщин за оказанные мне услуги, и я сказал им, что готов взять на себя образование Полины. Чистосердечие, с которыми они приняли мое предложение, равнялось подсказавшему его простодушию. У меня, таким образом, завелись часы отдыха. Девочка отличалась самыми счастливыми способностями; она училась

с такою охотою, что вскоре стала сильнее меня в игре на фортепиано. Привыкнув думать вслух подле меня, она обнаруживала все прелести сердца, которое открывается для жизни, подобно чашечке цветка, медленно распускающегося на солнце; она слушала меня сосредоточенно и с удовольствием, останавливая на мне свои черные бархатные глаза, которые, казалось, улыбались. Полина повторяла уроки нежным и ласковым голосом, выражая детскую радость, когда я оставался доволен ею. Ее мать с каждым днем все больше беспокоилась, стараясь предохранить от опасности молодую девушку, чары которой, уже в детстве многообещающие, расцветали с годами: а потому она с удовольствием видела, что дочь запирается по целым дням, чтоб учиться. Так как Полина не располагала другим фортепиано, кроме моего, она пользовалась моим отсутствием для своих упражнений. Возвращаясь, я заставал Полину в своей комнате; она бывала одета самым скромным образом, но при малейшем движении гибкость ее талии и ее прелести обнаруживались под грубой материей. Как у героини сказки об Ослиной коже, у нее были крошечные ножки, обутые в грубые башмаки. Но все эти дивные сокровища, все эти богатства молодой девушки, вся эта роскошь красоты для меня как бы не существовали. Я заставлял себя смотреть на Полину только как на сестру, ужасался мысли, что могу обмануть доверчивость ее матери и восхищался этой девушкой, как картиной, как портретом покойной любовницы. Наконец, она была моим детищем, моей статуей. Новый Пигмалион, я хотел превратить в мрамор девушку, живую и цветущую, чувствительную и говорящую. Я был с ней очень строг; но чем более я заставлял ее чувствовать учительский деспотизм, тем кротче и покорнее становилась она. Хотя моя сдержанность и целомудрие поощрялись благородными чувствами, тем не менее у меня не было недостатка и в прокурорских доводах. Я не допускаю честности в денежных делах без честности мысли. Обмануть женщину или объявить себя банкротом всегда было для меня равноценным поступком. Полюбить девушку или допустить, чтобы она вас полюбила, значит вступить в настоящий договор, условия которого должны быть ясно сформулированы. Мы вправе бросить женщину, которая продается, но не молодую девушку, которая отдается, потому что она не знает пределов своего самопожертвования. Итак, я мог бы жениться на Полине, но это было бы безумием. Разве это не значило подвергнуть нежную и девственную душу ужасающим несчастиям? Бедность говорила во мне языком эгоизма и постоянно протягивала свою железную руку между этим добрым созданием и мною. Притом, сознаюсь, к стыду своему, что я не понимаю любви в бедности. Быть может, во мне говорит испорченность, зависящая от той болезни рода человеческого, которую мы зовем цивилизацией; но женщина, даже чуть-чуть неопрятная, не имеет власти над моими чувствами, будь она хотя бы такой же привлекательной, как прекрасная Елена или Галатея Гомера. О нет! Да здравствует любовь, в шелку и кашемире, окруженная всеми чудесами роскоши, которые так дивно ее украшают, потому что она сама, быть может, тоже роскошь. Я люблю в пылу страсти комкать пышные наряды, мять цветы, проникать разрушительной рукой в изящное здание благоуханной при-

чески. Горящие взгляды под кружевной вуалью, пронизывающие ее, как пламя — пушечный дым, представляют для меня фантастическую прелесть. Моя любовь требует шелковых лестниц, по которым зимней ночью взбираются в тишине. Несказанное удовольствие входить, весь в снегу, в светлую благоуханную комнату, обитую шелковой материей, и встречать там женщину, которая также отряхивает снег; ибо как же иначе назвать эти сладострастные кисейные вуали, сквозь которые она обрисовывается неясно, как ангел в облаке, и которые ей предстоит сбросить. Притом, мне нужно робкое счастье, безопасность, не знающая страха. Наконец, я хочу вновь видеть эту таинственную женщину, но уже в полном блеске, уже в светской обстановке, добродетельной, окруженной почетом, всю в кружевах и бриллиантах; она предписывает законы всему городу, она занимает такой высокий ранг и внушает такое уважение, что никто не смеет высказать ей свое обожание. Посреди своих придворных, она украдкой бросает мне взгляд, взгляд, отрекающийся от этого притворства, взгляд, выражающий готовность принести мне в жертву и свет и людей.

Конечно, мне сто раз приходило в голову, что смешно же любить несколько локтей блонд, бархата, тонкого батиста, парикмахерские кунштюки, восковые свечи, карету, титул, геральдические короны, нарисованные на стекле или исполненные золотых дел мастером, — словом, все деланное и наименее женственное в женщине; я смеялся над самим собой, я увещевал себя, но тщетно. Женщина-аристократка и ее тонкая улыбка, изысканность ее манер и ее уважение к самой себе чаруют меня; когда она ставит преграду между собою и светом, то льстит всему, что есть во мне тщеславного, а это-то и составляет половину любви. Блаженство обладает для меня особой сладостью, когда все ему завидуют. Любовница кажется мне лучше, если она не делает ничего, что делают другие женщины, если она не ходит и не живет, как они, если она закутывается в такую накидку, какой они не могут себе позволить, если она дышит особым, ей только свойственным ароматом; чем больше она удалена от земли, даже в том, что есть в любви земного, тем она прелестнее в моих глазах. По счастью для меня, во Франции вот уже двадцать лет нет королевы, а то я влюбился бы в королеву!

Чтобы походить на принцессу, женщина должна быть богата. Что же значила для меня Полина при таких романтических фантазиях! Могла ли она продать мне ночи, стоящие жизни, дать любовь, которая и убивает, и приводит в движение все человеческие способности? Мы не умираем из-за бедных девушек, которые отдаются. Я никогда не мог уничтожить в себе ни этих чувств, ни этих мечтаний поэта. Я был рожден для неосуществимой любви, а судьбе угодно было преподнести мне не то, чего я желал. Как часто я мысленно обувал в атлас крошечные ножки Полины, облекал ее тонкую, как молодой тополь, талию в газовое платье, набрасывал на грудь ее легкий шарф, заставлял ее ходить по коврам в собственном доме и возил в красивой карете. В таком виде я обожал бы ее. Я одарял ее гордостью, которой у нее не было, лишал ее всех добродетелей, ее восхитительной естественности и невинной улыбки, чтоб погрузить в Стикс наших пороков, придать ей неуязвимое сердце, на-

чинить ее нашими грехами, превратить в причудливую куклу наших салонов, в хрупкую женщину, которая ложится спать поутру и оживает при заре восковых свечей. Полина была вся чувство и свежесть, а я хотел, чтобы она казалась сухой и холодной.

В последние дни моего безумства память воскрешала во мне образ Полины, как она рисует вам сцены вашего детства. Много раз я чувствовал, что растроган, вспоминая восхитительные мгновения: то я видел, как эта прелестная девушка сидит за шитьем у моего стола, тихая, молчаливая, сосредоточенная, озаренная слабым светом, который, падая в мое чердачное окно, налагал легкие серебристые оттенки на ее чудные черные волосы; то я слышал ее молодой смех или исполненные чудным голосом милые напевы, которые она с такой легкостью сочиняла. Часто, занимаясь музыкой, она вдохновлялась, и тогда ее лицо поразительно походило на благородную голову, которой Карло Дольни хотел олицетворить Италию. Посреди разных излишеств, образ этой девушки появлялся в моей неумолимой памяти, как упрек совести, как лик добродетели. Но предоставим бедное дитя его собственной судьбе! Как бы она ни была несчастна, но крайней мере я не увлекал ее в свой ад и спас от страшной бури.

До прошлой зимы я вел спокойную и трудолюбивую жизнь, о которой попытался дать тебе некоторое представление. В первых числах декабря 1829 года я встретил Растиньяка, который, невзирая на жалкое состояние моей одежды, взял меня под руку и стал расспрашивать о моих делах с истинно братским участием. Его обхождение было для меня приманкой: я вкратце рассказал ему про свою жизнь и надежды. Он расхохотался, назвав меня и гением, и дураком. Его гасконский голос, его знание света, его пышность, которую он поддерживал благодаря своей изворотливости, подействовали на меня непреодолимым образом. Растиньяк пророчил, что я умру в больнице, непризнанный, как глупец; сопровождал мой катафалк, сваливал меня в могилу для бедных. Он заговорил со мной о шарлатанстве. С тем милым одушевлением, которое придает ему такую привлекательность, он доказывал мне, что все гении — шарлатаны. Он объявил, что у меня окажется одним чувством меньше, что я умру, если буду продолжать жить в одиночестве, на улице Канатчиков. По его словам, я должен вращаться в свете, приучать людей произносить мою фамилию и освободить себя от приставки к ней презренного слова *monsieur,* которое при жизни не приличествует великому человеку.

— Дураки,— вскричал он,— зовут такое ремесло *интриганством;* моралисты осуждают его, именуя *рассеянной жизнью;* но не станем слушать людей, а посмотрим на результаты. Ты трудишься, не так ли? Ну, в таком случае ты никогда ничего не достигнешь. Я гожусь на все и ни на что не годен, я ленив, как омар. Так вот! — я всего добьюсь. Я являюсь в общество, я пролезаю в люди, и мне уступают место; я расхваливаю себя, и мне верят; я делаю долги, за меня платят. Рассеянная жизнь, мой милый, целая политическая система. Существование человека, занятого тем, чтобы проесть свое состояние, часто превращается в спе-

куляцию; он помещает свои капиталы в друзей, в удовольствия, в покровителей, в знакомства. Рискнет ли негоциант на миллион,— в течение двадцати лет он не спит, не пьет, не доставляет себе удовольствия: он высиживает свой миллион; заставляет его бегать по всей Европе; он скучает, посылает себя ко всем чертям, какие только придумал человек; потом, как мне случалось видеть, какая-нибудь ликвидация оставляет его часто без гроша денег, без имени, без друга. А расточитель наслаждается жизнью, пускает на скачках лошадей. Если случайно он потеряет свои капиталы, то у него есть шансы быть назначенным сборщиком податей, выгодно жениться, быть причисленным к министерству или посольству. У него еще остаются друзья, репутация и всегда найдутся деньги. Зная пружины света, он нажимает их ради своей пользы. Или такая система логична, или я просто глупец. Разве не такова мораль комедии, которая ежедневно разыгрывается в свете?

— Твое сочинение окончено, — продолжал он после молчания, — у тебя огромный талант. И что же, ты только достиг моей исходной точки. Теперь тебе надо самому устроить свой успех: так вернее. Ты отправишься заключать союзы с котериями, покорять тех, кто умеет расхваливать. А я, — мне хочется получить свою долю в твоей славе, — буду ювелиром, который вставит алмазы в твою корону... Для начала, — сказал он, — буду здесь завтра вечером. Я познакомлю тебя с одним домом, где бывает весь Париж, наш собственный Париж, Париж красавцев, миллионеров, знаменитостей — словом, людей, которые говорят золотом, как Златоуст. Если эти господа одобрят книгу, она становится модной; если она действительно хороша, то они, сами того не зная, выдали патент на гения. Если у тебя есть ум, милое дитя мое, ты сам устроишь судьбу своей *Теории,* поняв, как следует, теорию судьбы. Завтра ты увидишь прелестную графиню Федору, самую модную женщину.

— Я никогда о ней не слыхал.

— Ты, кафр, — сказал, смеясь, Растиньяк. — Не знать Федоры! Женщины, на которой можно жениться, у которой около восьмидесяти тысяч ливров дохода, которая никого не хочет или которую никто не хочет. Какая-то женщина-загадка; парижанка-полурусская, и русская-полупарижанка. Женщина, у которой издаются все романтические произведения, не появляющиеся в печати; самая красивая, самая прелестная женщина в Париже. Ты даже не кафр, ты промежуточное животное между кафром и зверем... Прощай, до завтра.

Он сделал пируэт и исчез, не дождавшись ответа; он не предполагал возможности, чтобы разумный человек мог отказаться от чести быть представленным Федоре.

Как объяснить обаяние имени? Федора преследовала меня, как дурная мысль, с которой пытаешься войти в сделку. Какой-то голос говорил мне: «Ты пойдешь к Федоре». Я мог сколько угодно бороться с этим голосом и кричать, что он лжет, — он уничтожал все мои доводы одним именем: Федора. Но разве это имя, эта женщина не были символом всех моих желаний и целью моей жизни? Имя воскрешало передо мной всю искусственную поэзию света, рисовало

мне блестящие праздники фешенебельного Парижа и мишуру суеты; женщина являлась мне со всеми загадками страсти, которою я бредил. Быть может, тут были не при чем и имя и женщина, а просто все мои пороки поднялись в моей душе, увлекая меня на новый соблазн. Разве графиня Федора, богатая, не имеющая любовника, противостоящая всем парижским искушениям, не была воплощением моих надежд и мечтаний? Я представлял себе женщину, я мысленно рисовал ее, я бредил ею. Ночью я не спал, я уже влюбился в нее, я вместил целую жизнь, жизнь любви, в несколько часов и вкушал ее обильные, ее жгучие прелести. На следующее утро я был не в состоянии вынести пытку долгого ожидания вечера, я взял из библиотеки роман и читал его целый день, лишив себя, таким образом, возможности думать и замечать время. Во время чтения имя Федоры звучало в моей душе, как далекий звук, который вас не тревожит, но заставляет себя слушать. По счастью, у меня были еще довольно приличный черный фрак и белый жилет; затем, из всего состояния у меня еще оставалось тридцать франков, которые я разложил среди белья, по ящикам, дабы между монетой в сто су и своими фантазиями воздвигнуть тернистое препятствие поисков и неожиданность кругосветных плаваний по комнате. Одеваясь, я разыскивал свои сокровища в океане бумаг. Скудность этого денежного запаса может дать тебе понятие о том, сколько унес из моих богатств расход на перчатки и на фиакр: он съел мою порцию хлеба за целый месяц. Увы! — на капризы у нас всегда найдутся деньги; мы скупимся только на полезные или необходимые вещи. Мы беззаботно бросаем деньги танцовщицам, и торгуемся с мастеровым, голодная семья которого ждет уплаты по счету. Сколько людей щеголяют в стофранковом фраке, с алмазом на набалдашнике палки, и обедают за двадцать пять су! Сколько бы мы ни уплатили за удовольствия нашего тщеславия, всегда кажется, что это недорого,

Растиньяк, верный своему слову, явился на свидание; он улыбнулся, увидев мою метаморфозу, и пошутил надо мной, а по дороге к графине человеколюбиво посоветовал мне, как вести себя с нею. По его словам, она была скупой, тщеславной и недоверчивой, но скупость сочеталась у нее с пышностью, тщеславие с простотой, недоверчивость с добродушием.

— Ты знаешь мои привязанности, — сказал он мне, — и знаешь, сколько я потерял бы, переменив предмет любви. Наблюдая Федору, я не был заинтересован лично, и моя хладнокровная оценка, вероятно, справедлива. Предлагая тебе познакомиться с нею, я думал о твоем счастье; а потому следи за тем, что будешь говорить ей; у нее неумолимая память и столько ловкости, что она может привести в отчаяние дипломата: она сумеет угадать, когда он говорит правду; между нами, я думаю, что ее брак не признан императором, потому что русский посланник хохотал, когда я заговорил о ней. Он ее не принимает и только слегка кланяется, когда встречает в Булонском лесу. Тем не менее, она принадлежит к обществу г-жи де Серизи, она бывает у г-ж де Нусинген и де Ресто. Во Франции ее репутация не запятнана, герцогиня де Карильяно, самая чопорная маршальша из всей бонапартистской котерии, часто ездит к ней на лето в ее поместье. Много молодых фатов и сын пэра Франции предлагали ей

свое имя в обмен на ее состояние; но она учтиво им отказала; быть может, ее чувствительность возбуждается, только начиная с графского титула. Ты ведь маркиз? Действуй же, если она тебе понравится. Вот что называется, по-моему, давать наставления.

Эта шутка заставила меня подумать, что Растиньяк хочет посмеяться и подзадорить мое любопытство; таким образом, моя импровизированная страсть достигла своего пароксизма, когда мы остановились у перистиля, убранного цветами. Поднимаясь по широкой лестнице, устланной коврами, я заметил все утонченности английского комфорта, и сердце мое забилось; я покраснел: я унижал свое происхождение, свои чувства, свою гордость, я был глупо буржуазен. Увы, я явился туда с чердака, после трехлетней нужды, не умея еще ставить выше житейских мелочей те приобретенные сокровища, те громадные умственные капиталы, которые обогащают в один миг, как только власть, не смяв вас, попадает в ваши руки, ибо наука заранее дает нам подготовку для политической борьбы.

Я увидел женщину лет двадцати двух, среднего роста, одетую в белое, окруженную мужчинами, нежившуюся на оттоманке и державшую в руке веер из перьев. Увидев входящего Растиньяка, она встала и пошла нам навстречу, прелестно улыбнулась и мелодическим голосом сказала мне комплимент, без сомнения заранее приготовленный; наш друг представил меня в качестве талантливого человека, и его ловкость, его цветистая гасконская болтовня доставили мне лестный прием. Я сделался предметом особого внимания и оттого смутился, но Растиньяк, по счастию, предупредил о моей скромности. Я встретил там ученых, литераторов, бывших министров, пэров Франции. Вскоре после моего прихода разговор вошел в прежнее русло, и, чувствуя, что мне надо поддержать свою репутацию, я приободрился; затем, когда настала моя очередь, я, не злоупотребляя словом, постарался кратко свести воедино все рассуждения в более или менее сильных, глубоких или остроумных выражениях. Я произвел некоторую сенсацию. В тысячный раз в своей жизни Растиньяк оказался пророком. Когда набралось много народу, и это всем вернуло свободу, Растиньяк взял меня под руку, и мы прошлись по комнатам.

— Не показывай виду, что ты слишком восхищен графиней, — сказал он мне, — не то она отгадает причину твоего посещения.

Гостиные были убраны с отличным вкусом. Я увидел несколько первоклассных картин. Каждая комната, как у самых богатых англичан, носила свой особый характер; шелковые обои, аграманты, форма мебели, малейшее украшение соответствовали общему замыслу. В готическом будуаре, двери которого были завешаны тканной драпировкой, рамы шпалер, часы, рисунок ковра, — все было в готическом стиле; на потолке из темных резных брусьев ласкали взор кессоны, изящные и оригинальные; деревянные панели отличались художественностью; ничто не нарушало целостности этого прекрасного убранства, даже оконные рамы с дорогими расписными стеклами. Меня поразила небольшая гостиная в современном вкусе, где какой-то артист исчерпал науку теперешней отделки, столь легкой, свежей, приятной, не бьющей в глаза, не злоупотребляющей позо-

лотой. Всё это дышало туманностью и любовью, как немецкая баллада; подлинный уголок для страсти в духе 1827 года, где благоухали редкие цветы, наполнявшие жардиньерки. За этой гостиной, в анфиладе, я увидел раззолоченную комнату, воскрешавшую вкус Людовика XIV и представлявшую, по сравнению с нынешним убранством, странный, но приятный контраст.

— У тебя будет славная квартира, — сказал мне Растиньяк с улыбкой, в которой проскальзывала легкая ирония. — Разве это не соблазнительно? — прибавил он, садясь.

Вдруг он встал, взял меня за руку, повел в спальню и показал мне, под пологом из кисеи и белого муара, сладострастную, слабо освещенную постель, подлинное брачное ложе феи, повенчанной с гением.

— Ну, не бесстыдство ли, не наглость, не величайшее ли кокетство показывать нам этот трон любви? — воскликнул он, приглушая голос.— Не отдаваться никому и позволять всякому оставлять тут свою визитную карточку! Будь я свободен, я пожелал бы, чтоб эта женщина, покорная и в слезах, стояла у моей двери.

— А ты уверен в ее добродетели?

— Самые отважные и даже самые искусные из наших волокит уверяют, что потерпели неудачу, всё еще любят ее и остаются ее преданными друзьями. Разве эта женщина не загадка?

Эти слова привели меня в состояние некоего опьянения; моя ревность уже опасалась прошлого. Дрожа от радости, я стремительно бросился в комнату, где оставил графиню, и застал ее в готическом будуаре. Она остановила меня улыбкой, усадила подле себя, стала расспрашивать о моих работах и, казалось, заинтересовалась ими, особенно когда я, вместо того чтобы по-ученому и профессорским языком развивать перед нею свою систему, стал излагать ее шутя. Ей показалось забавным, когда она услышала, что человеческая воля — материальная сила вроде пара, что в нравственном мире ничто не может противостоять этой силе, когда человек научится ее сосредоточивать, управлять всем ее комплексом и направлять постоянно на другие души флюиды этой жидкой массы, что такой человек может по произволу изменять всё относящееся к человечеству, даже абсолютные законы природы. Возражения Федоры обнаружили известную тонкость ума. Чтобы польстить ей, я пошел на то, что в течение нескольких минут соглашался с ней, но затем разрушил ее женские рассуждения; одним словом, обратив ее внимание на обиходный житейский факт, а именно на сон, факт, по видимости, простой, но, по существу, чреватый неразрешимыми для ученого задачами. Я возбудил ее любопытство. Графиня даже умолкла на мгновение, когда я сказал ей, что наши идеи — существа органические, цельные, живущие в невидимом мире и влияющие на нашу судьбу, причем в доказательство процитировал ей мысли Декарта, Дидро, Наполеона, которые руководили и доселе руководят целым столетием. Я имел честь позабавить ее. Она покинула меня, прося заходить: говоря придворным языком, она дозволила мне являться ко двору. Принял ли я, по своей похвальной привычке, вежливые

фразы за сердечные излияния, или же Федора видела во мне будущую знаменитость и пожелала пополнить свой зверинец ученых особ, но мне показалось, что я ей понравился.

Я призвал все свои познания по физиологии, все свои прежние наблюдения над женщиной, дабы тщательно исследовать в тот вечер эту оригинальную особу и ее повадки. Спрятавшись в амбразуре окна, я следил за ее мыслями, отыскивая их в том, как она держится, изучая ее поведение как хозяйки дома, которой приходится ходить туда и сюда, садиться и болтать, подзывать к себе мужчину, расспрашивать его и слушать, опершись о наличник двери. Я замечал в ее походке такую мягкую изломанность движений, платье ее так грациозно колыхалось, она так сильно возбуждала желание, что мне тогда очень не верилось в ее добродетель. Если Федора теперь и отрекалась от любви, то прежде, без сомнения, отличалась большим темпераментом; опытное сладострастие обнаруживалось даже в манере держаться перед собеседником; она кокетливо опиралась о панель, точно готова была упасть, но в то же время была готова и убежать, если бы слишком жгучий взгляд испугал ее. Непринужденно скрестив руки, она, казалось, вдыхала ваши слова, благосклонно внимала им как бы даже взглядами, и вся дышала чувством. Ее свежие и алые губы резко обозначались на бледном лице, каштановые волосы подчеркивали оранжевую расцветку глаз с жилками, как у флорентийского мрамора, а их выражение, казалось, придавало особую изощренность ее словам. Наконец, корсаж ее открывал самые привлекательные прелести. Соперница, быть может, подметила бы сухую линию ее густых, почти сросшихся бровей и осудила бы едва заметный пушок, покрывавший овал ее лица. Я находил отпечаток страсти на всей ее особе. Любовь была начертана на ее итальянских ресницах, на прекрасных плечах, достойных Венеры Милосской, во всех ее чертах, на нижней губе, несколько пухлой и слегка затененной. То была не женщина, а роман; все эти женственные сокровища, это гармоническое сочетание линий, обещания, даваемые страстям ее роскошным сложением, смягчались постоянной сдержанностью и необыкновенной скромностью, странно противоречащими впечатлению от всей ее личности. Требовалась наблюдательность столь же проницательная, как у меня, чтобы открыть в этой женщине предрасположение к сладострастию. Для пояснения своей мысли замечу, что в Федоре было две женщины, границей которых был бюст; одна из них была холодна, и только голова казалась влюбчивой; раньше чем взглянуть на какого-нибудь мужчину, она подготовляла к тому свой взгляд, точно в ней происходило нечто таинственное; вы сказали бы, что в ее блестящих глазах делались судороги. Словом, или мои знания были недостаточны, и мне оставалось открыть еще много тайн в нравственном мире, или же графиня обладала прекрасной душой, движения и чувства которой придавали ее лицу прелесть, покоряющую и чарующую, обаяние чисто моральное и тем более могущественное, что оно согласуется с симпатиями желания.

Я вышел восхищенный, плененный этой женщиной, опьяненный ее роскошью, польщенный во всем, что в моем сердце было благородного, по-

рочного, доброго и злого. Я чувствовал себя сильно взволнованным, оживленным и встревоженным и, казалось, понял, что именно привлекало к ней всех этих художников, дипломатов, людей, облеченных властью, биржевиков, обитых, как их кассы, листовым железом; без сомнения, они являлись к ней, чтобы ощутить то опьяняющее волнение, которое заставляло дрожать все силы моего существа, подгоняло у меня кровь в тончайших венах, дергало мельчайший нерв и отзывалось дрожью в моем мозгу. Она не отдавалась никому, чтоб сохранить за собой всех. Женщина до тех пор кокетка, пока не влюбилась.

— Может быть, — сказал я Растиньяку, — ее насильно выдали замуж или продали какому-нибудь старику, и воспоминание о первом браке внушает ей отвращение к любви.

Я возвращался домой пешком из предместья Сент-Оноре, где жила Федора. От ее дома до улицы Канатчиков надо пройти чуть ли не весь Париж; дорога показалась мне короткой, а между тем было холодно. Предпринять покорение Федоры зимой, жестокой зимой, когда у меня не было и тридцати франков, а нас отделяло такое огромное расстояние! Только бедный молодой человек знает, во сколько обходится страсть, когда надо оплачивать кареты, перчатки, платье, белье и т.д. Если платоническая любовь затянется, она превращается в разорение. В самом деле, на юридическом факультете есть такие Лозёены [1], которым и помыслить нельзя о том, чтоб влюбиться в красавицу, живущую в бельэтаже. И каким образом мог я, слабый, хилый, плохо одетый, бледный и истощенный, как художник, выздоравливающий после окончания какого-нибудь произведения, соперничать с молодыми людьми, щегольски завитыми, красивыми, разодетыми, в галстуках, способных привести в отчаяние всю Хорватию [2], богатыми, ездящими в своих тильбюри и вооруженными наглостью?

— Ба! Федора или смерть! — вскричал я, поворачивая к мосту, — Федора — это фортуна!

Красивый готический будуар и гостиная во вкусе Людовика XIV пронеслись у меня перед глазами; я увидел графиню в белом платье, с прелестными широкими рукавами, ее соблазнительную походку, ее заманчивый корсаж. Придя к себе на пустой и холодный чердак, неприбранный, как парик натуралиста, я всё еще был окружен образами ее роскоши. Подобный контраст был плохим советником, — так, вероятно, зарождаются преступления. И я, дрожа от ярости, проклял свою скромную и честную бедность, свой плодоносный чердак, где во мне зародилось столько мыслей. Я требовал отчета у бога, дьявола, у общественного строя, у отца, у всей вселенной, у своей судьбы, у своего несчастья; я лег спать голодный, бормоча смехотворные проклятия, но твердо решившись соблазнить

---

[1] Герцог де Лозён — светский беспутник XVII в.

[2] *Галстуки, способные привести в отчаяние всю Хорватию* — непереводимая игра слов. Слово cravate (галстук) считается искажением слова croate (хорватский). В форму хорватской армии входил преувеличенно пышный галстук, мода на который перешла и в Париж.

Федору. Сердце этой женщины было последним лотерейным билетом, на который была поставлена моя судьба.

Я не стану тебе рассказывать о моих первых визитах к Федоре, чтоб прямо перейти к драме. Стараясь действовать на душу этой женщины, я хотел пленить ее ум, сманить на свою сторону ее тщеславие. Для того, чтобы она вернее полюбила меня, я старался всеми способами, чтобы она сильнее полюбила самое себя. Никогда я не оставлял ее в безразличном состоянии; женщины жаждут во что бы то ни стало волнений, и я доставлял их ей; я скорее готов был рассердить ее, чем допустить, чтоб она оставалась равнодушной в моем присутствии. Если вначале, одушевленный твердой волей и желанием влюбить ее в себя, я приобрел над нею некоторую власть, то вскоре страсть моя возросла, я перестал владеть собою, стал правдив, потерял голову и влюбился до безумия. Не знаю, что именно зовется любовью в поэзии и в разговорах, но описания чувства, развившегося внезапно в моей двойственной натуре, я не нашел нигде: ни в риторических и отшлифованных фразах Жан-Жака Руссо, комнату которого я, быть может, занимал; ни в холодных концепциях наших двух литературных веков, ни в картинах итальянских живописцев. Только вид Биенского озера, иные мотивы Россини, Мадонна Мурильо, принадлежащая маршалу Сульпоу, письма Лекомба[1], отдельные выражения в сборниках анекдотов, а в особенности молитвы экстатиков и некоторые места из наших фаблио могли перенести меня в божественные области моей первой любви.

Ничто в человеческих языках, никакая передача мысли при помощи красок, мраморов, слов или звуков не в состоянии выразить сути, правды, законченности, внезапности чувства, возникающего в душе! Да! Сказать — «искусство», значит сказать ложь. Любовь испытывает бесконечные превращения, прежде чем навсегда примешаться к нашей жизни и навеки окрасить ее в свой пламенный цвет. Тайна этого неприметного примешивания ускользает от анализа художника. Истинная страсть выражается криками, вздохами, надоедливыми для бесстрастного человека. Надо искренне любить, чтобы проникнуться сочувствием к рычаниям Ловеласа, читая «Клариссу Гарлоу». Любовь — невинный источник, текущий по руслу из цветов, травы и гравия; он становится ручьем, превращается в реку, меняет свою природу и вид с каждой волной и впадает в неизмеримый океан, в котором недоразвитые люди видят только однообразие и где великие души теряются в беспрерывном созерцании. Кто осмелится описать эти меняющиеся тона чувства, эти пустяки, коим нет цены, эти слова, оттенки которых способны исчерпать всю сокровищницу языка, эти взгляды, более содержательные, чем самые роскошные поэмы! В каждой из мистических сцен, благодаря которым мы незаметно влюбляемся в женщину, открывается бездна, способная поглотить всю человеческую поэзию. И где же нам передать глоссами живые и таинственные движения души, когда нам не хватает выражений, чтобы обрисовать видимые тайны красоты! Какое волшебство!

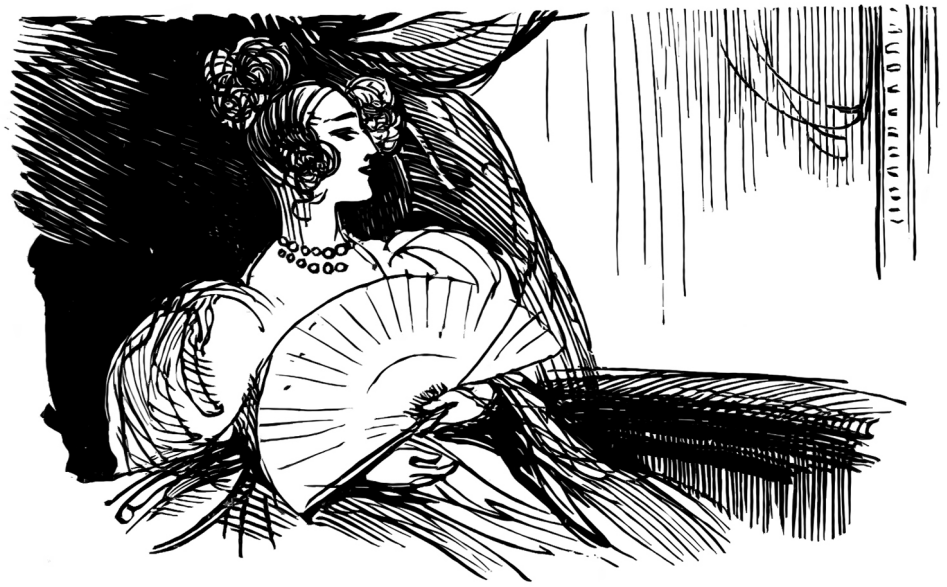
---

[1] Лекомба Мария — героиня нашумевшего уголовного процесса; страстные письма ее к любовнику были опубликованы.

Сколько часов бывал я погружен в невыразимый восторг, просто глядя на нее! Счастливый, чем же? — не знаю сам. Если в эти мгновения на ее лицо падал свет, то оно сияло в силу какого-то непонятного мне явления; незаметный пушок, золотивший ее тонкую и нежную кожу, обрисовывал ее контуры с прелестью, которой мы восхищаемся в дальних линиях горизонта, когда они теряются в блеске солнца. Казалось, что солнечные лучи, соединяясь с нею, ласкали ее или что ее сияющее лицо испускало свет интенсивней дневного света; затем тень проходила по этому милому лицу и придавала ему какой-то колорит, который, меняясь в оттенках, изменял его выражение. Порою казалось, что на ее мраморном челе обозначалась мысль; ее глаза загорались красными отблесками, веки вздрагивали и черты, побуждаемые улыбкой, становились подвижными; кораллы умных губ оживлялись, сходились и расходились; какой-то отсвет от ее волос бросал бурые тени на свежие виски; лицо ее реагировало на всякое явление. Каждый оттенок красоты был новым праздником для моих глаз, обнаруживал прелести, еще неизвестные моему сердцу. Во всех этих изменениях лица мне хотелось прочесть чувство, надежду. Эти немые разговоры перебегали от души к душе, как звуки эхо, и одаряли меня преходящими радостями, оставлявшими глубокое впечатление. Ее голос приводил меня в какое-то опьянение, которое мне было трудно побороть. Подобно не помню уж какому лотарингскому принцу, я мог бы не почувствовать на ладони раскаленный уголь, если б она провела своими ласковыми пальцами по моим волосам. То уже было не восхищение, не желание, а волшебство и рок. Часто, придя к себе на чердак, я, как бы сквозь туман, видел Федору у нее в доме и каким-то смутным образом участвовал в ее жизни. Если она страдала, то страдал и я и говорил ей на другой день: «Вы страдали!» Сколько раз являлась она ко мне посреди ночной тишины, вызванная силой моего бреда! То быстрая, как брызнувший луч света, вырывала она у меня перо из рук и вспугивала Науку и Жажду знания, которые убегали в отчаянии; она заставляла меня восхищаться ею, принимая привлекательную позу, в которой я видел ее перед тем. То я сам шел ей навстречу в мир призраков и приветствовал ее, как надежду, умоляя, чтоб она позволила мне услышать ее серебристый голос; затем я просыпался в слезах.

Однажды, пообещав отправиться со мною в театр, она вдруг капризно отказалась и попросила меня оставить ее одну. Придя в отчаяние от этого прекословия, стоившего мне целого дня работы и — сказать ли? — последнего экю, я отправился туда, где она хотела быть, чтобы видеть пьесу, которую она желала видеть. Не успел я занять свое место, как почувствовал электрический ток в сердце. Какой-то голос шепнул мне: «Она здесь!» — Оборачиваюсь, и вижу графиню, скрывающуюся в глубине темной ложи бенуара. Взгляд мой не колебался, глаза мои открыли ее со сказочной прозорливостью, душа полетела к источнику своей жизни, как насекомое к цветку. Как дошла эта весть до моих чувств? Есть душевные содрогания, которые могут поразить поверхностных людей, но эти явления нашей внутренней природы так же просты, как обычные явления на-

шего внешнего зрения; поэтому я не удивился, но был рассержен. Изучение нашей нравственной силы, столь мало исследованной, послужило мне, по крайней мере, к тому, что в охватившей меня страсти я нашел несколько живых доказательств своей системы. В этом сочетании ученого и влюбленного, подлинного идолопоклонства и научной любви было что-то странное. Науку часто радовало то, что обезнадеживало влюбленного, и влюбленный с удовольствием гнал от себя науку, когда чаял одержать победу.



Федора увидела меня и стала серьезной: я стеснял ее. В первом же антракте я пошел ее навестить. Она была одна, и я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, я предчувствовал объяснение. Я еще не открывал ей своей тайны, но между нами существовало нечто вроде соглашения. Федора поверяла мне планы своих развлечений и с некоторого рода дружеским беспокойством спрашивала накануне, приду ли я завтра; она взглядом советовалась со мной, когда отпускала какую-нибудь остроту, словно хотела нравиться исключительно мне; если я дулся, она становилась ласковой; если она притворялась сердитой, я до некоторой степени имел право расспросить ее; если мне случалось провиниться, она, прежде чем простить, заставляла меня долго умолять себя. Эти ссоры, доставлявшие нам удовольствие, были полны любви. Она обнаруживала при этом столько прелести и кокетства, а я испытывал такое счастье! На этот раз наша близость исчезла, и мы сидели друг подле друга, как чужие. Графиня была холодна; я предчувствовал несчастье.

— Вы проводите меня, — сказала она мне по окончании пьесы.

Погода внезапно изменилась. Когда мы вышли, шел дождь со снегом. Карета Федоры не могла подъехать к театральному подъезду. Увидав, что хорошо одетая

женщина принуждена пересечь бульвар пешком, посыльный раскрыл над нами зонтик и, когда мы сели в карету, попросил за услугу. У меня не было ни гроша; в ту минуту я отдал бы десять лет жизни за два су. Адская скорбь убила во мне мужчину со всем его тщеславием. Слова: «У меня нет мелочи, любезный!» — были сказаны жестким тоном, казалось, вызванным моей любовной неудачей, они были сказаны мною, братом этого человека, так хорошо знавшим нужду, мною, некогда отдавшим с такой легкостью семьсот тысяч франков. Лакей оттолкнул посыльного, и лошади понеслись, разрезая воздух. По дороге домой Федора была рассеянна или притворялась, будто чем-то занята; она презрительными односложными словами отвечала на мои вопросы. Я молчал. То было ужасное мгновение. Приехав к ней, мы уселись у камина. Когда камердинер, разведя огонь, вышел, графиня повернулась ко мне с каким-то неописуемым выражением лица и сказала с некоей торжественностью:

— Со времени моего возвращения во Францию мое состояние соблазняло многих молодых людей: я выслушивала объяснения в любви, которые могли удовлетворить мою гордость, я встречала людей, которые чувствовали ко мне такую искреннюю и глубокую привязанность, что женились бы на мне, будь я даже такой же бедной девушкой, как раньше. Итак, знайте, г-н де Валантен, что мне предлагали и новые богатства, и новые титулы, но знайте также, что я никогда не видала более тех, кто позволил себе объясниться мне в любви. Если бы мое расположение к вам было легковесным, я не сделала бы вам предостережения, внушенного скорее дружбой, чем гордостью. Женщина подвергает себя опасности получить некоторого рода оскорбление, когда, предполагая, что ее любят, заранее отказывается от чувства, всегда лестного. Я знаю сцены Арсинои и Араминты, а потому знакома и с ответами, которые могу услышать в подобном случае; надеюсь, что сегодня меня не станет неправильно осуждать человек выдающийся за то, что я без утайки открыла ему свою душу.

Она выражалась с хладнокровием поверенного или нотариуса, объясняющих своим клиентам, как вести процесс или составить статьи контракта. Ясный и увлекательный тембр ее голоса не обнаруживал ни малейшего волнения. Лицо и поза, всегда достойные и благонравные, приобрели, как мне показалось, какую-то дипломатическую сухость и холодность. Она, без сомнения, обдумала свои слова и набросала заранее план этой сцены. О, любезный друг, когда некоторые женщины находят удовольствие в том, чтобы разрывать нам сердце, когда они вздумали вонзить в него кинжал и повернуть его в ране, они очаровательны. Они любят или хотят, чтобы их полюбили. Когда-нибудь они вознаградят нас за горе, как бог, говорят, зачтет нам наши добрые дела; они сторицей воздадут нам наслаждениями за страдания, жестокость которых им отлично известна; и разве злость их не полна страсти? Но терпеть мучения от женщины, которая убивает нас своим равнодушием, не значит ли это подвергаться ужасной пытке? В это мгновение Федора, не сознавая того, попирала все мои надежды, ломала мою жизнь и разрушала мою будущность с холодной беззаботностью и невинной жестокостью ребенка, который из любопытства обрывает крылья бабочке.

— Позже,— прибавила Федора,— вы, надеюсь, признаете все качества той привязанности, которую я предлагаю своим друзьям. Вы увидите, что к ним я всегда добра и всегда им предана. Я сумею посвятить им свою жизнь; но вы презирали бы меня, если бы я, не отвечая им взаимностью, согласилась уступить их желаниям. Я умолкаю. Вы единственный человек, которому я сказала вот эти последние слова.

Вначале у меня не хватало слов, и я едва мог унять поднявшуюся во мне бурю; но вскоре я скрыл свои чувства в глубине души и стал улыбаться.

— Если я скажу вам, что люблю вас,— отвечал я,— вы меня прогоните; если я обвиню себя в равнодушии, вы меня накажете. Священники, судьи и женщины никогда вполне не разоблачаются. Молчание не выражает никакого мнения; позвольте же мне, сударыня, промолчать. Надо предположить, что, высказывая мне такое братское предупреждение, вы боялись лишиться меня, и этой мысли достаточно, чтобы удовлетворить мою гордость. Но не будем касаться личностей. Вы, быть может, единственная женщина, с которой я могу философски рассуждать о решении, столь противоречащем законам природы. По сравнению с другими особами вашего пола, вы феномен. Итак, давайте же вместе добросовестно изыскивать причину такой психологической аномалии. Не присущ ли вам, как многим женщинам, гордящимся собой, влюбленным в свои совершенства, некоторого рода утонченный эгоизм, который заставляет вас ужасаться при мысли, что вы будете принадлежать мужчине, откажетесь от своей воли и подчинитесь условному превосходству, для вас оскорбительному? В таком случае вы мне показались бы в тысячу раз красивей. Или любовь дурно обошлась с вами при первом испытании? Быть может, вы приписываете такую цену изяществу своей прелестной талии, своего дивного бюста, что боитесь их испортить, если станете матерью; не в этом ли заключается тайная и основательная причина, почему вы страшитесь стать предметом слишком пылкой любви? Или у вас есть недостатки, заставляющие вас быть добродетельной вопреки собственной воле?.. Не сердитесь, я рассуждаю, я изучаю; я нахожусь от страсти за тысячу миль. Если природа создает слепых от рождения, то она может создавать и женщин, глухих, немых и слепых в отношении любви. Право, вы драгоценный субъект для медицинских наблюдений! Вы сами не знаете, чего стоите. Может статься, вы питаете самое законное отвращение к мужчинам; в таком случае я вас одобряю: все они кажутся мне безобразными и гнусными... Но вы правы,— добавил я, чувствуя, что у меня становится тяжело на сердце,— вы должны нас ненавидеть, потому что нет такого мужчины, который был бы вас достоин!

Не стану повторять тебе всех сарказмов, которыми я, смеясь, награждал ее. И что ж, самые едкие слова, самая колкая ирония не вызывали у нее ни движения, ни жеста досады. Она слушала меня с обычной улыбкой на губах и в глазах, с той улыбкой, которую она надевала на себя, как платье, и которой, не меняя, одаряла друзей, просто знакомых и посторонних.

— Разве я не очень добра, дозволяя так анатомировать себя? — сказала она, воспользовавшись мгновением, когда я молча смотрел на нее. — Видите ли, —

продолжала она, — у меня в дружбе нет глупой щепетильности. Многие женщины рассердились бы на вас за дерзость и приказали бы не принимать вас.

— Вы можете выгнать меня, не будучи обязанной давать отчет в вашей суровости.

Говоря это, я чувствовал, что готов убить ее, если она откажет мне от дома.

— Вы с ума сошли! — улыбаясь вскричала она.

— Думали ли вы когда-нибудь, — спросил я, — о последствиях сильной любви? Мужчина, доведенный до отчаяния, нередко убивает свою возлюбленную.

— Лучше быть мертвой, чем несчастной, — холодно отвечала она — Такой страстный мужчина может впоследствии бросить свою жену и оставить в нищете, после того как проест ее состояние.

Такая арифметика ошеломила меня. Я ясно увидел, что между этой женщиной и мною — пропасть. Мы никогда бы не поняли друг друга.

— Прощайте, — холодно сказал я ей.

— Прощайте, — отвечала она, дружески кивая головой. — До завтра.

С минуту глядел я на Федору, стараясь перелить в нее всю любовь, от которой отказывался. Она стояла и смотрела на меня с банальной улыбкой, отвратительной улыбкой мраморной статуи, как бы выражавшей любовь, но в то же время холодной. Поймешь ли ты, мой милый, все страданья, которые я испытывал, когда, потеряв всё и возвращаясь домой под дождем и снегом, шел с добрую милю по обледеневшим набережным? О, как тяжело было сознавать, что она вовсе и не подозревает моей бедности и думает, что я так же богат, как она, и мягко покачиваюсь в карете! Какая катастрофа, какое разочарование! Тут дело шло уже не о деньгах, но о всех сокровищах моей души. Я шел наудачу, обсуждая с самим собой отдельные места этого странного разговора, и до того заблудился в своих толкованиях, что стал сомневаться в нарицательном значении слов и мыслей. И всё-таки я любил, любил эту холодную женщину, чье сердце каждое мгновение желало быть покоренным, и которая каждый день являлась в роли новой возлюбленной, уничтожая все то, что она как бы обещала вам накануне. Проходя воротами Академии, я почувствовал лихорадочную дрожь. Тут я вспомнил, что ничего не ел. У меня не было ни гроша. К довершению несчастия, дождь испортил мою шляпу. Мог ли я после этого подойти к изящной женщине и явиться в гостиную со шляпой, которую нельзя надеть! Кляня бестолковую и дурацкую моду, принуждающую нас постоянно держать шляпу в руке и выставлять напоказ тулью, я до тех пор, благодаря исключительным заботам, поддерживал свою в сносном состоянии. Не бросаясь в глаза новизной и не высохнув еще от старости, не будучи ни облезлой, ни чересчур шелковистой, она могла сойти за шляпу аккуратного человека; но ее искусственное существование достигло предельного срока: она была смята, покоробилась, износилась, превратилась в настоящее отрепье,— достойное подобие своего хозяина. За неимением тридцати су я терял свое изворотливое изящество. Ах, сколько неведомых жертв принес я Федоре в течение этих трех месяцев! Часто я лишал себя хлеба на целую неделю, лишь бы видеть ее. Забросить работу и голодать

было еще сущим пустяком. Но пересекать парижские улицы, стараясь, чтоб тебя не забрызгали грязью, бегом спасаться от дождя, являться к ней в столь же приличном виде, как и щеголи, которые ее окружали,— о, такая задача представляла для влюбленного и рассеянного поэта бесчисленные затруднения! Мое счастье, моя любовь зависели от пятнышка грязи на моем единственном белом жилете. Отказаться от свидания с нею, потому что ты испачкался или тебя промочило! Не иметь и пяти су, чтобы уплатить чистильщику, который снял бы кусочек грязи с твоего сапога! Страсть моя возрастала от этих мелких неведомых страданий, которые раздражительному человеку кажутся огромными. Бедняк приносит жертвы, о которых ему непозволительно говорить женщинам, живущим в роскошной и изящной среде; они смотрят на свет сквозь призму, которая золотит людей и вещи. Оптимистки из эгоизма, мучительницы ради хорошего тона, эти женщины, во имя своих забав избавляют себя от размышления и оправдывают свое равнодушие к несчастью, ссылаясь на увлекательность удовольствий. Грош никогда не кажется им миллионом; а вот миллион кажется им грошом. Если любви приходится вести свою тяжбу при помощи великих жертв, то она должна тактично набрасывать на них покров, погребать их в молчании; но, расточая свое состояние и жизнь, жертвуя собой, богачи извлекают выгоду из светских предрассудков, которые окружают известным блеском их любовные безумства; за них и молчание говорит, а покров служит им на пользу; между тем как моя ужасающая нужда принуждала меня к страшным страданиям, запрещая сказать: «Я люблю!» или «Я умираю!». Но, в сущности, было ли это жертвой? Разве я не был зато щедро вознагражден удовольствием, которое испытывал, отдавая все ради нее? Графиня превращала в чрезвычайную ценность, в удивительное наслаждение самые пошлые мелочи моей жизни. Некогда беззаботный насчет туалета, я теперь уважал свой фрак, как некое alter ego [1]. Я, не колеблясь, предпочел бы быть раненым, чем разорвать фрак. Ты должен теперь войти в мое положение и понять ярость моих дум, возрастающее бешенство, которое овладело мной по дороге и, быть может, усиливалось от ходьбы. Я испытывал какую-то адскую радость, оттого что достиг вершины несчастья; я силился видеть в этом последнем кризисе предсказание скорого счастья; но у сокровищницы бедствий нет дна.

Дверь гостиницы была полуотворена. Сквозь прорез в виде сердечка, проделанный в ставне, я заметил луч света, проникавший на улицу. Полина и ее мать, разговаривая, поджидали меня. Я услышал свое имя, и стал слушать.

— Рафаэль, — говорила Полина, — гораздо лучше студента из седьмого номера, у него чудные белокурые волосы. Не находишь ли ты в его голосе что-то такое, — не знаю, что именно, — от чего начинает биться сердце? И хотя он держится несколько гордо, но он добр, и у него такие достойные манеры. О, право, он очень хорош собою! Я уверена, что все женщины должны сходить по нем с ума.

— Ты говоришь так, точно влюблена в него, — промолвила г-жа Годен.

[1] другое я.

— О! — смеясь отвечала она, — я люблю его, как брата. Было бы величайшей неблагодарностью, если бы я не питала к нему дружбы. Разве не он выучил меня музыке, рисованию, грамматике, словом, всему, что я знаю? Ты не обращаешь особого внимания на мои успехи, мамаша; но я становлюсь такой образованной, что скоро буду в силах давать уроки, и тогда мы сможем держать служанку.

Я потихоньку отошел, а затем произвел легкий шум и направился в зал, чтоб взять лампу, которую Полина пожелала зажечь сама.

Милое дитя пролило сладостный бальзам на мои раны.

Эта наивная похвала моей личности придала мне немного бодрости. Мне необходимо было обрести веру в себя и узнать беспристрастное мнение о своих истинных достоинствах. Оживленная таким образам надежда, вероятно, и преобразила в моих глазах все, на что я смотрел. Быть может также, я дотоле не вглядывался достаточно пристально в сцену, которую довольно часто являли мне обе женщины в этом зале; но тут я восхитился перенесенной в действительность прелестнейшей картиной скромной жизни, которую так наивно воспроизводят фламандские живописцы. Мать, сидя у полупотухшего камина, вязала чулки, и на ее устах бродила добрая улыбка. Полина раскрашивала экраны; ее краски и кисти лежали на маленьком столике, резко и эффектно бросаясь в глаза; когда она привстала со своего места и, стоя, принялась зажигать мою лампу, весь свет упал на ее белую фигуру. Только сильнейшая страсть могла бы поглотить человека настолько, чтобы он не пришел в восторг от ее розовых и прозрачных рук, идеальной головки и девственной позы. Ночь и тишина придавали особую прелесть этой поздней работе, этому мирному уголку. Этот постоянный труд, переносимый с такой веселостью, свидетельствовал о покорности провидению, проникнутой возвышенными чувствами. Здесь между обстановкой и людьми царила непередаваемая гармония.

У Федоры роскошь была суховата и будила во мне дурные мысли; тут же смиренная бедность и добродушие освежали мне душу. Вероятно, я чувствовал унижение при виде роскоши; но подле этих двух женщин, в этом коричневом зале, где упрощенная жизнь, казалось, нашла убежище в сердечных волнениях, я, быть может, примирялся с самим собою, находя случай оказать покровительство, которое мужчины так охотно дают почувствовать другим. Когда я подошел к Полине, она взглянула на меня почти материнским взглядом; у нее задрожали руки, и, быстро поставив лампу, она воскликнула:

— Боже мой, как вы бледны! Да он весь промок. Мама обсушит вас. Г-н Рафаэль,— продолжала она после небольшого молчания,— вы любите молоко; у нас сегодня за ужином были сливки, не хотите ли попробовать?

Она, как кошечка, бросилась к фарфоровому кувшину с молоком и подала его мне с такой стремительностью, так мило поднесла его к моему носу, что я заколебался.

— Вы отказываетесь? — сказала она изменившимся голосом.

Мы оба были горды и понимали друг друга: Полина, казалось, мучилась своей бедностью и упрекала меня за высокомерие. Сливки, быть может, пред-

назначались ей на завтрак; я, однако, не отказался. Бедная девушка старалась скрыть свою радость, но она светилась у нее в глазах.

— Они очень кстати, — сказал я, садясь. (По ее челу пробежало выражение озабоченности.) — Помните ли, Полина, то место из Босюэ, где он говорит, что бог вознаграждает щедрее за стакан молока, чем за победу?

— Да — отвечала она. И ее грудь вздымалась, как у птенчика славки в руках ребенка.

— Мы скоро расстанемся, — прибавил я не совсем уверенным голосом, — а потому позвольте мне засвидетельствовать мою благодарность вам и вашей матушке за все заботы, какие вы мне оказывали.

— О, не станем считаться! — смеясь сказала она.

Под этим смехом скрывалось волнение, причинявшее мне боль.

— Мое фортепиано, — продолжал я, точно не слыша ее слов, — один из лучших инструментов Эрара. Примите его от меня. Примите его без всякого смущения; мне, право, нельзя взять его с собой в путешествие, которое я намерен предпринять.

Быть может, меланхолический тон, которым я произнес эти слова, открыл обеим женщинам мои мысли, и они взглянули на меня с любопытством и испугом. Привязанность, которой я искал в ледяных пространствах большого света, была тут налицо, правдивая и скромная, и притом умилительная и, быть может, прочная.

— Зачем вы себя так тревожите? — сказала мать.— Оставайтесь с нами. Мой муж уже на обратном пути,— сказала она.— Сегодня вечером я читала Евангелие от святого Иоанна. Полина держала на весу ключ, привязанный к Библии, и ключ завертелся. Это значит, что Годен здоров и процветает. Полина сделала то же для вас и для молодого человека из седьмого номера; но ключ завертелся только для вас. Мы будем все богаты, Годен вернется миллионером. Я во сне видела, что он на корабле, полном змей; по счастию, вода была мутная, а это означает заморское золото и драгоценные каменья.

Эти дружеские и пустые слова, похожие на сумбурные песни, которыми мать убаюкивает больное дитя, возвратили мне некоторое спокойствие. Звук голоса и взгляд доброй женщины дышали той сладостной сердечностью, которая если и не прогоняет скорби, то успокаивает, укачивает и притупляет ее. Более прозорливая, чем мать, Полина посмотрела на меня с беспокойством, и ее умные глаза, казалось, разгадали мою жизнь и будущность. Я отвесил поклон матери и дочери в знак благодарности, а затем, боясь расчувствоваться, быстро удалился. Очутясь один под крышей, я лег в постель, подавленный своим несчастьем. Мое роковое воображение рисовало мне тысячи беспочвенных планов и подсказывало невозможные решения. Когда человек перебивается остатками своего состояния, то он все еще находит кое-какие средства; но у меня не было ровно ничего. Ах, мой милый, мы слишком легко осуждаем бедность! Будем снисходительнее к действию самого сильного из социальных растворов: там, где царит нужда, нет более ни стыда, ни

преступления, ни добродетели, ни ума. У меня не было тогда ни мыслей, ни сил, как у девушки, упавшей на колени перед тигром. Человек без денег и без страсти еще может овладеть собою, но несчастный, когда он любит, уже более не принадлежит себе и не может себя убить. Любовь внушает нам какое-то религиозное благоговение к самим себе, мы уважаем в себе другую жизнь, и тогда любовь становится самым ужасным из несчастий, несчастьем, окрыленным надеждой, надеждой, которая заставляет вас претерпевать все муки. Я заснул с мыслью пойти завтра к Растиньяку и рассказать ему о странном решении Федоры.

— Ага! — сказал он, видя, что я вхожу к нему в девять часов утра, — я знаю, зачем ты пришел: Федора дала тебе отставку. Какие-нибудь добрые люди, завидуя твоей власти над графиней, распустили слух, что ты на ней женишься. Один только бог ведает, какие безумства приписали тебе соперники и как клеветали на тебя!

— Теперь все ясно! — вскричал я.

Я вспомнил все свои дерзости, и графиня показалась мне бесподобной. Я счел себя бессовестным человеком, который еще недостаточно наказан, и в ее снисходительности видел одно только терпеливое милосердие любви.

— Не торопись, — сказал благоразумный гасконец. — Федора обладает проницательностью, свойственной глубоко эгоистичным женщинам; быть может, она составила свое мнение о тебе еще тогда, когда ты видел в ней только богатство и роскошь; несмотря на твою ловкость, она расшифровала твою душу. Графиня настолько скрытна, что не простит и малейшей скрытности. Боюсь, — добавил он, — что я толкнул тебя на дурную дорогу. Несмотря на изысканность ее обхождения и ума, она кажется мне властолюбивой, как все женщины, не знающие иных удовольствий, кроме тех, которые дает нам разум. Для нее счастье заключается только в житейском благополучии, в общественных удовольствиях; чувство для нее роль; она сделала бы тебя несчастным и превратила бы в своего старшего лакея.

Но Растиньяк обращался к глухому. Я прервал его, рассказав с напускной веселостью о своем финансовом положении.

— Вчера вечером, — отвечал он мне, — невезение унесло все деньги, которыми я мог располагать. Не случись такой вульгарной неудачи, я охотно разделил бы с тобой свой кошелек. Но пойдем завтракать в кабачок; быть может, устрицы умудрят нас.

Он стал одеваться и приказал заложить тильбюри; затем мы, словно два миллионера, явились в Cafe de Paris с наглостью отчаянных спекулянтов, живущих на воображаемые капиталы. Этот дьявол гасконец подавлял меня своей развязностью и невозмутимым апломбом. В то время как мы пили кофе, после очень тонкого и умело заказанного завтрака, Растиньяк, который раскланивался с целой кучей молодых людей, отличавшихся как приятной наружностью, так и изяществом одежды, шепнул мне, заметив одного входившего денди: «Твое дело в шляпе».

И он знаком пригласил подойти элегантного господина в превосходно повязанном галстуке, который, казалось, искал удобный столик.

— Этот молодец, — сказал мне Растиньяк на ухо, — получил орден за сочинения, которых сам не понимает: он химик, историк, романист, публицист; он прикарманивает четверть, треть и половину гонорара со множества театральных пьес, и невежествен, как мул дона Мигеля. Это не человек, а имя, ярлык, к которому привыкла публика. Оттого он поостережется войти в одно из тех заведений, над которыми есть надпись: *Здесь можно писать самому.* Он так хитер, что проведет за нос целый конгресс. В двух словах, это нравственный метис: он не совсем честен и не совсем плут. Но, тс... он уже дрался на дуэли, а свету больше



ничего не надо, и о нем говорят: это почтенный человек. Ну, что, мой превосходный друг, мой почтенный друг, как поживаете Ваша Высокомудрость? — сказал незнакомцу Растиньяк, когда тот уселся за соседний столик.

— Ни хорошо, ни дурно. Я завален работой. У меня имеются все необходимые материалы, чтоб написать очень любопытные исторические записки, и я не знаю только, кому их приписать. Эт меня беспокоит; надо спешить: мемуары могут выйти из моды.

— Что же это за мемуары: современные, старинные, придворные или еще какие-нибудь?

— Они касаются дела об ожерелье королевы.

— Ну, разве это не чудо? — смеясь сказал мне Растиньяк. Затем, обратясь к спекулянту и указывая на меня, он добавил: «Вот мой друг, г-н де Валантен, рекомендую вам его как одну из будущих наших знаменитостей. Его тетка, мар-

киза, когда-то была в силе при дворе, а сам он уже около двух лет трудится над роялистской историей революции».

Затем, наклонившись к уху этого своеобразного дельца, Растиньяк сказал ему:

— Он человек талантливый, но простофиля и способен написать вам мемуары от имени своей тетки, по сто экю за том.

— Дело подходящее, — отвечал тот, оправляя галстук. — Эй, человек, где же мои устрицы?

— Но вы мне заплатите двадцать пять экю за комиссию и дадите ему за том вперед, — сказал Растиньяк.

— Нет, нет! Вперед я дам только пятьдесят экю; тогда я скорее получу рукопись.

Растиньяк потихоньку передал мне эту торговую сделку. Затем, не дожидаясь моего ответа, он сказал дельцу:

— Мы согласны. Когда нам повидаться с вами, чтоб покончить дело?

— Что ж, приходите завтра в семь часов сюда обедать.

Мы встали. Растиньяк бросил на водку гарсону, спрятал счет в карман, и мы вышли. Я был ошеломлен легкостью и беззаботностью, с которыми он продал мою почтенную тетку, маркизу де Монборон.

— Да я скорей отправлюсь в Бразилию и стану там учить индейцев алгебре, в которой ничего не смыслю, чем запятнаю имя нашего рода!

Растиньяк разразился хохотом.

— И глупец же ты! Сперва возьми пятьдесят экю и напиши мемуары. Когда они будут окончены, ты откажешься поставить под ними имя своей тетки, остолоп ты этакий. Эта умершая на эшафоте г-жа де Монборон, со своими фижмами, робронами, красотой, румянами, туфельками, конечно, стоит больше шестисот франков. Если книгопродавец не захочет тогда заплатить за тетку, сколько она стоит, то он найдет какого-нибудь старого пройдоху, или какую-нибудь заплесневелую графиню, чтоб подписать мемуары.

— О, — вскричал я, — зачем я сошел с моего добродетельного чердака? Изнанка мира гнусна и грязна.

— Ладно, — отвечал Растиньяк, — всё это поэзия, а речь идет о деле. Ты просто ребенок. Слушай: что касается мемуаров, то судить о них будет публика; что же касается литературного сводника, то разве он не потратил восьми лет жизни и не оплатил жестокими опытами своих сношений с книгопродавцами? Ты не поровну поделишь с ним труд; но зато и доля твоя будет выгоднее. Ведь двадцать пять луидоров для тебя более крупная сумма, чем для него тысяча франков. Полно, если Дидро написал за сто экю шесть проповедей, то тебе не зазорно написать исторические мемуары, ведь это все-таки художественное произведение.

— В конце концов, — с волнением сказал я ему, — мне без этого не обойтись, а потому, дружок, прими мою благодарность. Двадцать пять луидоров для меня большое состояние.

— Оно будет больше, чем ты думаешь,— отвечал он, смеясь.— Если Фино даст мне комиссионные, то, как ты, вероятно, догадываешься, они пойдут тебе же. Поедем-ка в Булонский лес,— сказал он,— мы увидим там твою графиню, а я тебе покажу премиленькую вдовушку, на которой женюсь; прелестная особа,— эльзаска, но немного дородна. Она читает Канта, Шиллера, Жан-Поля и целую тьму книг по гидравлике. У нее мания постоянно спрашивать меня, какого я о них мнения, и я должен притворяться, будто понимаю всю эту немецкую сентиментальщину, знаю кучу баллад и всё это мерзкое зелье, употребление которого запрещено мне доктором. Я до сих пор всё еще не отучил ее от литературного энтузиазма; она заливается слезами, читая Гёте, и мне приходится ронять слезу-другую из любезности, потому что у нее, мой милый, пятьдесят тысяч ливров дохода и самая хорошенькая ножка, и самая прелестная ручка на свете. Ах, если б она не выговаривала «шадность» вместо «жадность», и «пранить-ся» вместо «браниться», то была бы совершенством!

Мы увидели графиню, роскошную в своем роскошном экипаже. Кокетка весьма приветливо поклонилась нам и подарила меня улыбкой, которая показалась мне тогда божественной и полной любви. Ах, я чувствовал себя счастливым, любимым, обладателем денег и сокровищ страсти, а бедности как не бывало! Веселый, с легким сердцем, всем довольный, я нашел, что эльзаска моего друга прелестна. Казалось, деревья, воздух, небо, вся природа отражали для меня улыбку Федоры. Возвращаясь с Елисейских полей, мы заехали к шляпочнику и портному Растиньяка. Дело об ожерелье дозволило мне перейти с жалкого мирного положения на грозное военное. Впредь я мог без страха соперничать по изяществу и щегольству с молодыми людьми, которые вертелись вокруг Федоры. Я воротился домой и заперся у себя. Усевшись с наружным спокойствием у своего слухового окна, я, однако, прощался навсегда с крышами, жил в будущем, драматизировал свою жизнь, производил учет любви и наслаждениям. Ах, какую бурную жизнь можно вести между четырьмя стенами чердака! Душа человеческая — фея; она превращает солому в алмазы; под ее волшебной палочкой расцветают волшебные замки, как полевые цветы под вдохновенными лучами солнца.

На следующее утро Полина тихо постучала в дверь и подала мне, отгадай, что! — письмо от Федоры. Графиня просила меня прийти в Люксембургский сад, чтоб отправиться вместе с нею осматривать музей и Ботанический сад.

— Посыльный ждет ответа, — сказала она после небольшого молчания.

Я быстро нацарапал благодарственное письмо, которое и унесла Полина. Затем я оделся. Но, в то время как, более или менее довольный собой, я заканчивал свой туалет, меня вдруг пробрала ледяная дрожь при мысли: пришла ли Федора пешком или приехала в карете? А будет ли дождь или хорошая погода? Но в карете ли она или пешком,— продолжал я размышлять,— разве можно положиться на причудливый ум женщины? А что, если у нее не будет денег, и она вдруг вздумает дать сто су мальчишке-савояру за то, что на нем красивые лохмотья? У меня не было и медного лиара, и я только вечером мог получить

деньги. О, как дорого в минуты кризисов нашей молодости платит поэт за умственное могущество, которое он приобретает благодаря скудной пище и труду! В одно мгновение тысячи ярких и мучительных мыслей впились в меня тысячами жал. Я поглядел на небо в слуховое окно; погода была ненадежная. В случае опасности я, конечно, мог взять карету на день; но разве даже в порыве счастья я не трепетал всякую минуту, опасаясь, что господин Фино вечером не явится? У меня не хватило сил выносить столько страхов среди своей радости. Хотя я и был уверен, что ничего не найду, однако предпринял поиски по всей комнате; я искал воображаемые экю даже в глубине тюфяка, перерыл всё, даже вытряс старые сапоги. В припадке нервной лихорадки я повалил всю мебель и глядел на нее отупелыми глазами. Понимаешь ли ты, в каком я был исступлении, когда, выдвинув в седьмой раз с присущей отчаянию невнимательностью ящик своего письменного стола, я заметил, что к боковой доске прилипла, коварно притаившись, чистая, блестящая, светлая, как восходящая звезда, прелестная и благородная монета в сто су. Не требуя от нее никаких оправданий по поводу ее молчания и жестокости, в которых была она повинна, прячась от меня, я поцеловал ее, как верного в беде друга, и приветствовал криком, которому ответило эхо. Но тут, быстро обернувшись, я увидал совершенно побледневшую Полину.

— Я боялась, — сказала она взволнованным голосом, — что вы себя поранили... Посыльный...

Она замолчала, точно задыхаясь.

— Но мама ему заплатила, — добавила она. И затем она убежала, ребячливая и игривая, как каприз. Бедняжка! Я пожелал ей своего счастья. В это мгновение мне казалось, что у меня в душе все земные радости, я хотел вернуть несчастным ту долю, которую, как мне казалось, я у них похитил.

Мы редко ошибаемся, предчувствуя беду: графиня, действительно, отослала свою карету. По одному из тех капризов, в которых хорошенькие женщины сами не отдают себе отчета, она пожелала отправиться в Ботанический сад по бульварам и пешком.

— Но будет дождь, — сказал я ей.

Она нашла удовольствие в том, чтобы мне противоречить. Действительно, когда мы гуляли по Люксембургскому саду, погода стояла хорошая. Но когда мы шли оттуда, из огромной тучи, за которой я следил с беспокойством, упало несколько капель, и мы взяли фиакр. Как только мы доехали до бульваров, дождь перестал, небо прояснилось. Подъехав к музею, я хотел отпустить карету; Федора попросила оставить ее за собой. Что за мучение! Но болтать с ней, стараясь подавить тайное неистовство, которое, без сомнения, обозначалось на моем лице глупой и неподвижной улыбкой, бродить с нею в Ботаническом саду, проходить по тенистым аллеям и чувствовать, что ее рука опирается на мою,— во всем этом было нечто фантастическое; то был сон наяву. Однако, шла ли она или останавливалась, в ее движениях не было ничего ни нежного, ни любовного, несмотря на их внешнее сладострастие. Когда мне хотелось, некоторым образом, слиться с течением ее жизни, я встречал в ней внутреннее и тайное противодей-



ствие, что-то дергавшееся и эксцентрическое. У женщин без души нет мягкости в движениях. Оттого мы не могли ни объединиться в единой воле, ни идти в ногу. Не существует слов для определения подобного материального разногласия двух существ, потому что мы еще не привыкли различать мысль в движении. Такое явление нашей природы чувствуется инстинктивно, его не выразишь.

— Во время этих жестоких пароксизмов страсти, — продолжал Рафаэль, после минутного молчания и как бы отвечая на возражение, которое сделал самому себе, — я не расчленял своих чувств, не анализировал наслаждений и не считал биений сердца, как считает свои червонцы скупец, который рассматривает их и взвешивает. О нет! Но опыт теперь бросает свой печальный свет на прошлые события, и воспоминание приносит мне эти образы, как в хорошую погоду море постепенно выбрасывает на берег обломки затонувшего корабля.

— Вы можете оказать мне довольно важную услугу, — сказала графиня, смущенно глядя на меня. — Признавшись вам в своей антипатии к любви, я чувствую, что могу свободнее просить вас об одолжении во имя дружбы. Не правда ли, — продолжала она смеясь, — ваша заслуга будет гораздо больше, если вы окажете мне теперь свое содействие?

Я с тоской поглядел на нее. Моя близость не вызывала в ней никаких ощущений, она просто хитрила, не испытывая ни малейшего влечения; мне показалось, будто она играет свою роль, как завзятая актриса; по временам звук ее голоса, взгляд или слово будили во мне надежду; но если в такие мгновения воскресавшая любовь и отражалась в моих взорах, то Федора выдерживала их лучи; глаза ее не теряли своей ясности; они у нее, как у тигра, казалось были на металлической подкладке. В эти мгновения я ее ненавидел.

— Протекция герцога де Наварен, — продолжала она льстивым голоском, — будет весьма полезна для меня у одной всемогущей в России особы, чье ходатайство мне необходимо, чтобы добиться справедливости в деле, от которого зависят и мое состояние и мое положение в обществе, в деле признания моего брака императором. Ведь герцог де Наварен приходится вам кузеном. Его письмо решило бы всё.

— Я к вашим услугам, приказывайте, — отвечал я.

— Вы очень любезны, — сказала она, пожимая мне руку. — Поедемте ко мне обедать, и я расскажу вам все, как духовнику.

Итак, эта женщина, столь недоверчивая и скрытная, от которой никто ни слова не слышал о ее делах, хотела посоветоваться со мной.

— О, как я благословляю теперь то, что вы заставили меня молчать! — воскликнул я. — Но я желал бы подвергнуться еще более сильному испытанию.

В это мгновение она выдержала мой страстный взор и не отвергла моего восторга,— значит она любила меня. Мы приехали к ней. К великому счастью, на дне моего кошелька нашлось чем заплатить извозчику. Я великолепно провел у нее день, провел его наедине с нею. В первый еще раз я видел ее при таких обстоятельствах. До тех пор свет со своей стеснительной вежливостью и холодными обычаями всегда разделял нас, даже во время ее роскошных обедов; но тут

я чувствовал себя с нею, как если бы жил под одной кровлей; в известном смысле я обладал ею. Мое непоседливое воображение разрывало путы, устраивало обстоятельства по моему желанию и повергало меня в восторги счастливой любви. Воображая себя ее мужем, я восхищался ею в ничтожных мелочах; я ощущал счастье, даже глядя, как она снимает шаль и шляпу. Она оставила меня на минуту одного и воротилась, оправив волосы, прелестной, как никогда. Ради меня надела она свое очаровательное платье. За обедом она была ко мне необыкновенно внимательна и обнаруживала бесконечную прелесть в тысяче мелочей, которые кажутся ничтожными и составляют, однако, полжизни. Когда мы расположились вдвоем у потрескивающего камина, сидя на полу, окруженные самыми желанными произведениями восточной роскоши, когда я увидел так близко подле себя эту женщину, чья прославленная красота заставляла биться столько сердец, эту непобедимую женщину, беседовавшую со мной и обращавшую на меня всё свое кокетство,— мое сладострастное блаженство перешло почти в страдание. На свое несчастье, я вспомнил о важной сделке, которую мне предстояло заключить, и вздумал идти на условленное накануне свидание.

— Как? Уже! — сказала она, видя, что я берусь за шляпу.

Она меня любила. Я, по крайней мере, тому поверил, услышав, как ласково произнесла она эти слова. Чтоб продолжить свое блаженство, я охотно отдал бы два года жизни за каждый час, который она согласилась бы мне подарить. Мое счастие увеличилось на всю сумму, которую я терял. Была полночь, когда она меня отпустила. Тем не менее, на следующий день я упрекал себя за этот героизм, опасаясь лишиться заказа мемуаров, ставшего для меня столь важным; я бросился к Растиньяку, и мы поспешили, чтоб застать еще в постели, названного автора моих будущих трудов. Господин Фино прочел мне небольшое условие, где не упоминалось имени моей тетки; я его подписал, и он отсчитал мне пятьдесят экю. Мы позавтракали втроем. Когда я расплатился за новую шляпу, взял шестьдесят ярлыков на обеды по тридцать су и уплатил долги, у меня осталось только тридцать франков; но все житейские затруднения были устранены на несколько дней. Если б я послушался Растиньяка, то мог бы обладать сокровищем, откровенно прибегнув к английской системе. А именно, он хотел устроить для меня кредит и заставить меня делать долги, утверждая, что долги поддерживают кредит. По его мнению, будущее было самым крупным и солидным из всех капиталов в мире. Под залог будущих благ, он рекомендовал меня своему портному, превеликому искуснику, который мог понять, что такое «молодой человек», и не должен был беспокоить меня до женитьбы. С того дня я простился с монастырской и трудолюбивой жизнью, которую вел в течение трех лет. Я стал весьма усердно посещать Федору, где старался своими повадками превзойти наглецов или героев котерии, которые там бывали. Думая, что навсегда избавился от нужды, я вновь обрел свободу духа, затмил соперников и прослыл за человека обольстительного, очаровательного, неотразимого. Однако смышленые люди говорили обо мне: «У такого остроумного человека страсти могут быть только в голове». Они человеколюбиво выхваляли мой ум в ущерб моей чув-

ствительности. «Как он счастлив, что не влюблен! — восклицали они.— Влюбись он, не быть ему ни таким веселым, ни задорным!» А между тем я был глуп, как влюбленный, в присутствии Федоры. Наедине с нею я не знал, что сказать, а если говорил, то смеялся над любовью; я был скорбно весел, как придворный, желающий скрыть жестокую обиду. Наконец, я старался стать необходимым для ее жизни, для ее счастья, для ее тщеславия; я был ее постоянным рабом, непременной игрушкой, готовой к ее услугам. Растратив таким образом день, я возвращался домой, чтоб работать ночью, и спал всего два-три часа по утрам. Но не имея, подобно Растиньяку, привычки к английской системе, я вскоре очутился без единого су. С тех пор, милый друг, в качестве фата без любовных успехов, франта без денег и анонимного влюбленного, я впал снова в положение перебивающегося человека, в холодную и глубокую нужду, тщательно скрытую под обманчивой наружностью роскоши. Вновь почувствовал я прежние мучения, но они уже не были так остры; без сомнения, я попривык к их страшным кризисам. Порою пирожные и чай, столь скупо предлагаемые в салонах, были единственным моим пропитанием. Роскошные обеды графини зачастую насыщали меня на два дня.

Я тратил всё свое время, все свои силы и изощренную наблюдательность на то, чтоб проникнуть глубже в непроницаемый характер Федоры. До тех пор я видел в ней попеременно то самую любящую, то самую бесчувственную из всех женщин, смотря по тому, надежда ли или отчаяние руководили моим мнением; но такие чередования радости и печали стали непереносимы; мне хотелось покончить с этой ужасной борьбой, умертвив любовь. Порой в моей душе вспыхивали зловещие огоньки, и я усматривал пропасть между нами. Графиня оправдывала все мои опасения; мне не удавалось подметить и слезинки в ее глазах. В театре даже трогательная сцена оставляла ее холодной и насмешливой. Она хранила для себя всю изощренность своего ума и не понимала ни счастья, ни несчастья других. Словом, она провела меня. Обрадованный тем, что могу принести жертву ради нее, я почти что унизился, отправляясь навестить своего родственника, герцога де Наварен, человека себялюбивого, стыдившегося моей бедности; он сделал мне слишком много зла, чтоб не ненавидеть меня, а потому он принял меня с той холодной вежливостью, которая придает жестам и словам оскорбительный оттенок; его беспокойный взгляд возбудил во мне жалость. Я устыдился за него, видя, как он мелочен посреди такого великолепия и ничтожен посреди такой роскоши. Он заговорил со мной о том, что понес значительные убытки на трехпроцентной ренте. Тогда я объяснил ему причину своего прихода. Перемена в его обращении, которое из ледяного мало-помалу превратилось в приветливое, вызвала во мне чувство гадливости. И что же, друг мой, он поспешил к графине, он затер меня.

Федора нашла и для него привороты, и неведомые чары; она пленила его, и без меня устроила то таинственное дело, о котором я не узнал ни слова: я был для нее простым орудием... Она, казалось, более не замечала меня, когда мой кузен бывал у нее, и принимала мои посещения, быть может, с меньшим удо-

вольствием, чем в тот день, когда я был ей представлен. Раз вечером она унизила меня перед герцогом одним из тех жестов и взглядов, которых не в силах передать словом. Я вышел со слезами, строя тысячи планов мщения, придумывая ужасающие акты насилия.

Часто я сопровождал Федору в Опера-Буфф; там, подле нее, весь во власти своей любви, я созерцал ее, предаваясь чарам музыки и истощая душу в двойном наслаждении, состоявшем в том, чтоб любить и отыскивать в музыкальных фразах искусное отображение своих сердечных переживаний. Моя страсть была в воздухе, на сцене; торжествовала всюду, только не над моей возлюбленной. Я брал тогда Федору за руку, изучал ее черты и глаза, добивался слияния наших чувств, той внезапной гармонии, которая, под влиянием музыки, заставляет дрожать в унисон души; но ее рука была нема и глаза ничего не говорили. Когда жар моего сердца, отраженный всеми моими чертами, слишком сильно обжигал ей лицо, она отвечала мне притворной улыбкой, условной фразой, воспроизводимой на устах всех портретов, которые выставляют в Салоне. Она не слушала музыки. Божественные страницы Россини, Чимарозы [1] и Цингарели не напоминали ей никакого чувства, не воспроизводили никаких поэтических минут ее жизни; душа ее была пустыней. Федора выставляла себя тут напоказ, как зрелище посреди зрелища. Ее лорнет беспрерывно бродил по ложам; тревожась в душе, но внешне спокойная, она была жертвой моды; ее ложа, ее шляпка, ее карета, ее особа были для нее всё. Часто встречаются люди колоссального сложения, но у них в теле из бронзы скрывается нежное и чувствительное сердце; у нее же под хрупкой и прелестной оболочкой таилось бронзовое сердце. Мои роковые познания разрывали немало покровов. Если хороший тон состоит в том, чтобы забывать о себе ради других, сохранять в голосе и жестах постоянную ласковость и нравиться другим, вызывая в них довольство собою, то Федора, несмотря на всю свою изощренность, не могла вполне скрыть признаков плебейского происхождения: ее альтруизм был лукавством; ее манеры не были врожденными, но привиты путем усилий; наконец, ее вежливость отзывалась холопством. И что же, медовые слова графини казались ее любимцам выражением доброты, ее притязательная претенциозность — благородным энтузиазмом. Я один изучил ее ужимки; я снял с ее внутреннего существа ту тонкую скорлупу, которой довольствуется свет; ее лицемерие было не в силах меня обмануть; я до глубины постиг ее кошачью душу. Когда какой-нибудь простак восхвалял ее или говорил любезности, я за нее стыдился. И всё-таки я ее любил. Я надеялся, что ее лед растает под крылышком любви поэта. Если бы мне удалось возбудить в ее сердце нежность, присущую женщинам, если бы я мог внушить ей благородную самоотверженность, то она стала бы для меня совершенством, превратилась бы в ангела. Я любил ее, как мужчина, как влюбленный, как художник, а для того, чтобы обладать ею, следовало не любить ее; напыщенный фат или холодный,

[1] *«Pria che spunti»* («Еще заря не настанет») — ария из оперы Доменико Чимарозы «Тайный брак».

расчетливый человек, быть может, и восторжествовали бы над нею. Кичливая, склонная ко всяким козням, она, без сомнения, вняла бы голосу тщеславия, позволила бы запутать себя в сетях интриги; над ней бы властвовал сухой и ледяной мужчина. Едкая боль глубоко впивалась в мою душу, когда Федора обнаруживала передо мной свой эгоизм. Я с горестью предвидел, что она когда-нибудь очутится в жизни одинокой, не имея кому протянуть руку, не встречая дружеских глаз, в которые могла бы заглянуть. Раз вечером у меня хватило смелости в живых красках изобразить ей ее пустую, одинокую и печальную старость. На это описание ужасной мести обманутой природы Федора ответила мне страшными словами.

— У меня всегда будут деньги, — сказала она; — а при помощи золота мы всегда можем создать вокруг себя чувства, необходимые для нашего благополучия.

Я ушел, ошеломленный логикой этой роскоши, этой женщины, этого общества, порицая себя за то, что так глупо им поклонялся. Если я не любил нищей Полины, то разве богатая Федора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть — непогрешимый судья, пока мы не убьем ее.

«Федора, — кричал во мне какой-то софистический голос, — никого не любит и никого не отвергает; она свободна теперь, но когда-то отдалась за деньги. Был ли русский граф ее любовником или мужем, но он обладал ею. В ее жизни еще настанет час соблазна. Подстерегай его».

Ни добродетельная, ни порочная, жила она вдали от человечества, в своей особой сфере, в раю или в аду. Эта женщина-загадка, окутанная кашемиром и вышивками, пробуждала в моем сердце все человеческие чувства: гордость, честолюбие, любовь, любопытство.

По какому-то капризу моды или в силу преследующей всех нас страсти казаться оригинальными, появилась мания восхищаться маленьким бульварным театром. Графиня выразила желание посмотреть на напудренную рожу одного актера, которым восторгались умники, и мне предложена была честь сопровождать ее на первое представление какого-то дрянного фарса. Ложа стоила всего сто су, но у меня не было и паршивого лиара. Мне оставалось написать еще полтома мемуаров и не хотелось выпрашивать вперед у Фино, а Растиньяка, моего провидения, не было в городе. Постоянная нужда отравляла мне жизнь.

Как-то, выходя из Опера-Буфф при проливном дожде, Федора приказала нанять для меня карету, причем я никак не мог отделаться от такой показной услужливости; она не хотела и слушать моих отговорок: ни того, что я люблю дождь, ни того, что хочу идти играть. Она не догадывалась о моем безденежье ни по моему замешательству, ни по моим печальным шуткам. У меня глаза налились кровью; но разве она была способна разбирать взгляды? Да, жизнь молодых людей подвержена странным капризам! По дороге, с каждым оборотом колес, во мне пробуждались мысли, сжигавшие мое сердце; я пытался оторвать доску в полу кареты, надеясь соскользнуть на мостовую, но, встретив непреоборимые препятствия, захохотал конвульсивно и погрузился в угрюмое и отупелое спокойствие, как преступник, на которого напялили железный ошейник.

При первых словах, которые я пролепетал по приезде домой, Полина прервала меня и сказала:

— Если у вас нет мелочи...

О, вся музыка Россини не стоила этих слов!..

Но вернемся к театру Фюнамбюль. Чтобы отправиться туда с графиней, я решил заложить золотую рамочку с портрета матери. Хотя ссудная казна в моем воображении всегда представлялась мне преддверием каторги, всё же лучше снести туда даже свою постель, чем просить милостыню. Взгляд того, у кого приходится просить денег, причиняет такую боль!.. Некоторые займы лишают нас чести, как некоторые отказы из приятельских уст отнимают у нас последнюю надежду. Полина работала; ее мать уже легла спать. Бросив беглый взгляд на постель, полог которой был слегка отдернут, я увидел в тени на подушке спокойный и желтый профиль г-жи Годен, погруженной, как мне показалось, в глубокий сон.

— Вы опечалены? — сказала мне Полина, кладя кисть на палитру.

— Милое дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу, — отвечал я ей.

Она взглянула на меня с таким счастливым выражением, что я вздрогнул.

«Не влюблена ли она в меня?» — подумал я.

— Полина!.. — продолжал я и подсел поближе, чтоб лучше наблюдать за нею.

Она угадала мои мысли по пытливому тону голоса и опустила глаза. Я глядел на нее, уверенный, что могу читать в ее сердце, как в своем собственном: до того ее лицо было наивно и непорочно.

— Вы меня любите? — спросил я ее.

— Немного... страстно... нисколько!.. — вскричала Полина.

Она меня не любила. Ее насмешливый тон и прелесть невольно вырвавшегося жеста обнаруживали только зыбкую благодарность молодой девушки. Тогда я признался ей в своем безденежье, в том затруднительном положении, в котором находился, и попросил ее выручить меня.

— Как, г-н Рафаэль, — сказала она, — вы сами не хотите идти в ссудную кассу, а меня посылаете?

Я покраснел, пристыженный логикой ребенка. Она взяла меня тогда за руку, как бы желая вознаградить лаской за суровость своего восклицания.

— О, я охотно сходила бы, — сказала она, — только не к чему. Сегодня утром я нашла две монеты по сто су, которые каким-то образом завалились между стеной и спинкой фортепьяно. Я положила их к вам на стол.

— Вы скоро должны получить деньги, г-н Рафаэль, — сказала ее добрая мать, выглядывая из-за полога. — Я могу дать вам взаймы несколько экю.

— О Полина, — вскричал я, пожимая ей руку, — хотел бы я быть богатым!

— Э, к чему? — сказала она строптиво.

Ее рука дрожала в моей и отвечала всем биениям моего сердца. Полина быстро выдернула пальцы и стала рассматривать мою ладонь.

— Вы женитесь на богатой, — сказала она, — но эта женщина принесет вам много горя... Ох, боже мой! — она вас убьет, я в том уверена.

В ее крике был отголосок бестолковых предрассудков ее матери.

— Вы слишком суеверны, Полина!

— О, конечно, — сказала она, с ужасом глядя на меня, — женщина, которую вы полюбите, убьет вас!

Сильно и заметно волнуясь, взялась она за кисть, обмакнула ее в краски и уже больше не глядела на меня. В это мгновение мне очень хотелось самому верить во всякие химеры. Человек суеверный никогда не бывает вполне несчастен. Суеверие — та же надежда. Войдя в комнату, я в самом деле увидел два благороднейших экю, присутствие которых казалось мне необъяснимым. Обуреваемый смутными мыслями, сопровождающими первый сон, я старался проверить расходы, чтоб объяснить эту неожиданную находку, но заснул, запутавшись в бесполезных счетах. На следующее утро Полина зашла ко мне как раз в ту минуту, как я собирался идти за ложей.

— Вам, быть может, мало ваших десяти франков, — сказала мне, краснея, добрая и милая девушка, — матушка поручила мне передать вам эти деньги. Возьмите, возьмите!

Она бросила три экю на стол и хотела было убежать, но я удержал ее. Восторг высушил выступившие у меня слезы.

— Полина, — сказал я ей, — вы ангел! Эти деньги умиляют меня меньше, чем стыдливость, с которой вы мне их предлагаете. Я мечтал о богатой, изящной, титулованной супруге; ах, теперь я желаю владеть миллионами и встретить девушку, бедную, как вы, и с сердцем богатым, как ваше; я отказался бы от роковой страсти, которая меня убьет. Быть может, вы окажетесь правы.

— Довольно! — сказала Полина.

Она убежала, и ее соловьиный голосок, ее свежие рулады послышались на лестнице.

«Как она счастлива, что еще не знает любви!» — сказал я про себя, думая о пытках, которые испытывал уже столько месяцев.

Пятнадцать франков Полины оказались для меня весьма ценными. Федора, предвидя запах черни в зале, где нам предстояло пробыть несколько часов, пожалела, что у нее нет букета; я бросился за цветами и поднес ей свою жизнь и свое состояние. Я одновременно чувствовал и наслаждение, и укоры совести, подавая ей букет, цена которого убедила меня, как разорительна поверхностная учтивость в свете. Вскоре она стала жаловаться на несколько сильный запах мексиканского жасмина, ей было противно смотреть на зал, сидеть на жестких скамьях; она упрекнула меня за то, что я завез ее сюда. Хотя она была подле меня, ей захотелось уехать, и она уехала. Подвергнуть себя бессонным ночам, истратить свое двухмесячное содержание и... не заслужить благоволения! Никогда еще этот демон не был ни так прелестен, ни так бесчувствен. Дорогой, сидя подле нее в тесной карете, я вдыхал ее дыхание, прикасался к ее раздушенной перчатке, явственно видел сокровища ее красоты, чувствовал запах, сладкий как ирис, чувствовал всю женщину и никакой женщины. В это мгновение проблеск света дозволил мне увидеть глубины этой таинственной жизни. Я вдруг

вспомнил о книге[1], недавно обнародованной поэтом, истинном художественном замысле, некогда вложенном Поликлетом в свою статую. Мне казалось, будто я вижу это чудовище, которое то в образе офицера укрощает бешеную лошадь, то в образе молодой девушки садится за туалет и приводит в отчаяние всех своих возлюбленных, то в образе возлюбленного приводит в отчаяние скромную и кроткую девушку. Не умея иначе разгадать Федору, я рассказал ей эту фантастическую историю; но она ничем не выдала своего сходства с этой поэзией невозможного и искренне позабавилась ею, как дитя сказкой из «Тысячи и одной ночи».

«Должно быть, какая-нибудь тайна придает Федоре силу противостоять любви мужчины моих лет и прилипчивому жару этой прекрасной душевной хвори, — говорил я самому себе, возвращаясь домой. — Быть может ее, как леди Делакур, разъедает рак. Ее жизнь, без сомнения, жизнь искусственная».

При этой мысли меня проняла дрожь. Затем я составил план, самый сумасбродный и в то же время самый разумный, какой только может прийти в, голову влюбленному. Чтоб исследовать эту женщину в телесном отношении, как я изучал ее в духовном, словом, чтобы знать ее всю, я решился провести целую ночь в ее спальне без ее ведома. Вот как я выполнил это предприятие, которое сжигало мою душу, как желание мести грызет сердце корсиканского монаха.

В приемные дни у Федоры собиралось слишком многочисленное общество, чтоб швейцар мог уследить за входящими и уходящими. Убедившись в том, что сумею остаться в доме, не вызвав скандала, я с нетерпением ждал ближайшего вечера у графини. Одеваясь, я, за неимением кинжала, сунул в карман английский перочинный ножичек. Если б на мне и нашли это литературное оружие, то оно не возбудило бы никакого подозрения; я же, не зная, куда меня заведет мое романическое предприятие, хотел быть вооруженным. Когда гостиные стали наполняться, я отправился в спальню, чтоб осмотреть там все, и обнаружил, что жалюзи и ставни закрыты. Это было первой удачей. Горничная могла прийти, чтоб опустить драпировки на окнах, а потому я сам распустил шнуры; я подвергался немалому риску, распоряжаясь заранее уборкой комнаты, но мне приходилось мириться с опасностями своего положения, и я успел хладнокровно взвесить их. Около полуночи я спрятался в амбразуре окна. Чтоб ног не было видно, я попробовал взобраться на плинтус панели, упершись спиной в стену и крепко уцепившись за оконную задвижку. Изучив условия равновесия и точки опоры, измерив пространство, отделявшее меня от занавесей, я наконец освоился с трудностями своего положения, так что уже не рисковал попасться, если только меня не одолеют судороги, кашель и желание чихнуть. Чтоб бесполезно не утомлять себя, я решил постоять в ожидании критического момента,

[1] *Я вдруг вспомнил о книге...* В туманных словах этой фразы Бальзак сопоставляет два произведения: 1) античную статую «Гермафродит», копия которой имеется в Лувре и которая ошибочно приписывалась Поликлету; 2) роман французского писателя Анри Латуша «Фраголетта, Неаполь и Париж в 1799 году», появившийся в 1829 г. и повествовавший о двуполом существе.

когда мне придется висеть, как пауку на паутине. Белый муар и кисея занавесей спадали передо мной крупными складками, похожими на органные трубы; я прорезал в них ножом дырочки, чтоб иметь возможность видеть все сквозь эти своеобразные бойницы. Смутно долетал до меня говор в гостиных, смех гостей, их возгласы. Этот неясный шум, это глухое движение постепенно стихали. Несколько мужчин вошли, чтоб взять шляпы, которые они оставили неподалеку от меня на комоде графини. Когда они шевелили занавеси, я вздрагивал при мысли о рассеянности, о случайностях во время таких поисков, когда люди торопятся уйти и всюду суют свой нос. Не подвергнувшись ни одному из этих несчастий, я возымел благоприятное мнение об исходе своего предприятия. Последняя шляпа была взята стариком, влюбленным в Федору, который, думая, что он один, взглянул на постель и испустил тяжелый вздох, сопроводив его каким-то довольно энергичным восклицанием. С графиней остались в будуаре по соседству со спальней всего пять-шесть близких знакомых, и она предложила им чаю. Тогда клевета, в которую еще до некоторой степени верит изверившееся общество, смешалась с эпиграммами, остроумными замечаниями, звоном чашек и ложечек. Не щадя моих соперников, Растиньяк заставлял всех хохотать своими едкими сарказмами.

— С г-ном Растиньяком не следует ссориться, — смеясь сказала графиня.

— Пожалуй, что так,— откровенно отвечал Растиньяк.— В ненависти я всегда оказывался прав. И в дружбе также,— добавил он.— Мои враги оказывают мне, может быть, такую же услугу, как и друзья. Я предпринял довольно специальное изучение современного языка и естественных приемов, которыми пользуются для того, чтобы на всё нападать или всё защищать. Министерское красноречие является общественным усовершенствованием. У кого-нибудь из ваших друзей не хватает ума — говорите о его честности и искренности. Такое-то сочинение тяжеловато — выдавайте его за добросовестную работу. Если книга дурно написана — выхваляйте ее идею. Такой-то ни во что не верит, непостоянен, всегда ускользает от вас,— ба, да он привлекателен, обаятелен, очарователен. Зайдет ли речь о ваших врагах, валите им на голову и живых и мертвых; переиначьте для них все выражения вашего лексикона и будьте столь же прозорливы, открывая их недостатки, как были ловки, выставляя достоинства своих друзей. В этом применении лорнета к нравственному воззрению и заключается тайна наших разговоров и все искусство придворного. Не прибегать к этому, значит сражаться без оружия против людей, закованных в железо, как знаменные рыцари. И я употребляю это средство! А порой даже злоупотребляю им. И вот все уважают и меня и моих друзей, потому что притом и моя шпага стоит моего языка.

Один из усерднейших обожателей Федоры, молодой человек, прославившийся своим нахальством и даже сделавший из него средство успеха, поднял перчатку, столь презрительно брошенную Растиньяком. Говоря обо мне, он стал выше меры превозносить мои таланты и мою личность. Растиньяк забыл упомянуть о таком роде злословия. Эта сардоническая похвала обманула графиню,

которая безжалостно напустилась на меня; чтоб позабавить своих друзей, она воспользовалась моими тайнами, притязаниями и надеждами.

— У него есть будущность, — сказал Растиньяк. — Быть может, со временем он окажется в состоянии жестоко отомстить; его таланты по меньшей мере равняются его храбрости; а потому те, кто нападает на него, обнаруживают, по-моему, большую смелость: у него отличная память...

— Да, он даже составляет памятные записки, — сказала графиня, которой, казалось, не нравилось воцарившееся глубокое молчание.

— Памятные записки... мнимой графини, — отвечал Растиньяк. — И чтоб их написать, требуется особого рода храбрость.

— Я уверена, что у него большой запас храбрости: он верен мне, — отвечала она.

Мне ужасно хотелось вдруг явиться посреди насмешников, как тень Банко в «Макбете». Я лишался возлюбленной, но у меня был друг. Любовь, однако, нежданно подсказала мне один из тех подлых и лукавых парадоксов, при помощи которых она умеет утолять все наши страдания.

«Если Федора меня любит, — подумал я, — то разве ей не следует скрывать своей привязанности ко мне под покровом злостной шутки? Ведь сердце так часто изобличает уста во лжи».

Вскоре мой нахальный соперник, оставшись один с графиней, захотел откланяться.

— Как, уже? — сказала она таким ласковым тоном, что я вздрогнул. — Не подарите ли вы мне еще минуты? Неужели вам больше нечего сказать мне, и вы не хотите пожертвовать ради меня каким-нибудь развлечением?

Он ушел.

— Ах, — зевая вскричала она, — все они такие скучные!

И она сильно дернула за сонетку; колокольчик раздался по всем комнатам. Графиня вошла в свою спальню, напевая арию из Pria che spunti. Никогда никто не слыхал, как она поет, и это обстоятельство давало повод к странным толкам. Говорили, будто она обещала первому своему любовнику, очарованному ее талантами и ревновавшему ее даже из могилы, что она никому не доставит счастья, которое он хотел вкусить один. Я напряг все душевные силы, чтоб вобрать в себя звуки. С каждой нотой ее голос возвышался; она, казалось, воодушевлялась; обнаруживались ее вокальные сокровища, и мелодия становилась чем-то божественным. Голос графини отличался четкой ясностью и верностью тона; в нем было что-то гармоническое и вибрирующее, проникавшее в сердце, шевелившее и ласкавшее его. Музыкантши почти всегда влюбчивы. Та, которая умела петь так, умела, вероятно, и любить. Красота голоса, таким образом, прибавляла еще одну тайну к этой и без того таинственной женщине. Я видел ее тогда, как вижу тебя; она, казалось, слушала самое себя и чувствовала особое, ей одной свойственное сладострастие; она точно испытывала любовное наслаждение. Оканчивая главный мотив этого рондо, она подошла к камину; но, когда она умолкла, лицо ее изменилось, черты исказились и оно выразило

усталость. Она сняла маску; актриса окончила роль. Но эта поблеклость, навеянная актерской работой или усталостью от вечера, придавала ее красоте особую прелесть.

«Вот она в своем настоящем виде» — сказал я самому себе.

Она, точно желая погреться, поставила ногу на бронзовый брус каминной решетки, сняла перчатки, расстегнула браслеты и сняла через голову золотую цепочку, на конце которой был прикреплен флакончик для духов, украшенный драгоценными каменьями. Я испытывал несказанное удовольствие, наблюдая за всеми этими движениями, исполненными той прелести, с какою кошечки умываются на солнце. Она погляделась в зеркало и сказала вслух недовольным тоном:

— Сегодня я была нехороша... цвет лица блекнет со страшной скоростью... Мне следовало бы ложиться раньше, отказаться от рассеянной жизни. Да где же Жюстина, смеется она, что ли, надо мной?

Она позвонила еще раз; вбежала горничная. Где она помещалась, — не знаю. Она пришла по потайной лестнице. Мне было любопытно поглядеть на нее. Мое поэтическое воображение часто приписывало преступления этой невидимой служанке, этой высокой, смуглой, хорошо сложенной девушке.

— Изволили звонить?

— Два раза! — отвечала Федора. — Или ты начинаешь глохнуть?

— Я готовила для вас миндальное молоко.

Жюстина стала на колени, развязала высокие башмаки, разула свою госпожу, которая небрежно развалилась в пружинном кресле у камина, зевая и почесывая себе голову. Все ее движения были вполне естественны, и не было никаких признаков мною предполагаемых тайных болезней или страстей.

— Жорж влюблен, — сказала она, — я его рассчитаю. Он и сегодня не спустил, как следует, занавесей... О чем он думает!

При этом замечании вся кровь прилила у меня к сердцу; но больше о занавесях не было речи.

— Жизнь так пуста, — продолжала графиня. — Ах, пожалуйста, не оцарапай меня по-вчерашнему! Вот, погляди, — сказала она, показывая гладкое, как атлас, колено, — у меня след от твоих когтей.

Она обула бархатные, подбитые лебяжьим пухом туфельки и стала расстегивать платье, в то время как Жюстина искала гребенку, чтоб причесать ей волосы.

— Вам надо выйти замуж и завести детей, сударыня.

— Детей? Только их недоставало, чтобы прикончить меня! — вскричала она. — Муж? Кому из нынешних мужчин могла бы я... А к лицу мне была сегодня прическа?

— Не совсем.

— Дура!

— Вам вовсе не идут круто завитые волосы, — отвечала Жюстина. — Больше всего вам к лицу гладкая прическа с крупными буклями.

— В самом деле?

— Да, сударыня, крутая завивка идет только блондинкам.

— Выйти замуж? Нет, нет! Я не создана для такого промысла, как замужество.

Какая ужасная сцена для влюбленного! Одинокая женщина, без родственников, без друзей, атеистка в любви, не верящая ни в какое чувство. И как ни слаба была в ней потребность к сердечным излияниям, свойственная всем людям, все же она, чтобы удовлетворить ее, принуждена была болтать с горничной, говорить сухие фразы или пустяки. Мне стало ее жаль. Жюстина расшнуровала ее. Я с любопытством рассматривал Федору, когда спал последний покров. Грудь у нее была девственная, совершенно меня ослепившая; при свете восковых свечей бело-розовое тело светилось сквозь сорочку, как серебряная статуя сквозь газовый чехол. Нет, в ней не было недостатка, который приходилось бы скрывать от воровских взоров любви. Увы, прекрасное тело всегда восторжествует над самыми воинственными намерениями.

Госпожа сидела перед камином, молча и в задумчивости, в то время как горничная зажигала свечу в алебастровом фонаре, подвешенном перед постелью. Жюстина принесла грелку, приготовила постель, помогла своей госпоже улечься; наконец, по истечении довольно долгого времени, посвященного кропотливым манипуляциям, свидетельствовавшим, как глубоко Федора благоговеет перед собой, горничная ушла. Графиня несколько раз перевернулась с боку на бок; она была взволнована, она вздыхала; с ее уст срывался легкий, улавливаемый слухом шелест, доказывавший ее беспокойство; она протянула руку к столу, взяла склянку, влила в молоко, перед тем как его выпить, несколько капель снадобья, которое я не смог определить; наконец, после тяжелых вздохов, воскликнула:

— Боже мой!

Это восклицание и особенно тон, каким оно было произнесено, разбили мое сердце. Вдруг она перестала шевелиться, Я испугался, но вскоре послышалось ровное и сильное дыхание, как у спящих; я раздвинул шуршащий шелк занавесей, вышел из своей засады и остановился в ногах у кровати, глядя на Федору с неопределимым чувством. Она была восхитительна в этом положении. Рука у нее была подложена под голову, как у ребенка; ее спокойное и красивое лицо, обрамленное кружевами, выражало нежность, которая воспламенила меня. Слишком положившись на себя, я не предвидел этой пытки: быть так близко и так далеко от нее. Мне пришлось вынести все мучения, которые я сам себе уготовил. «Боже мой!» Этот обрывок неизвестной мысли, который мне суждено было унести с собой в качестве единственного разъяснения, вдруг изменил всё мое мнение о Федоре.

Это слово, ничтожное или глубокое, бессодержательное или полное реальной субстанции, могло одинаково означать и счастье, и мученье, телесную боль и скорбь. Что оно выражало: проклятие или молитву, воспоминание или будущность, сожаление или страх? В этом слове заключалась целая жизнь, жизнь в нужде или богатстве; оно, быть может, даже говорило о преступлении! Вновь возрождалась загадка, скрытая в этом прекрасном подобии женщины; Федору

можно было объяснить на столько разных ладов, что она становилась неразъяснимой. Капризы дыхания, проходившего сквозь ее уста, то слабого, то усиленного, то тяжелого, то легкого, составляли своего рода язык, к которому я прислушивался и мыслью, и чувством. Я грезил вместе с нею, я надеялся узнать ее тайны, проникнув в ее сон; я колебался между тысячами противоположных мнений, между тысячами суждений. Видя это прекрасное, спокойное и безупречное лицо, я не мог сказать, что у этой женщины нет сердца. Я решил сделать еще попытку. Рассказав ей свою жизнь, любовь, жертвы, я, быть может, мог бы пробудить в ней сострадание, вырвать у нее слезу, у нее, которая никогда не плакала. Вся моя надежда заключалась в этой попытке, но тут уличный шум возвестил мне, что наступил день.

Было мгновение, когда я представил себе Федору пробуждающейся в моих объятиях. Я мог потихоньку лечь рядом, прижаться к ней и обнять ее. Эта мысль так жестоко мучила меня, что, желая воспротивиться ей, я бросился в гостиную, не приняв никаких предосторожностей, чтоб избежать шума; по счастию, я напал на потайную дверь, выходившую на маленькую лестницу. Как я и предполагал, ключ оказался в замке; я с силой дернул дверь и смело вышел во двор; не обращая внимания на то, заметили меня или нет, я в три прыжка очутился на улице.

Спустя два дня некий автор должен был читать свою комедию у графини; я отправился туда с намереньем остаться у нее дольше всех и тогда обратиться к ней с довольно особенной просьбой. Я хотел просить ее подарить мне одному весь следующий вечер и не принимать больше никого. Когда я остался один с нею, то у меня не хватило смелости. Всякий удар маятника ужасал меня. Было двенадцать без четверти. Если я с ней не заговорю, решил я, то мне останется только разбить голову о мрамор. Я дал себе три минуты отсрочки; три минуты прошли, я не разбил головы о мрамор, и сердце у меня отяжелело, как намоченная губка.

— Вы удивительно любезны, — сказала она.

— Ах, сударыня, — отвечал я, — если б вы могли понять меня!

— Что с вами? Вы бледнеете, — заметила она.

— Я хочу просить вас о милости и колеблюсь.

Она жестом ободрила меня, и я стал просить ее о свидании.

— Охотно, — отвечала она. — Но почему бы вам не сказать этого сейчас?

— Чтобы вас не обманывать, я должен указать, как велика та милость, о которой я прошу: мне хочется провести этот вечер подле вас, как если бы мы были братом и сестрой. Не бойтесь ничего, я знаю ваши антипатии; вы имели возможность достаточно меня оценить и можете быть уверены, что ничего для вас неприятного я добиваться не стану; притом люди дерзкие поступают совсем иначе. Вы обнаружили ко мне дружеское расположение, вы добры, вы полны снисходительности. Итак, знайте, что завтра я должен проститься с вами... Не берите слова назад! — вскричал я, видя, что она готова заговорить.

Затем я исчез.

В прошлом мае, около восьми часов вечера, я был один на один с Федорой в готическом будуаре. Я не испытывал ни малейшего страха: я питал уверенность, что буду счастлив. Либо моя возлюбленная будет принадлежать мне, либо я кинусь в объятия смерти. Я осудил свою позорную любовь. Мужчина, сознаваясь в своей слабости, крепнет. Графиня в голубом кашемировом платье лежала на диване, положив ноги на подушку. Восточный берет — головной убор, который живописцы приписывают древним евреям,— придавал какую-то особенную пикантность ее красоте. На лице Федоры лежала печать зыбкого очарования, как будто доказывавшего, что каждое мгновение мы становимся новыми существами, единственными в своем роде и что между нами «в будущем» и между нами «в прошлом» нет никакого сходства. Никогда еще не казалась она мне такой блистательной.

— Знаете ли, — смеясь сказала она, — что вы раззадорили мое любопытство?

— Я и не обману его, — холодно отвечал я, беря ее за руку, которой она не отняла. — У вас прекрасный голос!

— Вы никогда меня не слыхали! — вскричала она с невольным изумлением.

— В случае надобности, я вам докажу противное. Разве ваше упоительное пение тоже тайна? Успокойтесь, я не хочу проникнуть в нее.

Мы около часу непринужденно болтали. Я принял тон, манеры и жесты человека, которому Федора ни в чем не может отказать; но я был почтителен, как влюбленный. Забавляясь таким образом, я получил позволение поцеловать ее руку; она прелестным движением сняла перчатку, и тут я с такой страстью погрузился в обманчивую надежду, в которую пытался уверовать, что душа моя растаяла, растворилась в этом поцелуе. Федора с невероятной уступчивостью позволила мне ласкать и лелеять себя.

Но не обвиняй меня в непредусмотрительности. Вздумай я на шаг преступить эту братскую ласку, я почувствовал бы кошачьи когти. Около десяти минут мы были погружены в глубокое молчание. Я восхищался ею, приписывая ей прелести, которых у нее не было. В это мгновение она была моей, только моей. Я обладал этим очаровательным созданием, насколько можно было обладать им, т. е. мысленно; я окутал ее своею страстью, обнимал ее, прижимал; мое воображение соединялось с ней браком. Я победил тогда графиню силой магнетических чар. Потому-то я всегда раскаивался, что не подчинил себе вполне этой женщины, но в ту минуту я не думал об ее теле, я жаждал души, жизни, того идеального и полного счастья, той прекрасной мечты, в которую мы недолго верим.

— Выслушайте меня,— сказал я, чувствуя, что настал последний час моего опьянения.— Я вас люблю, вы это знаете, я вам говорил о том тысячу раз, и вы должны были понять меня. Я не хотел заслужить вашу любовь ни жеманством фата, ни лестью или наглостью глупца, и тут я не был понят. Сколько горя я перенес из-за вас, и, однако, вы в нем не виновны... Но через несколько минут вы произнесете мой приговор. Есть два рода бедности, сударыня: та,

что бесстыдно, в лохмотьях расхаживает по улицам, сама того не зная подражает Диогену, питаясь крохами, до крайности упрощая жизнь; счастливая, быть может, даже счастливее богатства, или, по крайней мере, беззаботная, она берет от мира то, в чем сильные ей не позавидуют. Но есть бедность роскоши, бедность испанская, скрывающая нищенство под титулом: гордая, пыжащаяся, эта бедность в белом жилете, в желтых перчатках, разъезжает в каретах и теряет целое состояние, оттого что ей не хватает одного сантима. Первая — бедность народа; вторая — бедность плутов, королей и талантливых личностей. Я ни народ, ни король, ни плут; быть может, у меня нет и таланта; я — исключение. Мое родовое имя обязывает меня скорее умереть, чем нищенствовать. Успокойтесь, сударыня, теперь я богат, у меня есть всё, что мне требуется на земле,— сказал я, видя, что ее лицо принимает холодное выражение, которое обозначается в наших чертах, когда к нам нежданно обращаются дамы из общества, собирающие пожертвования.— Помните ли вы тот вечер, когда вы хотели поехать в театр Жимназ без меня, полагая, что я туда не отправлюсь?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я издержал последнее экю на то, чтобы видеть вас. Помните ли нашу прогулку в Ботанический сад? Я отдал всё свое состояние за карету для вас.

Я рассказал ей о своих жертвах, описал свою жизнь, но не так, как рассказываю ее тебе сегодня, опьяненный вином, а благородно опьяненный сердечными переживаниями. Страсть била через край в пламенных словах, в забытых мною с тех пор вспышках чувств, которых не воспроизвести ни искусству, ни памяти. То не был холодный рассказ об отвергнутой любви; любовь, в полной силе, во всей красоте надежд, шептала мне слова, которые освещают всю жизнь, повторяя вопли растерзанной души. Моя речь звучала, как последняя молитва умирающего на поле сражения. Она плакала. Я умолк. Великий боже! — ее слезы были плодом того искусственного волнения, которое покупается за сто су при входе в театр: мне выпал успех хорошего актера.

— Если бы я это знала, — сказала она.

— Не продолжайте! — вскричал я, — и теперь еще я настолько люблю вас, что могу убить...

Она хотела схватиться за шнурок сонетки. Я расхохотался.

— Не зовите никого, я предоставлю вам мирно окончить жизнь, — сказал я. — Убить вас, значило бы дурно понимать, что такое ненависть. Не бойтесь с моей стороны насилия: я целую ночь провел у вашей постели, не решившись...

— Как!.. — покраснев, сказала она; но после этой вспышки стыдливости, свойственной всякой женщине, даже самой бесчувственной, она бросила на меня презрительный взгляд и сказала: — Вам, вероятно, было очень холодно!

— Вы думаете, я так дорожу вашей красотой? — отвечал я, угадывая волновавшие ее мысли.— Ваше лицо сулит мне душу еще более прекрасную, чем вы

сами. О, те мужчины, которые в женщине видят только женщину, могут каждый вечер покупать одалисок, достойных сераля, и быть счастливы за дешевую цену... Я был честолюбив, я хотел жить с вами сердце в сердце, с вами, у которой нет сердца. Теперь я это знаю. Если бы вы отдались мужчине, я убил бы его. Но нет; вы полюбили бы его, и эта смерть, быть может, причинила бы вам горе... Как я страдаю! — вскричал я.

— Если вас может успокоить мое обещание, — сказала она смеясь, — то могу вас уверить, что никогда не буду никому принадлежать.

— Но вы оскорбляете самого бога и будете за то наказаны! — воскликнул я, прерывая ее. — Когда-нибудь, лежа на диване, не перенося ни шума, ни света и осужденная жить в некоем гробу, вы будете переносить неслыханные страдания. Когда вы станете отыскивать причину этих медленных и мстительных мук, то вспомните о тех несчастиях, которые вы так щедро рассыпали по дороге! Вы всюду сеяли проклятия, и взамен пожнете ненависть. Мы — собственные свои тиуны, мы — палачи при Правосудии, царствующем на земле и стоящем выше суда человеческого и ниже суда божьего.

— О,— смеясь сказал она,— я, без сомнения, ужасно преступна, оттого что не люблю вас! Но разве это моя вина? Да, я вас не люблю; вы мужчина, и с меня этого довольно. В одиночестве я чувствую себя счастливой, к чему же мне менять жизнь, скажем хотя бы и эгоистическую, на капризы властелина? Брак — таинство, при помощи которого мы только причиняем друг другу горе. Притом я не люблю детей. Разве я вас честно не предупреждала насчет своего характера? Зачем вы не довольствовались моей дружбой? Я хотела бы утешить вас за мучения, которые вам причинила, не догадавшись сосчитать ваших трехфранковиков. Весьма ценю ваши жертвы, но только одна любовь может вознаградить вас за вашу преданность, за вашу деликатность, а я вас так мало люблю, что эта сцена действует на меня неприятно.

— Я чувствую, как я смешон, извините меня, — сказал я ей с кротостью, будучи не в силах удержать слезы. — Я настолько люблю вас, — продолжал я, — что могу с наслаждением выслушать те жестокие слова, которые вы произносите. О, я хотел бы всей своей кровью засвидетельствовать свою любовь!

— Все мужчины, так или иначе, повторяют нам эти классические фразы,— возразила она, продолжая смеяться.— Но, вероятно, очень трудно умереть у наших ног, потому что я всюду натыкаюсь на такие смерти... Уже полночь, позвольте мне отдохнуть.

— И через два часа вы воскликнете: «Боже мой!» — сказал я ей.

— Третьего дня! Да, — смеясь, отвечала она, — я подумала о своем биржевом маклере; я позабыла приказать ему, чтоб он обменял пятипроцентную ренту на трехпроцентную, а днем трехпроцентные упали.

Я глядел на нее взорами, сверкавшими ненавистью. О, я понял, что порой преступление становится поэмой. Без сомнения, привыкнув к самым страстным объяснениям в любви, она уже забыла и мои слезы, и мои слова.

— Выйдете ли вы за пэра Франции? — спокойно спросил я ее.

— Быть может, если он будет вдобавок герцогом.

Я взял шляпу и поклонился.

— Позвольте вас проводить до дверей моих покоев, — сказала она с язвительной иронией в жесте, в положении головы и звуке голоса.

— Честь имею, сударыня.

— Честь имею, сударь.

— Я вас больше не увижу.

— Надеюсь, — отвечал она, дерзко кивнув головой.

— Хотите быть герцогиней? — спросил я в некоем припадке неистовства, который ее жест возбудил в моем сердце. — Вы помешаны на титулах и почестях? Что ж, позвольте мне только любить вас, прикажите моему перу говорить только о вас, моему голосу звучать только для вас, будьте тайной пружиной моей жизни, будьте моей звездой! Затем, не выходите ни за кого, кроме министра, пэра Франции, герцога. Я буду всем, чем вы только пожелаете!

— Вы не зря потратили время у своего стряпчего, — сказала она улыбаясь: — ваши речи полны жара.

— У тебя только настоящее, а у меня будущее! — вскричал я. — Я теряю только женщину, а ты имя и семью. Время чревато моей местью: тебе оно принесет безобразие и смерть в одиночестве, а мне — славу!

— Спасибо за финал вашей речи! — сказала она, удерживаясь от зевка, и всем своим существом выражая желание избавиться от меня.

Эти слова принудили меня замолчать. Я бросил на нее взгляд, полный ненависти, и убежал.

Надо было забыть Федору, излечиться от безумия, вернуться к трудолюбивому уединению или умереть. Я взвалил на себя непомерный труд: я хотел окончить свои сочинения. Полмесяца я не спускался со своего чердака и все ночи проводил в безрадостных занятиях. Несмотря на бодрость и на вдохновение, почерпнутое у отчаяния, я работал с трудом и неровно. Муза бежала. Я не мог прогнать блестящего и насмешливого призрака Федоры. Каждая моя мысль порождала другую, болезненную мысль, какое-то неведомое желание, ужасное, как упрек совести. Я подражал фиваидским анахоретам. Я не молился, как они, но, как они, жил в пустыне и, вместо того чтобы рыть скалы, рылся в своей душе. Я готов был затянуть чресла усеянным гвоздями поясом, чтобы физической болью побороть боль нравственную.

Однажды вечером Полина вошла в мою комнату.

— Вы убиваете себя, — умоляющим голосом сказала она, — вам необходимо пройтись; ступайте, повидайтесь с друзьями...

— Ах, Полина, ваше предсказание сбылось, Федора убивает меня, я хочу умереть. Жизнь мне несносна

— Разве больше нет женщин на свете? — улыбаясь, сказала она — К чему наполнять бесконечными мучениями жизнь, которая так коротка?

Тупо поглядел я на Полину. Она удалилась. Я не заметил ее ухода; я слышал ее голос, не понимая смысла ее слов. Вскоре мне пришлось отнести рукопись мемуаров к литературному предпринимателю. Весь во власти своего увлечения, я не знал, как смог прожить без денег; я знал только, что причитавшихся мне четырехсот пятидесяти франков хватит на уплату долгов. Поэтому я отправился за гонораром и повстречал Растиньяка, который нашел, что я изменился и похудел.



— Из какой ты вышел больницы? — спросил он.

— Эта женщина убивает меня, — отвечал я. — Я не могу ни презирать ее, ни забыть.

— Лучше было бы убить ее: ты, быть может, больше и не вспоминал бы о ней,— смеясь вскричал он.

— Я очень об этом подумывал, — отвечал я. — Но если я порой и освежаю свою душу мыслью о преступлении, насилии или убийстве, или об обоих вместе, то все же не чувствую себя в силах выполнить это на деле. Графиня удивительное чудище, она вымолит пощаду, и не всякому, кто хочет, дано быть Отелло.

— Она такова же, как все женщины, которыми мы не можем обладать, — сказал, прервав меня, Растиньяк.

— Я сошел с ума! — сказал я. — Чувствую, как по временам безумие воет у меня в мозгу. Мои мысли точно призраки; они пляшут передо мной, и я не могу

их схватить. Я предпочитаю смерть такой жизни. Потому-то я старательно и ищу лучшего средства покончить эту борьбу. Дело не в живой Федоре, не в Федоре из предместья Сент-Оноре, а в той, которая вот тут! — сказал я, ударяя себя по лбу. — Что ты скажешь об опиуме?

— Ба, ужасные мучения! — отвечал Растиньяк.

— А угар?

— Мерзость!

— Может быть Сена?

— Сети и морг чертовски грязны.

— А выстрел из пистолета?

— Если промахнешься, ты урод на всю жизнь! Слушай, — продолжал он, — я, как и все молодые люди, подумывал о самоубийстве. Кто из нас в тридцать лет не убивал себя два-три раза? Я нашел, что самое лучшее — истощать существование наслаждениями. Окунись в бездонное распутство, и либо ты погибнешь, либо погибнет твоя страсть. Невоздержанность, мой милый, царица всех смертей. Разве она не властвует над апоплексическим ударом? Апоплексия — пистолетный выстрел без промаха. Оргии доставляют нам всякого рода физические удовольствия; чем это не опиум, разменянный на мелкую монету? Заставляя нас беспощадно пить, разгул вызывает вино на смертный бой. Разве бочка мальвазии герцога Кларанского[1] не вкуснее сенского ила? А когда мы благородно сваливаемся под стол, то не есть ли это легкое периодическое угорание? Когда же нас подбирает патруль, то разве на холодных койках караульных будок мы не испытываем тех же удовольствий, что и в морге, за вычетом вздутых, вспученных, синих, зеленых животов и с прибавкой ощущения случившейся катастрофы? Ах! — продолжал он, — это длительное самоубийство не то, что смерть разорившегося москательщика. Торговцы обесчестили реку; они бросаются в воду, чтобы разжалобить кредиторов. На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если ты, сражаясь таким образом с жизнью, хочешь создать новый вид смерти, то я твой секундант. Я тоскую, я обманулся в своих ожиданиях. У эльзаски, которую мне сватают, оказалось шесть пальцев на левой ноге; не могу же я жить с шестипалой! Об этом узнают и поднимут меня на смех. У нее всего восемнадцать тысяч франков доходу; состояние уменьшается, а число пальцев растет. К черту! Ведя бешеную жизнь, мы, может быть, случайно наткнемся на счастье.

Растиньяк увлек меня. Этот проект заставлял сверкать слишком сильные соблазны, он снова возбуждал столько надежд; наконец, он носил на себе такой поэтический колорит, что не мог не понравиться поэту.

— А деньги? — спросил я.

— Разве у тебя нет четырехсот пятидесяти франков?

— Есть, но я должен портному, хозяйке.

[1] Герцог Кларанский, приговоренный к смертной казни в 1478 г. с правом самому выбрать род казни, будто бы просил утопить его в бочке с вином мальвазией.

— Ты платишь портному? Из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра.

— Но что же мы сделаем на двадцать луидоров?

— Пойдем в игорный дом.

Я вздрогнул.

— А, — возразил он, заметив мою брезгливость, — ты хочешь следовать тому, что я зову системой рассеянной жизни, и боишься зеленого поля!

— Послушай, я обещал отцу, что ноги моей не будет в игорном доме, — сказал я. — Это обещание не только свято для меня, но я даже испытываю непреодолимый ужас, проходя мимо игорного дома; возьми сто экю и ступай один. Пока ты будешь рисковать нашим состоянием, я приведу в порядок дела и буду ждать тебя в твоей квартире.

Вот, мой милый, как я погубил себя. Достаточно молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая полюбит чересчур, и вся его жизнь изломана. Счастье поглощает наши силы, а несчастье уничтожает наши добродетели.

Воротясь в гостиницу «Сен-Кантен», я долго смотрел на чердачок, где вел чистую жизнь ученого, жизнь, которая, может быть, была бы почтенной и долгой и которую мне не следовало менять на жизнь страстей, увлекшую меня в пропасть. Полина застала меня в меланхолическом настроении.

— Что с нами такое? — спросила она.

Я хладнокровно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним наемную плату за полгода вперед. Она посмотрела на меня с некоторого рода ужасом.

— Покидаю вас, милая Полина.

— Я догадывалась! — вскричала она.

— Послушайте, дитя мое, я не отказываюсь от мысли сюда вернуться. Оставьте за мной эту келью на полгода. Если я не ворочусь к пятнадцатому ноября, вы будете моей наследницей. Эта запечатанная рукопись, — сказал я, указывая на пакет, — копия моего большого сочинения «О воле»; вы его сдадите в Королевскую библиотеку. Всем же остальным распорядитесь, как вздумается.

Она взглянула на меня, и мне стало тяжело на сердце. Полина была живой совестью.

— Мне уж не у кого будет брать уроков, — сказала она, указывая на фортепиано.

Я не отвечал.

— Вы мне напишете?

— Прощайте, Полина.

Я тихо привлек ее к себе и по-братски, по-стариковски поцеловал ее в милый лоб, девственный, как не успевший упасть на землю снег. Она убежала. Мне не хотелось видеть г-жу Годен. Я оставил ключ на обычном месте и ушел. В конце улицы Клюни я услышал за собой легкие женские шаги.

— Я вышила вам кошелек, вы не откажетесь принять его? — спросила меня Полина.

При свете фонаря мне показалось, будто на глазах у Полины слезы; я вздохнул. Быть может, побуждаемые одной и той же мыслью, мы торопливо простились, как люди, убегающие от чумы.

Рассеянная жизнь, которой мне предстояло себя посвятить, явилась передо мной курьезно отображенная обстановкой комнаты, где я с благородной беспечностью ожидал возвращения Растаньяка. На середине каминной плиты возвышались часы с фигурой Венеры, которая сидела на корточках на своей черепахе и держала в руках наполовину выкуренную сигару. Изящная мебель, подарок любви, была расставлена как попало. Старые носки валялись на роскошном диване. Комфортабельное кресло с пружинами, в котором я развалился, носило, как старый солдат, следы рубцов; ручки у него были ободраны и в спинку, наподобие инкрустации, въелась помада и античное масло от голов всех друзей. Роскошь и нужда простодушно братались на постели, на стенах, всюду. Вы сказали бы — неаполитанский дворец с кишащими вокруг ладзарони. То была комната игрока или прохвоста, понимающего роскошь по-своему, живущего впечатлениями и не беспокоящегося о дисгармонии. Жизнь являлась в ней в своих блестках и лохмотьях, нежданная, неполная, какова она и в действительности, но живая, но причудливая, как на стоянке, где мародер тащит всё, что доставляет ему утеху. Байрон с вырванными страницами послужил для растопки камина молодому человеку, который рискует в игре тысячью франков и нуждается в полене, ездит в тильбюри и не имеет целой и годной рубашки. Назавтра графиня, актриса или экарте приносят ему королевское приданое. Тут восковая свеча была воткнута в зеленый футляр от фосфоресцирующего огнива; там валялся женский портрет, вынутый из золотой чеканной рамки. Как молодому человеку с врожденной жаждой впечатлений отказаться от чар жизни, столь богатой противоречиями и доставляющей ему удовольствия войны во время мира? Я почти заснул, как вдруг Растиньяк вышиб ногой дверь и закричал:

— Победа! Победа! Мы можем умереть, как нам хочется.

Он показал мне шляпу, полную золота, положил ее на стол, и мы стали плясать вокруг, как два каннибала, раздобывшиеся пищей; мы выли, топотали, прыгали, угощали друг друга тумаками, способными убить носорога, и пели в предвкушении всяческих развлечений, заключавшихся для нас в шляпе.

— Двадцать семь тысяч франков, — повторял Растиньяк, бросая несколько банковых билетов в кучу золота. — Другим таких денег хватило бы, чтобы прожить, — хватит ли их нам, чтобы умереть? О да, испустим дух в золотой ванне. Ура!

И мы вновь принялись скакать. Мы, как наследники, произвели раздел, монету за монетой; начинали с двойных наполеондоров, перешли от крупных к мелким и цедили свою радость по каплям, долго повторяя: «Тебе!.. Мне!..»

— К черту сон! — вскричал Растиньяк. — Жозеф, пуншу!

Он бросил золота своему верному слуге:

— Вот твоя доля! — сказал он. — Похорони себя, если можешь.

На следующий день я купил мебель у Лесажа [1], нанял на улице Тебу квартиру, где ты со мной познакомился, и поручил убрать ее лучшему обойщику. Я завел лошадей. Затем я пустился в вихрь удовольствий, одновременно и пустых, и реальных. Я играл: и то выигрывал, то проигрывал огромные суммы, но только на балах, у наших приятелей, избегая игорных домов, перед которыми сохранил первоначальный и священный ужас. Незаметно я приобрел друзей. Их привязанность возникла в связи с ссорами или с той легковесной доверчивостью, с которой мы посвящаем друг друга в свои тайны, опошляясь сообща; но, быть может, нас сближают так только наши пороки. Я отважился написать несколько литературных произведений, которые заслужили мне хвалу. Великие люди торговой литературы, не видя во мне опасного соперника, превозносили меня, без сомнения, не столько благодаря моим личным достоинствам, сколько ради того, чтоб огорчить своих товарищей. Я превратился — говоря своеобразным языком ваших оргий — в прожигателя жизни. Для меня стало вопросом самолюбия покончить с собой поскорей, превзойти самых веселых собутыльников задором и выдержкой. Я всегда был свеж и изящен. Меня считали остроумцем. Ничто во мне не обличало той страшной жизни, которая превращает человека в винную воронку, в аппарат для выделения хилуса [2], в парадную лошадь. Вскоре разгул предстал предо мною во всем величии своего ужаса, и я постиг его... Конечно, люди благоразумные и умеренные, которые наклеивают ярлычки на бутылки для своих наследников, никогда не поймут ни теории этой широкой жизни, ни ее нормальности. Разве вы внедрите поэзию провинциалам, для которых опиум и чай, доставляющие столько наслаждений, всё еще только лекарства? Даже в Париже, в этой столице мысли, разве не встречаем мы недопеченных сибаритов? Будучи не в силах перенести избытка удовольствия, не уходят ли они усталыми после оргии, как добрые буржуа, которые, прослушав новую оперу Россини, проклинают музыку? Разве они не отказываются от такой жизни, подобно осторожному человеку, который не станет больше есть рюфекских паштетов, потому что от первого у него приключилось расстройство желудка? Разгул, без сомнения, искусство, как и поэзия, и требует сильных душ. Чтобы проникнуть в его таинства, чтобы упиваться его красотами, человек должен предаться некоторого рода добросовестному изучению. Как все науки, он вначале тернист и отталкивает. Огромные препятствия окружают великие удовольствия человека; не отдельные наслаждения, но те системы, которые превращают в привычку самые редкие ощущения, резюмируют их и делают плодотворными, создавая драматическую жизнь в его жизни, требуя непомерной, быстрой растраты сил.

Война, власть и искусства суть извращения, столь же выходящие из рамок средних человеческих дарований, столь же глубокие, как и разгул, и доступ ко всем им далеко не легок. Но разве человек, достигнув этих великих

[1] Мебельный магазин *Лесажа* действительно был в Париже в 1830 г.

[2] *Хилус* — млечный сок, содержащийся в лимфатических сосудах кишок, отличающийся высоким процентом жира.

таинств, не переходит в новый мир? Полководцы, министры, художники все более или менее склонны к распущенности в силу необходимости противопоставить яркие развлечения своему существованию, слишком далекому от обиходной жизни. В конце концов, война — разгул кровожадности, а политика — разгул корысти. Все излишества — между собой братья. Эти социальные уродливости обладают притягательной силой пропастей; они завлекают нас, как остров св. Елены влек к себе Наполеона; от них кружится голова, они нас чаруют, и мы, сами не зная зачем, хотим увидеть их дно. Быть может, идея бесконечности заключается в этих пропастях; быть может, они содержат в себе нечто высоколестное для человека; не становится ли он тогда центром всеобщего внимания? В противовес раю своих рабочих часов, в противовес наслаждению творческим замыслом, утомленный художник нуждается либо в воскресном отдыхе, как господь, либо в адском сладострастии, как дьявол, дабы противопоставить работу чувств работе своих способностей. Бостон, оживленный болтовней и пленяющий рантье, не мог быть отдыхом для лорда Байрона; ему как поэту требовалось сыграть с Махмудом на Грецию. Не становится ли человек на войне ангелом-истребителем, чем-то вроде палача, но в гигантских масштабах? Не требуется ли необычайного чародейства, чтобы заставить нас выносить эти ужасные муки, являющиеся врагами нашей хрупкой оболочки, которую, как тернистая ограда, окружают страсти? Когда курильщик, злоупотребив табаком, катается в судорогах и испытывает род агонии, то разве он не присутствовал бог весть в каких областях, на восхитительных празднествах? Разве Европа, даже не потрудившись обтереть свои ноги, покрытые кровью по самую лодыжку, не начинает беспрерывно новых войн? Или личность в массе так же хмелеет, как природа при приступах любви? Для частного человека, для Мирабо, прозябающего в эпоху мирного царствования и мечтающего о бурях, разгул заменяет все; он становится непрерывными тисками всей его жизни, или, вернее сказать, единоборством с неведомой силой, с чудовищем: сначала чудовище ужасает; надо схватить его за рога, и тут предстоят неслыханные трудности. Если природа наградила вас желудком, невместительным и ленивым, вы его укрощаете, расширяете, научаетесь переносить вино, приручаете хмель, проводите ночи без сна, наконец, вырабатываете в себе темперамент кирасирского полковника, создавая себя вторично как бы в пику господу. Когда человек таким образом преобразится, когда, став старым служилым, новобранец притерпится к артиллерийскому огню, приучит ноги к походу, еще не принадлежа чудовищу, но и не зная, кто из них двух — господин, тогда они вступают между собой в схватку, то побеждают, то терпят поражения в сфере, где всё чудесно, где засыпают душевные скорби и оживают только призраки идей. Уже эта жестокая борьба стала необходимостью. Превращая в реальность те легендарные личности, которые, как говорят сказания, продавали свою душу черту, дабы приобрести право грешить, расточитель меняет смерть на все жизненные наслаждения, но изобильные, но многообещающие. Вместо того чтобы мед-

ленно течь между двумя однообразными берегами, в глубине какой-нибудь конторы или канцелярии, жизнь кипит и бежит, как поток. Наконец, разгул, без сомнения, то же для тела, что мистические восторги для души. Опьянение погружает вас в грезы, фантасмагория которых столь же любопытна, как и фантасмагория экстаза. На вашу долю выпадают восхитительные, как капризы молодой девушки, часы, прелестные беседы с друзьями, слова, рисующие целую жизнь, радости, откровенные и без задней думы, путешествия без усталости, поэмы, выраженные несколькими фразами. За животным, грубым удовлетворением, в глубине которого наука ищет душу, следует оцепенение, по коем вздыхают люди, разочаровавшиеся в разуме. Разве они не чувствуют необходимости полного покоя, и разве разгул не есть своего рода подать, которую гений платит злу? Поглядите на всех великих людей: если они не сластолюбцы, то хилы от природы. Какая-то насмешливая или ревнивая сила портит им тело или душу, дабы уравновесить действие их талантов. В хмельные часы люди и предметы являются перед вами в том одеянии, в какое вы соблаговолите их облачить. Вы тогда царь творения и преобразуете вселенную по своей воле. Посреди этого беспрерывного бреда игра вливает вам в жилы расплавленный свинец, соразмерно вашим желаниям. И вот вы в один прекрасный день во власти чудовища; тогда вы — как это было со мною — просыпаетесь в бешенстве: у вашего изголовья сидит истощение. Вы старый воин, а вас снедает воспаление легких; вы дипломат, а аневризм подвешивает на ниточке смерть к вашему сердцу; мне же, может быть, чахотка шепнет: «Пора!», как некогда сказала она Рафаэлю да Урбино, умершему от излишеств любви.

Вот как я жил. Я слишком рано или слишком поздно вступил в жизнь света; без сомнения, моя сила стала бы там опасна, если б я не умертвил ее таким образом; разве вселенная не была излечена от Александра при помощи геркулесовой чаши [1] в конце оргии! Словом, для некоторых неудачников нужны небо или ад, разгул или Сен-Бернардский монастырь. Вот только что у меня не хватило духа читать наставления этим двум особам,— сказал он, указывая на Евфрасию и Акилину.— Разве они не олицетворение моей истории, не образ моей жизни? Я не смел их осудить; они явились передо мной, как судьи.

Посреди этой живой поэмы, в разгар этой, помрачающей ум, болезни, я испытал, однако, два кризиса, исполненных жестоких мучений. Во-первых, спустя несколько дней после того, как я, подобно Сарданапалу, бросился в костер, я встретил Федору в колонном подъезде Опера-Буфф. Мы ждали экипажей.

— А! вы еще не умерли?

Эти слова сквозили в ее улыбке, в тех язвительных, не долетавших до меня фразах, которые она говорила своему чичисбею, без сомнения рассказывая ему мою историю и выставляя мою любовь как пошлость. Она восторгалась своей

[1] *Геркулесова чаша*, то есть огромная чаша вина, будто бы послужила причиной смерти Александра Македонского. Впрочем, этот анекдот опровергался уже Плутархом.

мнимой прозорливостью. О, умирать из-за нее, и всё еще обожать ее, не забывать ее посреди распутства, посреди пьянства, в объятиях куртизанок, и стать жертвой ее насмешки! Не быть в состоянии растерзать свою грудь, вырвать оттуда любовь и бросить ее к ногам Федоры.

Словом, я без труда прожил всё, что было; но три года умеренной жизни до того укрепили мое здоровье, что в тот день, когда я очутился без денег, я чувствовал себя как нельзя лучше. Чтоб продолжать свое умерщвление, я подписал краткосрочные векселя, и день платежа настал. Жестокие волнения! И как заставляют они биться молодые сердца!

Но мне еще не суждено было постареть; моя душа продолжала быть юной, полной жизни и свежей. Первый мой долг пробудил все мои добродетели, которые пришли медленной поступью и явились передо мной со скорбными ликами. Я обошелся с ними, как со старыми тетушками, которые начинают с брани, а кончают тем, что расплачутся и дадут денег. Воображение мое оказалось более сурово и нарисовало мне, как мое имя странствует из города в город по всей Европе. «Наше имя — это мы сами»,— сказал Евсебий Сальверт[1]. После разных блужданий я, как двойник немца, воротился в свою квартиру, откуда и не выходил, и внезапно разбудил самого себя.

А банковские служители, эта ходячая коммерческая совесть, все в сером, в ливрее своего господина, с серебряными бляхами! — некогда я равнодушно смотрел, как они ходят по парижским улицам; теперь же я их ненавидел задним числом. Разве как-нибудь поутру не явится один из них требовать с меня отчета в одиннадцати векселях, которые я настрочил? Моя подпись стоила три тысячи франков, но сам я этого не стоил! Пристава, лица которых беззаботны при любых катастрофах, даже перед картиной смерти, вставали передо мною, как палачи, объявляющие приговоренным: «Пробило половину четвертого». Их писцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя, загрязнить его, насмеяться над ним. Я был должником! Разве должник принадлежит самому себе? Разве другие не имели права спросить у меня отчета о моей жизни? Зачем я ел пуддинги a la chipolata? Зачем пил шампанское? Зачем спал, ходил, думал, забавлялся, не заплатив им? Писал ли я стихи, предавался ли размышлениям или завтракал, окруженный друзьями, весельем и шутками, я мог ждать, что войдет господин в каштановом фраке, с потертой шляпой в руке. Этот господин окажется моим долгом, моим векселем, призраком, который омрачит мою радость, заставит меня выйти из-за стола, чтобы переговорить с ним; он отнимет от меня веселье, любовницу, всё, вплоть до постели. Упреки совести снисходительнее; они не выгоняют нас на улицу, не сажают в Сен-Пелажи, не погружают нас в это гнусное скопище порока; они только доводят до эшафота, где палач нас облагораживает: в минуту казни все думают, что мы невинны; между тем как общество не признает за кутилой без денег ни одной доброде-

[1] Евсебий Сальверт (1771—1839) — автор книги «Исторический и философский опыт об именах людей, народов и географических названиях», вышедшей в 1824 г.

тели. Затем эти двуногие долги, в платье из зеленого сукна, в синих очках или с разноцветными зонтиками, эти воплощенные в образе человека долги, с которыми мы сталкиваемся, словом, эти милостивые государи обладают ужасной привилегией сказать: «Г-н де Валантен мне должен и не платит. Он в моих руках. Пусть только попробует встретить меня небрежно!» Приходится отвешивать поклоны кредиторам, и отвешивать приветливо. «Когда вы мне заплатите?» — спрашивают они. И мы принуждены лгать, умолять другого из-за денег, сгибаться перед болваном, сидящим на денежном сундуке, выдерживать его холодный взгляд, хуже всякой плюхи, выслушивать его баремовские нравоучения [1] и мириться с его вопиющим невежеством. Долг есть плод фантазии, а фантазий они не понимают. Душевные порывы захватывают, часто покоряют заемщика, между тем как ничто великое не покоряет, ничто великодушное не руководит теми, кто живет деньгами и ничего, кроме денег, не знает. У меня было отвращение к деньгам.

Наконец, вексель может преобразиться в старика, обремененного семейством, облепленного добродетелями. Я, быть может, был должен живой картине Грёза: паралитику, окруженному детьми, солдатской вдове, которые все будут, умоляя, простирать ко мне руки. Ужасны заимодавцы, с которыми приходится плакать и которым, даже заплатив, мы всё еще должны оказывать поддержку. Накануне истечения срока я заснул с тем мнимым спокойствием, с каким люди спят перед казнью или дуэлью; они всегда убаюкивают себя обманчивыми надеждами. Но когда, проснувшись, я обсудил все хладнокровно, когда почувствовал, что моя душа заключена в портфель банкира, занесена в список, вписана красными чернилами, мои долги запрыгали всюду, как кузнечики; они были в часах, на креслах или в инкрустациях той мебели, которой я предпочтительно пользовался. Став добычей гарпий Шатле [2], эти милые материальные невольники будут унесены судебными рассыльщиками и грубо выброшены на площадь. Ах, все отбираемые пожитки были частью меня самого! Звук колокольчика отзывался в моем сердце, он бил меня так, как надо бить королей — по голове. То было мученичество, без награды на небесах. Да, для великодушного человека долг — ад, но ад с судебными приставами и ходатаями по делам. Неуплаченный долг — низость, начало мошенничества, в еще хуже — обман. Он подготовляет вас к преступлению, он собирает доски для эшафота.

Мои векселя были опротестованы. Через три дня я заплатил по ним, и вот каким образом. Явился спекулянт и предложил продать ему принадлежавший мне остров на Луаре, где была могила моей матери. Я согласился. Подписывая запродажную у нотариуса покупщика, я почувствовал в темной конторе холод, похожий на холод гроба. Я вздрогнул, вспомнив, что такой же влажный озноб

---

[1] *Баремовские нравоучения*. Бертран Барем — счетовод XVII в., прославившийся своими учебниками по счетоводству. Прилагательное «баремовский» употреблено в смысле — мелочный.

[2] *Сен-Пелажи* и крепость *Шатле* — парижские тюрьмы.



охватил меня на краю отцовской могилы. Я счел это за дурное предзнаменование. Мне казалось, будто я слышу голос матери и вижу ее тень; не знаю под влиянием какой силы, но я смутно уловил сквозь звон колоколов свое имя. За уплатой всех долгов, от продажи острова у меня осталось две тысячи франков. Конечно, я мог снова начать мирную жизнь ученого, вернуться на свой чердак, испытав, что такое жизнь, и притом вернуться с головой, полной обширных наблюдений, и уже пользуясь некоторого рода репутацией. Но Федора не выпускала своей добычи. Мы часто сталкивались. Мой ум, мои лошади, успехи, экипажи, изумляя ее поклонников, заставляли их трубить ей в уши мое имя, Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему, даже к страшной фразе, сказанной Растиньяком: «Из-за вас он убивает себя!»

Я всему свету поручал мстить за себя, но не достиг цели. Раскапывая жизнь до илистого слоя, я все более и более чувствовал прелесть взаимной любви, я преследовал ее призраки посреди случайностей своего распутства, посреди оргий. На мое несчастье, я был обманут в лучших своих надеждах; за благодеяние мне заплатили неблагодарностью, за проступки вознаградили тысячью удовольствий. Философия мрачная, но убедительная для распутника! Наконец, Федора передала мне проказу своего тщеславия. Заглядывая в глубь собственной души, я увидел, что она поражена гангреной, что она гниет. Демон оставил

след своего когтя на моем челе. Впредь я уже не мог обойтись без постоянных содроганий жизни, ежеминутно подверженной риску, без мерзостных утонченностей роскоши. Будь я миллионером, я продолжал бы играть, распутничать, чревоугодничать. Я не хотел более оставаться наедине с самим собою. Чтобы забыться, мне нужны были куртизанки, мнимые друзья, вино, вкусный стол. Узы, привязывающие человека к семье, были во мне разбиты навсегда. Каторжник, приговоренный к наслаждениям, должен был пройти до конца роковой путь самоубийцы. В течение последних дней моего благосостояния я каждый вечер прибегал к невероятным излишествам; но каждое утро смерть снова толкала меня к жизни. Подобно человеку, обладающему пожизненным доходом, я мог спокойно отнестись к пожару. Наконец, у меня осталась всего двадцатифранковая монета, я вспомнил о счастье Растиньяка и...

— Э, э! — вскричал Рафаэль, вдруг вспомнив о талисмане и вытаскивая его из кармана.

Потому ли, что, утомленный борьбой этого длинного дня, он не мог управлять своим умом в волнах вина и пунша, потому ли, что, приведенный в отчаяние картиной своей жизни, он незаметно был опьянен потоком собственных слов, но Рафаэль воодушевился и пришел в возбужденное состояние, как человек, окончательно лишенный рассудка.

— К черту смерть! — вскричал он, потрясая кожей. — Теперь я хочу жить! Я богат, я обладаю всеми добродетелями. Ничто не устоит передо мной. Кто не станет добрым, раз он всесилен? Эй, эй, эге! Я мечтал о двухстах тысячах ливров дохода, и они у меня будут. Приветствуйте меня, свиньи, валяющиеся на коврах, как на навозе! Вы принадлежите мне. Дивная собственность! Я богат, я могу вас всех купить, даже того депутата, что храпит. Ну, благословляй же меня, сволочь высшего общества! Я — папа!

До этого момента непрерывный бас храпа заглушал восклицания Рафаэля, но тут внезапно их услышали. Большинство спящих проснулось с криком; они увидели, что буян плохо держится на ногах, и целый оркестр ругательств загремел по адресу его шумливого хмеля.

— Молчать! — закричал Рафаэль.— По конурам, собаки! Эмиль, я богач, я подарю тебе гаванских сигар.

— Понимаю, — отвечал поэт. — Федора или смерть! Продолжай! Эта сладчайшая Федора надула тебя. Все женщины — дочери Евы. В твоей истории нет ничего драматического.

— А, ты спал, притворщик!

— Нет, Федора или смерть... я слышу.

— Проснись! — вскричал Рафаэль, ударяя Эмиля Шагреневой Кожей, точно хотел извлечь из нее электрический ток.

— Ах ты! — сказал Эмиль, вставая и беря Рафаэля в обхват. — Вспомни, дружок, что ты в обществе женщин дурного поведения.

— Я миллионер!

— Если и не миллионер, то во всяком случае пьян.

— Я пьян от власти. Я могу тебя убить! Молчать! Я Нерон, я Навуходоносор!

— Послушай, Рафаэль, мы в скверной компании, и тебе следовало бы помолчать из уважения к самому себе.

— Моя жизнь была слишком долгим молчанием. Теперь я отомщу всему миру. Я не стану забавляться расточением презренных экю, я буду подражать нашей эпохе, олицетворю ее в сжатом виде, пожирая человеческие жизни и умы и души. Вот это уж не дешевая роскошь; это расточительность чумы. Я стану бороться с желтой, голубой и зеленой лихорадкой, с целыми армиями, с эшафотами. Я могу обладать Федорой. Но нет, я не хочу Федоры; это моя болезнь, я умираю от Федоры! Я хочу забыть Федору.

— Если ты не перестанешь кричать, я перетащу тебя в столовую.

— Видишь ты эту Кожу? Это завещание Соломона. Он принадлежит мне, этот царек Соломон — школярская швабра. Аравия — моя, вдобавок и Аравия Каменистая. Вселенная! — она — моя. Захочу, ты будешь моим. Эй, берегись, чтоб я не захотел! Я могу купить всю твою стихотворную лавочку, и ты станешь моим лакеем. Ты будешь строчить для меня куплеты, линовать бумагу. Лакей! Лакей — это значит: здоровый человек, потому что он ни о чем не думает.

При этих словах Эмиль унес Рафаэля в столовую.

— Ну, да, друг мой, — сказал он ему, — я твоей лакей. Ты будешь главным редактором газеты; молчи же! — будь приличен из уважения ко мне! Ты меня любишь?..

— Люблю ли я тебя?.. Ты будешь курить гаванские сигары благодаря этой Коже. Всюду Кожа, друг мой; всемогущая Кожа! Отличное средство; могу вылечивать от мозолей. Есть у тебя мозоли? Я тебе их сниму.

— Никогда я не видал тебя таким дураком.

— Дураком, дружок? Нет! Эта Кожа сжимается, когда я чего-нибудь хочу... это антифраза. Брамин, — потому что тут замешался брамин! — ну, так брамин был шутником, потому что желания, видишь ли, должны растягивать...

— Ну, ладно, согласен.

— Говорю тебе...

— Да, всё это правда, я с тобой согласен. Желание растягивает...

— Говорю тебе, Кожа!

— Да.

— Ты мне не веришь. Я тебя знаю, дружок; ты лжешь, как новый король.

— Да разве я могу уразуметь твои пьяные бредни?

— Держу пари; могу тебе доказать. Снимем мерку!

— Ах, он не угомонится, — вскричал Эмиль, видя, что Рафаэль рыщет по столовой.

С обезьяньей ловкостью, порожденной тем странным прозрением, которое порою появляется у пьяниц в противовес притуплённому хмелем мышлению, Валантен ухитрился разыскать чернильницу и салфетку, не переставая твердить:

— Снимем мерку! Снимем мерку!

— Ну ладно, снимем мерку, — отвечал Эмиль.

Друзья разостлали салфетку и разложили на ней Шагреневую Кожу. У Эмиля рука оказалась тверже, чем у Рафаэля, и он очертил чернилами края талисмана, в то время как тот говорил:

— Я ведь желал двухсот тысяч дохода, не так ли? Ну, когда я их получу, ты увидишь, что шагрень станет меньше.

— Ладно, а теперь спи. Хочешь, я уложу тебя на канапе?.. Тебе удобно?

— Да, питомец муз. Ты будешь меня забавлять, отгонять мух от моей особы. Кто нам друг в беде, тот имеет право быть нашим другом, когда мы у власти. А потому я подарю тебе га... ван... ских сиг...

— Ну, переспи свое золото, миллионер.

— А ты свои статьи. Спокойной ночи. Пожелай же спокойной ночи Навуходоносору. Любовь!.. Дай вина!.. Франция... слава и богатство... богатст...

Вскоре друзья присоединили свой храп к музыке, раздававшейся из гостиных. Бесполезный концерт. Свечи гасли одна за другой; лопались хрустальные розетки. Ночь закутала в креп эту продолжительную оргию, в которой рассказ Рафаэля был как бы оргией слов, слов без мыслей и мыслей, для которых часто не хватало выражений.

На другой день, около полудня, красавица Акилина привстала, чувствуя усталость и позевывая; на щеках у нее отпечатался рисунок от бархатной обивки пуфа, на котором лежала ее голова. Движение подруги разбудило Евфрасию, которая сразу вскочила на ноги с хриплым криком; ее хорошенькое личико, накануне такое белое и свежее, теперь было желто и бледно, как у девки, которую отправляют в больницу. Постепенно зашевелились сотрапезники, испуская мрачные стоны; ноги и руки у них были точно деревянные, тысячи разных болей удручали их при пробуждении. Слуга открыл жалюзи и окна в гостиных. Гости поднялись, вызванные к жизни горячими лучами солнца, озарившими головы спящих. Женщины во сне разрушили изящные сооружения своих причесок, смяли платья и теперь, при свете дня, представляли отвратительное зрелище; волосы у них некрасиво обвисли, выражение лица изменилось, блестящие глаза потускнели от усталости. Желчный оттенок, так ярко отражавший свет, наводил ужас; лимфатические лица, такие белые и нежные, когда они не утомлены, позеленели; уста, прежде столь восхитительные и алые, теперь были сухи и белы и носили на себе позорное клеймо пьянства.

Мужчины отрекались от своих ночных избранниц, видя их такими мертвенными, такими увядшими, как цветы, растоптанные на улице удалившейся процессией. Но эти спесивые мужчины сами были еще ужаснее. Вы вздрогнули бы, всмотревшись в человеческие лица с впалыми, обведенными синевой глазами, которые, казалось, ничего не видят, отяжелели от напитков, отупели от тревожного сна, скорее утомляющего, нежели восстанавливающего силы. Их истомленные лица, на которых плотские желания выступали без всяких прикрас, без поэзии, придаваемой им нашей душой, казались какими-то ди-

кими и невозмутимо зверскими. Это пробуждение неприкрытого и неприкрашенного порока, этот скелет Зла, оборванный, холодный, пустой и лишенный софизмов ума или очарований роскоши, устрашил этих смелых атлетов, как ни привыкли они бороться с разгулом. Художники и куртизанки хранили молчание, угрюмо глядя на беспорядок в комнате, где всё было опустошено и разгромлено пылом страстей. Вдруг поднялся сатанинский хохот, когда Тайефер, услышав глухое хрипение своих гостей, попытался приветствовать их гримасой; его потное, налившееся кровью лицо осенило эту адскую сцену образом преступления, не ведающего раскаяния. (См. «Красный кабачок»). Картина была полная. То была грязная жизнь посреди роскоши, ужасающая смесь человеческого великолепия и нужды, пробуждение разгула, после того как он выжал своими сильными руками все плоды жизни и оставил после себя только гнусные черепки или обман, в который и сам не верит. Вы сказали бы, что то улыбка Смерти посреди зачумленной семьи; не было больше ни благоуханий, ни ослепительного света, ни веселья, ни желаний, а только омерзение со своим тошнотворным запахом и своей едкой философией, только солнце, сияющее, как истина, только чистый, как добродетель, воздух, составлявший контраст с этой жаркой атмосферой, полной миазмов, миазмов оргии.

Несмотря на свою привычку к пороку, многие из этих девушек вспомнили былые пробуждения, когда, невинные и чистые, они глядели сквозь деревенские ставни, обвитые каприфолием и шиповником, на светлый пейзаж, оживленный веселым звоном жаворонка, туманно освещенный проблеском зари и украшенный фантазиями росы. Другим рисовался завтрак в кругу семьи, стол, за которым невинно смеялся отец и дети, где все дышало невыразимой прелестью и где яства были так же незатейливы, как сердца. Художник задумывался о своей мирной мастерской, о своей целомудренной статуе и хорошенькой натурщице, которая ждала его. Молодой человек вспомнил о процессе, от которого зависела участь целой семьи, и о важной сделке, требовавшей его присутствия. Ученый жалел о своем кабинете, куда его призывало благородное произведение. Почти все сокрушались о себе. В это время со смехом появился Эмиль, свежий и розовый, как самый красивый приказчик из модного магазина.

— Вы безобразнее судебных приставов! — вскричал он. — Сегодня вы непригодны ни для какого дела; день пропал, и мой совет — позавтракать.

При этих словах Тайефер вышел, чтоб распорядиться. Женщины вялой походкой побрели оправляться перед зеркалами. Все встряхнулись. Самые порочные читали нравоучения самым благоразумным. Куртизанки смеялись над теми, кто, по-видимому, не находил сил для продолжения этого тяжелого пира. В минуту эти призраки оживились, составили группы, стали задавать друг другу вопросы и улыбаться. Несколько ловких и проворных лакеев принялись расставлять мебель и наводить порядок. Был подан великолепный завтрак. Тогда гости бросились в столовую. Хотя там всё и носило неизгладимый отпечаток вчераш-

них излишеств, но все же был след существования и мысли, как в последних судорогах умирающего. Словно во время масленичного шествия, сатурналия была погребена масками, усталыми от пляски, пьяными от пьянства и пытающимися обвинить наслаждение в бессилии, чтоб не признаться себе в своем собственном. В ту минуту как неустрашимая компания села за стол капиталиста, показалось официозное лицо приятно улыбавшегося Кардо, который вчера предусмотрительно исчез после обеда, дабы окончить оргию в супружеской постели. Казалось, он предугадывал, что имеется некоторое наследство, которое надо посмаковать, разделить, внести в инвентарь, переписать набело,— наследство со множеством деловых актов, чреватое крупным гонораром и столь же сочное, как дрожащее филе, в которое амфитрион только что вонзил нож.

— О, о! Да мы будем завтракать нотариальным порядком! — вскричал де Кюрси.

— Вы явились как раз вовремя, чтоб перенумеровать и скрепить своей подписью все акты чревоугодия, — сказал ему банкир, указывая на стол.

— Может быть, тут дело не о завещании, а о свадебном контракте, — сказал ученый, женившийся впервые за год до этого и притом особенно удачно.

— Ого!

— Ага!

— Минутку внимания, — отвечал Кардо, оглушенный хором плоских шуток, — я явился сюда по серьезному делу. Одному из вас я принес шесть миллионов. (Глубокое молчание.) Позвольте узнать, — сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который бесцеремонно протирал в это время глаза салфеткой, — не была ли ваша матушка урожденной О'Флахерти?

— Да, — довольно машинально отвечал Рафаэль, — Варвара-Мария.

— Есть ли у вас метрическое свидетельство г-жи де Валантен, а также ваше? — спросил Кардо.

— Кажется, есть.

— Ну-с, сударь, в таком случае вы единственный наследник майора О'Флахерти, умершего в августе 1828 года в Калькутте.

— Это такое состояние, какого не скалькулируешь! — воскликнул критикан.

— Майор в своем завещании назначил значительные суммы в пользу некоторых общественных учреждений, а потому его наследство было вытребовано французским правительством у Ост-Индской компании, — продолжал нотариус. — Теперь оно совершенно, бесспорно, и реально. Уже около двух недель я бесплодно отыскивал наследника прав Варвары-Марии О'Флахерти, когда вчера за обедом...

В это мгновение Рафаэль внезапно встал, сделав резкое движение, как человек, которого ранили. Все точно вскрикнули молча; первым чувством гостей была глухая зависть; все глаза, разгораясь, устремились на него. Затем пронесся ропот, как в театре, когда партер сердится; поднялся и всё возрастал гул возбуждения; всякий сказал что-нибудь, чтоб приветствовать огромное состояние, возвещенное нотариусом. Быстрая угодливость Судьбы возвратила Рафаэлю

сознание, и он поспешно развернул на столе салфетку, при помощи которой перед тем снял мерку с Шагреневой Кожи. Ничего не слушая, он разложил на ней талисман и страшно вздрогнул, заметив небольшой промежуток между кожей и начерченным на салфетке контуром.

— Что с ним? — вскричал Тайефер. — Ему дешево досталось богатство.

— Поддержи его, Шатильон! — сказал Биксиу Эмилю, — он умрет от радости.

Страшная бледность выделила все мускулы увядшего лица наследника; черты осунулись, выступы лица побелели, впадины потемнели, кожа посерела и зрачки остановились. Он увидел смерть. Этот великолепный банкир, окруженный поблеклыми куртизанками, пресыщенными лицами, эта агония радости была живым образом его жизни. Рафаэль трижды посмотрел на талисман, которому было просторно в неумолимых линиях, начертанных на салфетке; он хотел было усомниться, но ясное предчувствие уничтожило сомнение. Мир принадлежал ему; он мог всё, но больше не желал ничего. Как странники в пустыне, он обладал небольшим запасом воды для утоления жажды и должен был измерять свою жизнь по числу глотков. Он видел, во сколько дней ему обойдется всякое желание. Затем он уверовал в Шагреневую Кожу, стал прислушиваться к своему дыханию, уже чувствовал себя больным и обращался к себе с вопросом: «Не чахотка ли у меня? Не от нее ли умерла моя мать?»

— Ах, Рафаэль, теперь вы повеселитесь! Что вы мне подарите? — сказала Акилина.

— Не выпить ли нам за смерть его дяди, майора Мартина О'Флахерти? Вот это был человек!

— Он будет пэром Франции.

— Ба, что значит пэр Франции после Июльской революции! — сказал критикан.

— Будет ли у тебя ложа в Опера-Буфф?

— Надеюсь, вы угостите нас всех? — оказал Биксиу.

— Такой человек, как он, делает все с размахом, — ответил на это Эмиль.

«Ура» смеющегося собрания отдавалось в ушах Валантена, но он не мог уловить смысла слова; в тумане мерещилось ему механическое существование, без всяких желаний, какого-нибудь бретонского крестьянина, окруженного детьми, обрабатывающего свое поле, питающегося гречихой, пьющего сидр прямо из кувшина, верящего в богородицу и короля, причащающегося на пасху, по воскресеньям пляшущего на зеленой лужайке и не понимающего проповедей приходского священника. Картина, представлявшаяся в эту минуту его взорам, эти панели с позолотой, эти куртизанки, этот завтрак, эта роскошь душили его и заставляли кашлять.

— Хотите спаржи? — крикнул ему банкир.

— Я ничего не хочу! — громовым голосом отвечал Рафаэль.

— Браво! — сказал Тайефер. — Вы понимаете, что такое богатство; оно патент на дерзость. Вы из наших! Господа, выпьем за могущество золота! Г-н де Валантен,

став шестикратным миллионером, берет власть в свои руки. Он король, он всемогущ, он выше всего, как все богачи. Отныне для него *все французы равны перед законом* — ложь, стоящая в заголовке Хартии. Не он будет повиноваться законам, а законы будут повиноваться ему. Для миллионеров нет ни эшафота, ни палачей!

— Да, — возразил Рафаэль, — они сами для себя палачи.

— Предрассудок! — вскричал банкир.

— Выпьем! — произнес Рафаэль, пряча талисман в карман.

— Что ты делаешь? — сказал Эмиль, хватая его за руку. — Господа, — сказал он, обращаясь к собранию, достаточно изумленному поведением Рафаэля, — знайте, что наш друг Валантен, что я говорю... господин маркиз де Валантен обладает тайной обогащения. Его желания исполняются в ту самую минуту, когда они приходят ему в голову. Чтоб не прослыть лакеем или бессердечным человеком, он должен обогатить нас всех.

— Ах, мой миленький Рафаэль, мне хочется жемчужный убор! — вскричала Евфрасия.

— Если он человек благородный, то подарит мне две кареты с отличными лошадьми, которые так и полетят, — сказала Акилина.

— Пожелайте мне сто тысяч ливров дохода!..

— Кашемиров!

— Заплатите за меня долги!

— Пошлите апоплексический удар моему сухощавому дядюшке!

— Рафаэль, за десять тысяч дохода мы с тобой квиты.

— Какая пропасть дарственных! — воскликнул нотариус.

— Он должен вылечить меня от подагры!

— Понизьте ренту! — крикнул банкир.

Все эти фразы взлетали, как огненный сноп в конце фейерверка, и бешеные пожелания гостей были, быть может, сказаны скорее всерьез, чем в шутку.

— Милый друг, — с важным видом сказал Эмиль, — я удовольствуюсь двумя тысячами ливров дохода; окажи эту любезность, не заставляй себя просить.

— Эмиль, — сказал Рафаэль, — или ты не знаешь, чего это будет мне стоить?

— Прелестное извинение! — вскричал поэт. — Разве мы не должны жертвовать собою для друзей?

— Я почти готов пожелать, чтобы вы все умерли, — ответил Рафаэль, глядя мрачным и глубоким взором на гостей.

— Умирающие ужасно жестоки, — смеясь отвечал Эмиль. — Ты теперь богат, — серьезно продолжал он: — что ж, и двух месяцев не пройдет, как ты превратишься в мерзкого эгоиста. Ты уже поглупел и не понимаешь шутки. Тебе только остается уверовать в Шагреневую Кожу.

Рафаэль, боясь насмешек гостей, умолк; он принялся пить без всякой меры и напился, чтоб забыть на минуту свою роковую власть.

АГОНИЯ

В первых числах декабря семидесятилетний старик, невзирая на дождь, шел по улице Варен, задирая голову у ворот каждого особняка и разыскивая с наивностью ребенка и сосредоточенным видом философа жилище г-на маркиза Рафаэля де Валантен. Печать жестокой печали, борющейся с деспотическим характером, была видна на этом лице, обрамленном длинными, растрепанными волосами и высохшем, как пергамент, покоробившийся от жара. Если б эта оригинальная личность, сухая и костлявая, вся в черном, попалась навстречу какому-нибудь живописцу, то он, без сомнения, воротясь в мастерскую, зарисовал бы его в своем альбоме и подписал бы под портретом: «Классический поэт в поисках рифмы». Проверив данный ему номер, этот ходячий палингенезис Ролена[1] тихо постучался у подъезда великолепного особняка.

— Дома ли господин Рафаэль? — спросил добряк у швейцара, облаченного в ливрею.

— Маркиз никого не принимает, — отвечал слуга, проглатывая огромный кусок хлеба, который он вытащил из широкой кофейной чашки.

— А карета подана, — отвечал незнакомый старик, указывая на блестящий экипаж, стоявший под деревянным навесом, обтянутым тиком и защищавшим ступеньки крыльца. — Он собирается выехать, я подожду его.

— Ах, старина, придется вам тут просидеть до завтрашнего утра, — отвечал швейцар. — Для маркиза всегда готова карета. Но, пожалуйста, уходите; я лишусь шестисот франков пожизненной пенсии, если хоть раз без приказа впущу постороннего.

В это время из прихожей появился высокий старик, походивший по костюму на министерского курьера; он быстро спустился на несколько ступенек, посматривая на изумленного просителя.

— Да вот господин Ионафан, — сказал швейцар. — Поговорите с ним.

Оба старика, влекомые друг к другу симпатией или взаимным любопытством, встретились посреди обширного переднего двора на круглой площадке, где между плитами мостовой торчало несколько пучков травы. Страшное молчание царствовало в этом доме. При взгляде на Ионафана, вам захотелось бы проникнуть в тайну, которая нависла на его лице и о которой говорили все предметы в этих мрачных палатах. Первой заботой Рафаэля по получении огромного наследства от дяди было отыскать жилище старого преданного слуги, на привязанность которого он мог положиться. Ионафан заплакал от радости, увидев снова молодого барина, с которым, казалось, он уже простился навеки, и ничего не могло сравниться с его счастьем, когда маркиз облек его высоким званием управляющего. Старый Ионафан стал посредствующей силой между Рафаэлем и всем миром. Верховный распорядитель, управлявший состоянием

[1] Ролен Шарль (1661—1741) — умерший в глубокой старости академик, автор трактатов, полных эрудиции.

своего барина, слепой исполнитель неведомой мысли, он был как бы шестым чувством, при посредстве которого житейские волнения достигали до Рафаэля.

— Мне хотелось бы поговорить с господином Рафаэлем, — сказал старик Ионафану, поднимаясь на несколько ступенек, чтоб спрятаться от дождя.

— Поговорить с маркизом! — вскричал управляющий. — Он едва удостаивает говорить со мной, со мной, который приходится ему, так сказать, молочным отцом...

— Да и я его молочный отец! — вскричал старик. — Если ваша жена вспоила его молоком, то я сам приставил его к груди муз. Он мой вскормленник, мое дитя, cams alumnus![1] Я образовал его мозг, взрастил его разум, развил его гений и смею сказать: к своей чести и славе. Разве он не один из замечательнейших людей нашего времени? Он состоял под моим руководством в шестом, в третьем и в классе риторики. Я его профессор.

— А, вы, стало быть, г-н Порике?

— Именно. Однако, сударь...

— Тс! тс! — закричал Ионафан на двух поварят, нарушавших своими голосами монастырскую тишину, в которую был погружен дом.

— Но разве, — продолжал профессор, — г-н маркиз болен?

— Нет, любезный господин мой,— отвечал Ионафан,— но только господь знает, что с моим барином. Видите ли, в Париже нет другого такого дома, как наш. Слышите, другого такого... Ей-ей, нет. Г-н маркиз приказал купить этот дом, который перед тем принадлежал герцогу и пэру. Он истратил триста тысяч франков на меблировку. Ведь это не пустяки, триста тысяч франков! Зато всякая комната в нашем доме чистое чудо. «Отлично! — сказал я, увидев такое великолепие,— тут всё, как у покойного его батюшки. Молодой маркиз будет принимать весь город и двор». Ничуть не бывало. Маркиз никого не принимает. Он ведет престранную жизнь, г-н Порике, слышите ли? — жизнь самую несуразную. Всякий день он встает в один и тот же час. Только я, я один, видите ли, могу входить в его комнату. Я отворяю дверь в семь часов как летом, так и зимой. Так уже это у нас по-особенному заведено. Войдя, я говорю ему: «Г-н маркиз, пора проснуться и одеться». Он просыпается и одевается. Я должен подать ему халат, который всегда делается одного и того же покроя и из одной и той же материи. Я обязан заменить его другим, когда он больше не годится, чтобы избавить г-на маркиза от заботы требовать новый. Ведь выдумает же! Да и в самом деле, ведь он может тратить в день тысячу франков; он делает всё, что хочет, голубчик. Притом, я так его люблю, что ударь он меня по правой щеке, я подставлю ему левую! Пусть он прикажет мне что-нибудь и потруднее: я всё сделаю, слышите ли! Впрочем, он взвалил на меня столько всяких пустяков, что у меня дела полны руки. Он читает газеты, не так ли? Приказано класть их всегда на одно и то же место, на один и тот же стол. Я являюсь также всегда в один и тот же час брить ему бороду, и рука у меня не дрожит. Повар

[1] Дорогой питомец.

потеряет тысячу экю пожизненной пенсии, которая ему назначена по смерти маркиза, если он не подаст завтрака самым несуразным образом к десяти часам. Обед заказан за год вперед на каждый день. Маркизу ничего не остается желать. У него подается клубника, как только появится клубника, и он съедает первую макрель, которую привезут в Париж. Меню напечатано, и он с утра наизусть знает, что будет есть за обедом. И вот он одевается в один и тот же час, в то же платье, в то же белье, которое я же кладу,— слышите ли! — на один и тот же стул. Мне же приходится заботиться и о том, чтобы сукно всегда было одно и то же; положим, сюртук износится; надо заменить его новым, не говоря ему ни слова. Если погода хороша, я вхожу и докладываю: «Не съездить ли вам, сударь, куда-нибудь?» Он отвечает «да» или «нет». Вздумается ему прокатиться, он лошадей ждать не станет; они всегда в запряжке; кучер самым несуразным образом сидит тут с бичом в руках, как вы видите. Вечером после обеда маркиз отправляется то в Оперу, то в Италь... впрочем, нет, он еще не был у итальянцев, я только вчера смог добыть ложу. Затем, ровно в одиннадцать он возвращается домой и ложится спать. Днем, в промежутках, когда ему нечего делать, он читает, все читает, видите ли. Вот тоже фантазия! Мне велено прочитывать до него «Библиографический листок» и покупать все новые книги, так чтобы они у него в день выпуска лежали на камине. Я получил приказание каждый час входить к нему, следить за камином, присматривать за всем, так чтобы у него ни в чем не было недостатка; он дал мне маленькую книжонку, где записаны все мои обязанности, настоящий катехизис, и велел выучить ее наизусть. Летом я должен при помощи кучи льда поддерживать прохладную температуру постоянно на одном и том же градусе и по временам ставить всюду свежие цветы. Он богат, у него тысяча франков в день на расходы; он может жить, как ему вздумается. Долго он нуждался, бедняжка, даже в самом необходимом! Никого он не тревожит, он податлив, как мякина, никогда от него слова не услышишь: нет, у нас и в доме, и в саду тишина полная. Словом, маркизу и желать больше нечего; все идет, как по мерке, и recta[1]. И он прав: если прислугу не держать в руках, всё пойдет вразброд. Я говорю ему всё, что ему следует делать, и он меня слушает. Вы не поверите, до чего он додумался. У него комнаты... как бишь это сказать... ну да, анфиладой... Так вот: предположим, он отворил дверь из своей комнаты или из кабинета; вдруг трах, все двери, по механике, отворяются сразу. Тут он может пройти по всему дому, не отворяя ни одной двери. Это и мило, и удобно, и для нас приятно. Конечно, обошлось это не дешево... Словом, г-н Порике, в конце концов он сказал мне: «Ионафан, ты будешь заботиться обо мне, как о спеленутом ребенке». Спеленутом,— да, именно он так и сказал, как о спеленутом. «Ты будешь заботиться обо всём, что мне нужно». Словом, я барин, а он как будто слуга. А по какой причине? Ну, вот этого-то никто не знает, кроме бога, да его самого. Да-с, несуразное это дело!

— Он пишет поэму! — вскричал старый профессор.

[1] Аккуратно.

— Вы думаете, он пишет поэму? Эх, тяжелый это, должно быть, труд! Но, видите ли, я этому не верю. Он мне часто говорит, что хочет жить, как растение, растительной жизнью. И не дальше, как вчера, г-н Порике, он смотрел на тюльпан и, одеваясь, сказал: «Вот моя жизнь. Я живу растительной жизнью, милый мой Ионафан». А другие уже предполагают, что он мономан. Несуразное это дело.

— Всё доказывает, Ионафан, — продолжал профессор с ученой важностью, которая внушила старому камердинеру великое уважение, — что ваш барин занят большим сочинением. Он погружен в обширные умозрения и не хочет, чтобы его отвлекали заботы пошлой жизни. Посреди умственных работ гений забывает обо всем. Однажды знаменитый Ньютон...

— Гм, Ньютон... — сказал Ионафан. — Я его не знаю.

— Ньютон, великий геометр,— продолжал Порике,— просидел сутки, опершись локтем о стол; когда он очнулся от задумчивости, то ему казалось, что завтра всё еще вчера, как если бы он проспал... Я пойду к нему, бедняжке; я могу быть ему полезен.

— Остановитесь! — вскричал Ионафан. — Будь вы хоть французским королем, — прежним, разумеется, — и тогда бы вы не вошли к нему, не выломав сперва дверей и не переступив через мой труп. Но, г-н Порике, я побегу и скажу ему, что вы тут, и спрошу его таким образом: «Следует ли его впустить?» А он ответит: «да» или «нет». Я ему никогда не говорю: «Не хотите ли? Не желаете ли? Не изволите ли?» Эти слова вычеркнуты из разговора. Раз у меня как-то выскользнуло такое словцо. «Что ж ты, уморить меня, что ли, хочешь?» — с сердцем закричал он.

Ионафан оставил старого профессора в прихожей, сделав ему знак, чтобы он не шел дальше. Вскоре он воротился с благоприятным ответом и провел заслуженного старика через великолепные комнаты, где все двери были отворены. Порике издали увидел своего ученика у камина. Рафаэль, в халате из материи с крупным рисунком, сидел в пружинном кресле и читал газету. Чрезмерная меланхолия, казалось, овладевшая им, выражалась в болезненном положении одряхлевшего тела; она была начертана на лбу, на его бледном, как зачахший цветок, лице. Он приобрел какую-то женственную прелесть и странности, свойственные богатым больным. Его руки, похожие на руки хорошенькой женщины, отличались ровной и нежной белизною. Белокурые поредевшие волосы с изысканным кокетством вились вдоль висков. Греческая шапочка из легкого кашемира с слишком тяжелой кистью съехала на сторону. Он уронил на пол малахитовый с золотом нож, которым разрезал книгу. У него на коленях лежал янтарный мундштук от великолепного индийского гука, эмалированные спирали которого, как змея, вились по полу, и он, забывшись, перестал вбирать свежее благоухание. Общей слабости его молодого тела, впрочем, не соответствовали голубые глаза, куда, казалось, ушла вся его жизнь; в них горело необычайное чувство, поражавшее сразу. Взгляд этот производил тягостное впечатление. Одни могли прочесть в нем отчаяние, другие — внутреннюю борьбу, столь же ужасную, как упреки совести. То был глубокий взгляд бессилия, которое оттесняет свои желания в

глубь сердца, или взгляд скупца, мысленно вкушающего все удовольствия, какие только могут доставить ему его деньги, и отказывающегося от этих удовольствий, чтобы не уменьшить своих сокровищ; взгляд скованного Прометея, Наполеона после падения, когда он в Елисейском дворце узнает в 1815 году о стратегической ошибке, сделанной неприятелем, просит возвратить ему командование на сутки, и получает отказ. Настоящий взгляд победителя и осужденного на вечные муки, а вернее сказать, взгляд, который за несколько месяцев до этого Рафаэль бросал на Сену или на последний червонец, поставленный им на зеленом поле.

Он подчинил свою волю и разум грубому здравому смыслу старика-крестьянина, которого после пятидесятилетней службы едва коснулась цивилизация. Он был почти рад тому, что превратился в автомата; он отказывался от жизни ради того, чтобы жить, и отнял у своей души всю поэзию желания. Чтобы лучше бороться с жестокой силой, вызов которой он принял, Рафаэль стал целомудрен наподобие Оригена, кастрировав свое воображение.

На следующее же утро, после того как внезапно разбогатев, благодаря завещанию, он заметил, что Шагреневая Кожа сжалась, он отправился к своему нотариусу. Там довольно модный врач за десертом серьезно рассказывал, как вылечился один швейцарец, больной чахоткой. А именно, этот человек не сказал ни слова в течение десяти лет; кроме того, он делал в густом воздухе коровника всего шесть дыханий в минуту и ел необыкновенно пресную пищу. «И я сделаю то же!» — сказал про себя Рафаэль, который хотел удлинить жизнь во что бы то ни стало. Посреди роскоши он жил, как паровая машина.

Когда старый профессор взглянул на этот молодой труп, то вздрогнул; все ему казалось искусственным в этом слабом и немощном теле. Увидав алчущий взгляд маркиза, его чело, обремененное думами, он не узнал своего свежего и розового ученика с юношескими членами, образ которого сохранил в памяти. Если бы добродушный классик, проницательный критик и хранитель хорошего вкуса, читал лорда Байрона, он подумал бы, что увидел Манфреда там, где чаял найти Чайльд-Гарольда.

— Здравствуйте, дядя Порике, — сказал Рафаэль, пожимая старческие, холодные пальцы своей горячей и влажной рукой. — Как поживаете?

— Ничего, хорошо, — отвечал старик, испугавшись прикосновения этой лихорадочной руки. — А вы?

— Надеюсь поддержать свое здоровье.

— Вы, без сомнения, работаете над каким-нибудь прекрасным произведением?

— Нет, — отвечал Рафаэль. — Exegi monumentum [1], дядя Порике; я окончил уже свое большое сочинение и навсегда простился с наукой. Я даже хорошенько не знаю, где моя рукопись.

— А стиль у вас, конечно, чистый? — спросил профессор. — Надеюсь, вы не одобряете варварского языка новой школы, которая считает, что, выдумав Ронсара, она творит чудеса!

---

[1] Создал памятник я (Гораций, кн. 3, ода 30).

— Мое сочинение чисто физиологическое.

— А, это другое дело,— сказал профессор.— В науках грамматика должна приспособляться к требованиям новых открытий. Тем не менее, дитя мое, ясный и гармоничный стиль, язык Масильона, г-на де Бюфона, великого Расина, словом, стиль классический никогда не повредит. Но, друг мой,— продолжал профессор, прервав самого себя,— я и забыл о предмете своего посещения. У меня к вам просьба.

Вспомнив слишком поздно многословное красноречие и изящные перифразы, к которым его учитель привык за долгое свое пребывание в профессорах, Рафаэль почти раскаивался, что принял его; но в то мгновение, когда ему чуть было не захотелось выпроводить старика, он поспешно подавил свое тайное желание, украдкой взглянув на Шагреневую Кожу, повешенную перед ним и растянутую на белой материи, где ее вещий контур был тщательно обведен плотно обрамлявшей ее красной чертой. Со времени роковой оргии Рафаэль заглушал в себе самые мелкие прихоти и жил так, чтобы не причинить ни малейшего содрогания страшному талисману. Шагреневая Кожа была точно тигр, с которым ему приходилось жить, не возбуждая его кровожадности. Поэтому он спокойно выслушивал велеречивые излияния старого профессора. Дядя Порике целый час рассказывал ему о преследованиях, которые обрушились на него со времени Июльской революции. Добряк стоял за сильное правительство и выразил патриотическое желание, чтобы москательщики сидели за прилавками, государственные люди занимались общественными делами, адвокаты ходили в суд, а пэры Франции в Люксембургский дворец; за это один из популярных министров короля-гражданина обвинил его в карлизме и лишил кафедры. Старик очутился без места, без пенсии и без куска хлеба. На его попечении был бедный племянник, за которого он платил в семинарию св. Сульпиция, а потому Порике пришел не столько ради себя, сколько ради своего приемного сына, просить бывшего ученика похлопотать у нового министра не о возвращении места, но о должности директора какой-нибудь провинциальной школы. Рафаэля неодолимо клонило ко сну, когда монотонный голос добряка перестал звучать в его ушах. Принужденный из вежливости глядеть на белые и почти неподвижные глаза этого старика, речь которого текла медленно и грузно, он был усыплен, магнетизирован какой-то необъяснимой силой инерции.

— Ну, что ж, дядя Порике, — возразил он, не зная в точности, на какой из вопросов отвечает, — я не могу вам ничем помочь. Но я от всего сердца желаю вам удачи...

В эту минуту, не замечая, как впечатление от этих банальных, полных эгоизма и беззаботности слов отразилось на пожелтевшем, морщинистом лбу старика, Рафаэль вдруг вскочил, словно испуганная молодая косуля. Он заметил тонкий белый промежуток между краем кожи и красным контуром и так страшно вскрикнул, что бедный профессор пришел в ужас.

— Вон, старая скотина! — вскричал Рафаэль. — Вас назначат директором! Но разве вы не могли попросить у меня пожизненной ренты в тысячу экю, вместо того чтобы требовать человекоубийственного желания? Тогда ваш визит

мне ничего бы не стоил. Во Франции есть сто тысяч должностей, а у меня всего одна жизнь. Человеческая жизнь дороже всех должностей в мире... Ионафан!

Явился Ионафан.

— Вот что ты наделал, тройной дуралей! Зачем ты предложил мне принять этого господина? — сказал он, указывая на окаменевшего старика. — Или я для того отдал свою душу в твое распоряжение, чтобы ты рвал ее на части? Ты отнял у меня сейчас десять лет жизни! Еще такая же ошибка, и ты проводишь меня туда, куда я проводил отца. Лучше бы я пожелал обладать прекрасной Федорой, чем делать одолжение этому старому скелету, этому оборвышу человечества! Для него у меня есть золото. Наконец, если бы все Порике на свете подохли с голоду, мне-то какое до этого дело...

Лицо Рафаэля побледнело от гнева; на дрожащих губах появилась легкая пена, и глаза приняли кровожадное выражение. При виде этого оба старика судорожно задрожали, как двое детей, наткнувшихся на змею. Молодой человек упал в кресло; в его душе произошла реакция, и из пылающих глаз обильно брызнули слезы.

— О жизнь, прекрасная моя жизнь! — сказал он. — Нет для меня ни благотворных мыслей, ни любви, ничего.

Он повернулся к профессору.

— Зло сделано, мой старый друг, — кротко продолжал он. — Я вас щедро вознаградил за ваши заботы. И мое несчастие, по крайней мере, принесет благополучие хорошему и достойному человеку.

В тоне, каким он произнес эти почти непонятные слова, было столько души, что оба старика заплакали, как плачешь, услышав трогательную песню на незнакомом языке.

— У него падучая, — тихо сказал Порике...

— Признаю вашу доброту, друг мой, — кротко продолжал Рафаэль, — вы хотите извинить меня. Болезнь — случайность, а бесчеловечность — порок. Теперь уйдите, — продолжал он. — Завтра или послезавтра, быть может, даже сегодня вечером вы получите назначение, потому что *сопротивление* победило *движение*[1]... Прощайте.

Старик ушел, объятый ужасом и сильной тревогой по поводу душевного состояния Валантена. Вся эта сцена казалась ему сверхъестественной. Он сомневался в самом себе и мысленно проверял себя, словно проснулся от тягостного сна.

— Слушай, Ионафан, — сказал молодой человек, обращаясь к старому слуге. — Постарайся понять, какое именно поручение я на тебя возложил,

— Слушаю, господин маркиз.

— Я как бы стою вне закона, обязательного для всех.

---

[1] *Сопротивление победило движение* — политический намек. После революции 1830 г. французская буржуазия распалась на две группы: 1) «партия движения», то есть либералы, и 2) «Партия сопротивления», то есть консерваторы. Рафаэль доволен победой консерваторов.

— Слушаю, господин маркиз.

— Все наслаждения жизни вьются около моего одра и пляшут передо мной, как красавицы; но стоит мне их призвать — и я умру. Повсюду смерть. Ты должен быть заставой между миром и мною.

— Слушаю, господин маркиз, — отвечал старый слуга, отирая капли пота, выступившие на его морщинистом лбу. — Но, если вам не угодно видеть красавиц, что же вы будете делать сегодня в Итальянской опере? Английское семейство, уезжая в Лондон, уступило мне свой абонемент, и у вас теперь отличная ложа. О, великолепная ложа, в бельэтаже.

Но Рафаэль, погруженный в глубокую задумчивость, уже не слушал.

Видите вы эту роскошную карету, этот скромный снаружи экипаж коричневого цвета, но с гербом древнего и благородного рода на дверцах? Когда эта карета быстро проезжает, то гризетки любуются на нее, завидуют желтому атласу, шпалерному ковру, позументу, бледноватому, как рисовая солома, мягким подушкам и зеркальным стеклам. Два лакея в ливреях стоят на запятках этого аристократического экипажа; в глубине, на шелку, покоится воспаленная голова Рафаэля, печальная и задумчивая, с синевой под глазами. Роковой образ богатства! Он, как ракета, летит по Парижу, подкатывает к колонному подъезду театра Фавар, подножка откинута, его поддерживают двое лакеев, на него смотрит завистливая толпа.

— А что он сделал, чтобы стать таким богачом? — сказал бедный студент-юрист, который, за неимением экю, не мог слушать волшебных аккордов Россини.

Рафаэль медленно ходил по театральным коридорам; он не ждал для себя никакого удовольствия от некогда столь желанных наслаждений. В ожидании второго акта «Семирамиды» [1], он прогуливался в фойе, бродил по галереям, даже не заглянув еще в свою ложу. Чувства собственности уже не существовало в глубине его сердца. Подобно всем больным, он думал только о своей болезни. Опершись о колпак камина, вокруг которого, посередине фойе, толпились молодые и старые франты, бывшие и новые министры, пэры без пэрии и пэрии без пэров, какими их сделала Июльская революция, словом, целое сборище созерцателей и журналистов, Рафаэль увидел в нескольких шагах от себя в толпе голов странную и неестественную фигуру. Нагло прищурив глаза, он подошел, чтоб рассмотреть это странное существо. «Как он славно раскрашен!» — сказал про себя Рафаэль. Броши, волосы и бородка пучком, а ля Мазарини, которую незнакомец хвастливо выставлял напоказ, были окрашены в черный цвет; но краска, без сомнения, была наложена на чересчур поседевшие волосы, а потому приобрела фиолетовый, неестественный цвет, который отсвечивал разными оттенками, смотря по большему или меньшему отражению света. Его узкое и бледное лицо, с морщинами, покрытыми густым слоем белил и румян, выражало

[1] *«Семирамида»* — опера Россини.

одновременно и хитрость, и беспокойство. В некоторых местах косметика отсутствовала, отчего странным образом обнаруживалась обветшалость лица и его свинцовый цвет; невозможно было не засмеяться, глядя на это лицо с острым подбородком и выдающимся лбом, похожее на те причудливые рожи, какие в досужие часы вырезывают из дерева немецкие пастухи.

Разглядывая поочередно этого престарелого Адониса и Рафаэля, наблюдатель увидел бы у маркиза глаза молодого человека под маской старика, а у незнакомца тусклые стариковские глаза под маской молодого человека. Валантен старался вспомнить, при каких обстоятельствах он видел этого сухого старичка в искусно завязанном галстуке и щегольских сапогах; старичок позвани-



вал шпорами и скрещивал руки на груди, словно ему предстояло расточить все силы своей молодости. В его походке не было ничего принужденного или искусственного. Его изящный фрак, тщательно застегнутый, позволял видеть крепкое сложение и придавал ему вид старого фата, не отстающего от моды. На Рафаэля это подобие живой куклы производило впечатление призрака, и он смотрел на него, как на старинную закоптелую картину Рембрандта, только что реставрированную, покрытую лаком и вставленную в новую раму.

Это сравнение позволило ему напасть на след истины в смутных воспоминаниях: он узнал торговца редкостями, человека, которому был обязан своим несчастьем. В это мгновение фантастический старичок рассмеялся беззвучным смехом, который зазмеился на его холодных губах, обтягивавших фальшивую челюсть. При этом смехе живое воображение Рафаэля обнаружило разительное сходство между антикваром и идеальной головой гётевского Мефистофеля, ка-

кой ее рисуют живописцы. Тысячи суеверий завладели сильной душой Рафаэля; тут он поверил в могущество демона, во все виды колдовства, о которых рассказывают средневековые легенды и которые описывают поэты. Страшась судьбы Фауста, он вдруг воззвал к небу, проникнувшись, подобно умирающим, горячей верой в бога и деву Марию. Ясный и лучезарный свет дозволил ему узреть небо Микельанджело и Санти да Урбино: облака, старца с седой бородой, окрыленные головки, прекрасную женщину, восседавшую во славе. Теперь он понимал, теперь он признавал эти удивительные произведения, почти человеческие фантазии которых объясняли ему его собственное приключение и дозволяли еще питать надежду. Но когда его глаза вновь обратились на фойе Итальянской оперы, то вместо пресвятой девы он увидал восхитительную девушку, презренную Евфрасию, эту танцовщицу с гибким и легким телом; в ярком платье, вся покрытая восточными жемчугами, пошла она с нетерпением к своему нетерпеливому старичку и, смело подняв голову, с блестящими глазами, бесстыдно показывала себя завистливому и наблюдательному свету, выставляя безграничные богатства купца, сокровища которого расточала. Рафаэль вспомнил тогда о своем насмешливом пожелании, с которым он принял роковой подарок старика, и почувствовал всю сладость мести, глядя на глубокое унижение этой высокой мудрости, падение которой некогда казалось ему невозможным. Мертвенная улыбка столетнего старика остановилась на Евфрасии, которая отвечала ему словами любви; он предложил ей свою высохшую руку, обошел два или три раза вокруг фойе и, не замечая презрительного смеха, не слыша язвительных насмешек на свой счет, с восторгом ловил страстные взгляды и комплименты, которыми толпа награждала его любовницу.

— На каком кладбище эта юная вампирша откопала такой труп? — вскричал самый изящный из всех романтиков.

Евфрасия улыбнулась. Насмешник был молодой человек с белокурыми волосами, голубыми и блестящими глазами, стройный, усатый, в коротком фраке, со шляпой набекрень, всегда готовый на ответ во всеоружии лексикона людей этого жанра.

«Сколько стариков венчают каким-нибудь безумием свою честную, трудовую и добродетельную жизнь! — подумал Рафаэль. — У этого ноги уже похолодели, а он влюблен».

— Ну, что же, — вскричал Валантен, останавливая купца и делая глазки Евфрасии, — вы уж забыли о строгих принципах своей философии?

— Ах, — отвечал купец совсем разбитым голосом, — я теперь счастлив, как молодой человек. Я не понимал жизни. Час любви стоит всей жизни!

В это время послышался звонок, и зрители поспешили из фойе на свои места. Старик и Рафаэль расстались. Войдя в свою ложу, маркиз увидел Федору. Она сидела как раз против него, по другую сторону зала. По-видимому, графиня только что приехала и теперь, откидывая назад шарф, открывала шею и проделывала те трудноописуемые движения, при помощи которых позируют кокетки; все взоры сосредоточились на ней. Ее сопровождал молодой пэр

Франции: она спросила у него бинокль, который дала ему нести. По ее жесту, по тому, как она глядела на этого нового обожателя, Рафаэль увидал, какую тиранию испытывает его преемник. Очарованный, без сомнения, как некогда он сам, как он обманутый, борясь, как и он, всей силой истинной любви против холодных расчетов этой женщины, молодой пэр должен был испытывать те же мучения, от которых счастливо избавился Валантен. Невыразимая радость оживила лицо Федоры, когда, направляя бинокль на ложи и быстро оглядев все туалеты, она поняла, что своим убором и своей красотой убила самых красивых и изящных женщин Парижа; она стала улыбаться, чтобы показать свои белые зубы, вертела туда и сюда головой, украшенной цветами, чтобы ею восхищались; ее взоры блуждали по ложам, смеясь над неловко надетым беретом на голове русской княгини или над неудачной шляпкой, которая ужасно как не шла к дочери банкира. Вдруг она побледнела, встретив неподвижные глаза Рафаэля; ее отвергнутый любовник разил ее невыносимо презрительным взглядом. Все изгнанные ею возлюбленные подчинялись ее власти; один во всем свете Валантен не признавал ее чар. Власть, которую безнаказанно презирают, близка к гибели. Эта истина глубже начертана в сердце женщин, чем в голове королей. А потому Федора видела в Рафаэле погибель своему обаянию и кокетству. Словцо, сказанное им накануне в споре, уже прославилось во всех парижских салонах. Острие этой ужасной эпиграммы нанесло графине неисцелимую рану. Во Франции мы научились прижигать язвы, но не знаем еще средства против вреда, который причиняет фраза. В то время как женщины попеременно глядели то на графиню, то на маркиза, Федора готова была бросить его в каменный мешок какой-нибудь Бастилии, ибо, невзирая на ее способность притворяться, соперницы угадывали ее страдания. Наконец, исчезло для нее и последнее утешение. Эти упоительные слова: «Я самая красивая!», эта вечная фраза, утешавшая ее во всех огорчениях тщеславия, стала ложью. Во время увертюры второго акта в ложе подле Рафаэля, до того остававшейся пустой, появилась женщина. По всему партеру пронесся шепот восхищения. Волны мыслей заколыхались на этом море человеческих лиц, и все глаза обратились к незнакомке. Старые и молодые шумели так долго, что при поднятии занавеса музыканты оркестра обернулись к публике, чтобы установить тишину; но и они присоединились к общему восторгу и только усилили глухой гул. Во всех ложах завязались оживленные разговоры. Все женщины вооружились биноклями, помолодевшие старики протирали перчатками стекла зрительных трубок. Восторг укротился только постепенно; со сцены послышалось пение, и всё пришло в порядок. Высшее общество, стыдясь, что поддалось естественному побуждению, возвратилось к аристократической холодности хороших манер. Богачи не любят ничему удивляться; они хотят с первого же взгляда заметить в прекрасном творении недостаток, который избавит их от пошлого чувства восхищения. Впрочем, несколько мужчин сохраняли неподвижность, и, не слушая музыки, забылись в наивном упоении, продолжая созерцать соседку Рафаэля.

Валантен заметил в бенуаре, подле Акилины, гнусное и багровое лицо Тайефера, который делал ему одобрительную гримасу. Затем он увидел, что Эмиль стоит в передних креслах и точно говорит ему: «Да погляди же на красавицу, что подле тебя». Наконец, Растиньяк, сидя подле госпожи Нусинген, комкал перчатки, как будто с отчаяния, что он тут на привязи и не может подойти к божественной незнакомке. Жизнь Рафаэля зависела от еще не нарушенного договора, который он заключил с самим собой; он дал себе слово никогда не смотреть пристально на женщин и, чтобы избавить себя от искушения, всегда носил лорнет, в котором искусно вставленное оптическое стекло разрушало гармонию самых прекрасных черт и придавало им отвратительный вид. Еще не оправившись от ужаса, охватившего его утром, Рафаэль твердо решился не оборачиваться в сторону соседки. Сидя, как герцогиня, он облокотился спиной об угол ложи и нахально закрывал половину сцены от незнакомки, делая вид, что презирает молодую женщину, сидевшую позади него, и даже не знает о ее существовании. Соседка с точностью копировала положение Валантена. Она оперлась локтем о край ложи и смотрела на певцов, повернув голову в три четверти, словно позировала перед живописцем. Они походили на двух поссорившихся влюбленных, которые дуются, сидят друг к другу спиной и бросятся в объятия при первом слове любви. Порою легкие перья или волосы незнакомки слегка касались головы Рафаэля и вызывали в нем сладострастное ощущение, против которого он храбро боролся; вскоре он почувствовал легкое прикосновение кружевных рюшей, которыми было обшито платье; затем послышался женственный шелест самого платья, шум, исполненный нежных очарований; наконец, вызванное дыханием незаметное движение груди, спины, одежды этой красивой женщины, вся ее сладостная жизнь вдруг сообщились Рафаэлю, как электрическая искра: тюль и кружева, щекотавшие его плечо, отчетливо передали ему восхитительную теплоту ее белой и обнаженной спины. По капризу природы, эти два существа, разлученные хорошим тоном, отделенные пропастями смерти, дышали вместе и, быть может, думали друг о друге. Резкий запах алоэ окончательно опьянил Рафаэля. Его воображение, раздраженное препятствием и оттого ставшее еще более фантастическим, огненными чертами быстро нарисовало перед ним образ женщины. Он круто повернулся. Вероятно, недовольная этим соприкосновением с незнакомым мужчиной, незнакомка сделала такое же движение; их взоры, одушевленные одной и той же мыслью, скрестились.

— Полина!

— Г-н Рафаэль!

Оба, как окаменелые, в течение нескольких мгновений молча смотрели друг на друга. Рафаэль увидел, что Полина одета просто и со вкусом. Сквозь газ, целомудренно прикрывавший ее грудь, опытный взор мог бы различить лилейную белизну и разгадать формы, которым подивились бы даже женщины. В остальном же она сохранила свою девственную скромность, небесную чистоту и грацию. По материи на рукаве было видно, что все тело ее дрожит, как дрожало сердце.

— О, приходите завтра, — сказала она, — приходите в гостиницу «Сен-Кантен» за вашими бумагами. Я буду там в полдень. Не опоздайте.

Она быстро встала и ушла. Рафаэль хотел было идти за Полиной, но побоялся ее скомпрометировать; он остался, взглянул на Федору и нашел, что она безобразна; будучи не в силах понять ни одной музыкальной фразы, задыхаясь в этом зале, он вышел с переполненным сердцем и воротился домой.

— Ионафан, — сказал он старому слуге, когда лег в постель, — дай мне полкапли лауданума на кусочке сахара и разбуди меня завтра без двадцати двенадцать.

— Я хочу, чтобы Полина полюбила меня! — вскричал он на другое утро, глядя с невыразимой тревогой на талисман.

Кожа не пошевельнулась; казалось, она лишилась своей сжимательной способности; без сомнения, она не могла осуществить уже исполнившегося желания.

— А, — вскричал Рафаэль, словно чувствуя, что с него спал тот свинцовый плащ, который он носил со дня, когда ему был подарен талисман, — ты лжешь, ты мне не повинуешься; договор нарушен! Я свободен, я буду жить. Стало быть, это была дурная шутка?..

Произнося эти слова, он не смел верить своей собственной мысли. Он оделся так же просто, как одевался прежде, и отправился на свою прежнюю квартиру пешком, стараясь мысленно перенестись в те счастливые дни, когда он без опасения предавался всему бешенству своих желаний, когда он не отрекся еще от всех человеческих наслаждений. Он шел и видел перед собою уже не Полину из гостиницы «Сен-Кантен», но вчерашнюю Полину, ту совершенную возлюбленную, о которой он так часто мечтал, умную молодую девушку, любящую, ценящую искусство, понимающую поэзию и живущую в роскоши; словом, Федору, одаренную прекрасной душой, или Полину, носящую графский титул и обладающую двумя миллионами, как Федора.

Когда он вступил на потертый порог, на разбитую плиту подле той двери, где столько раз его одолевали безнадежные мысли, из зала вышла старуха и спросила его:

— Вы г-н Рафаэль де Валантен?

— Да, тетушка, — отвечал он.

— Вы знаете свою прежнюю комнату, — продолжала она, — вас там ждут.

— А что, эту гостиницу по-прежнему содержит г-жа Годен? — спросил он.

— О нет! Теперь г-жа Годен — баронесса. У нее свой отличный дом на той стороне Сены. Ее муж воротился. О, он привез с собою сотни и тысячи! Говорят, что она могла бы купить весь квартал Сен-Жак, если б захотела. Она мне даром отдала всю мебель и контракт до конца срока. Ах, предобрая она женщина! И ничуть не возгордилась с того времени.

Рафаэль проворно поднялся на свой чердак и, взойдя на последние ступени, услышал звуки фортепиано. Там была Полина, скромно одетая в перкалевое платье; но фасон платья, а также перчатки, шляпа, шаль, небрежно брошенные на постель, свидетельствовали о крупном богатстве.

— Ах, вот и вы наконец! — вскричала Полина, поворачивая голову и привставая от радостного волнения.



Рафаэль сел подле нее, краснея, стыдясь и счастливый; он глядел на нее, не говоря ни слова.

— Зачем вы нас бросили? — продолжала она и опустила глаза в то мгновение, когда лицо ее заалело. — Как вы теперь поживаете?

— Ах, Полина, я был и остался несчастлив!

— О! — нежно сказала она — Я отгадала вашу судьбу вчера, увидев, что вы хорошо одеты, по видимости богаты; а на самом деле, г-н Рафаэль, все осталось по-прежнему, не так ли?

Валантен не мог сдержать навернувшихся слез и вскричал:

— Полина... я...

Он не договорил; его глаза загорелись любовью и отразили чувства, переполнявшие сердце.

— О, он любит меня, любит! — вскричала Полина.

Рафаэль кивнул головой: он чувствовал, что не в состоянии произнести ни слова. Тут молодая девушка взяла его за руку, сжала ее и, полусмеясь, полурыдая, сказала:

— Богаты, богаты, счастливы; твоя Полина богата! Но сегодня... мне следовало стать бедной. Я тысячу раз повторяла, что отдам за эту фразу «он меня любит» все земные сокровища. О мой Рафаэль, у меня миллионы! Ты любишь роскошь, ты будешь доволен; но ты должен любить и мое сердце: в нем столько любви к тебе... Ты не знаешь? Мой отец воротился. Я богатая наследница. Мама и он предоставляют мне распорядиться своей судьбой, как мне хочется; я свободна, понимаешь ли ты?

Рафаэль как бы в бреду держал руки Полины и целовал их так горячо, так жадно, что его поцелуй походил на судорогу. Полина отняла руки, положила их Рафаэлю на плечи и притянула его к себе; они поняли друг друга, обнялись и поцеловались с тем святым и восхитительным жаром, свободным от всякой задней мысли, каким запечатлен один только поцелуй, первый юный поцелуй, когда две души овладевают друг другом.

—Ах,— вскричала Полина, опускаясь на стул,— я не хочу расставаться с тобой! Не знаю, откуда у меня взялась такая смелость! — краснея, добавила она.

— Смелость, Полина? О, не бойся ничего, это любовь, любовь истинная, глубокая, вечная, как и моя, не правда ли?

— О, говори, говори, говори! — сказала она — Твои уста так долго были немы для меня.

— Так ты любила меня?

— О боже, любила ли! Сколько раз я плакала вот тут, убирая твою комнату, сокрушаясь о твоей и о своей бедности. Я готова была продаться черту, чтобы избавить тебя от какого-нибудь огорчения. Теперь, мой Рафаэль, о да, теперь ты совсем мой; моя и эта красивая голова, мое и это сердце. О да, особенно твое сердце, вечное сокровище! Но о чем же я говорила? — продолжала она после короткой паузы.— Ах да, у нас, кажется, три, четыре, пять миллионов. Если б я была бедна, то, может быть, дорожила бы тем, чтоб

носить твое имя, чтоб меня звали твоей женой; но сейчас я хотела бы принести тебе в жертву весь мир, быть по-прежнему и всегда твоей служанкой. Да, Рафаэль, принося тебе в жертву свое сердце, себя, свое богатство, я отдаю тебе не больше, чем в тот день, когда положила сюда,— сказала она, указывая на ящик в письменном столе,— монету в сто су. О, как мне тогда было больно от твоей радости!

— Зачем ты богата? — вскричал Рафаэль. — Зачем ты не тщеславна? Я ничего не могу сделать ради тебя.

Он ломал руки от счастья, от отчаянья и любви.

— Когда ты будешь маркизой де Валантен, я знаю тебя, небесная душа, и титул, и мое богатство не будут стоить...

— Одного твоего волоска! — вскричала она.

— И у меня миллионы; но что для нас теперь богатство? У меня есть жизнь, и ее я могу принести тебе в жертву: возьми ее.

— О, твоя любовь, твоя любовь, Рафаэль, стоит всего мира! Как, твои мысли принадлежат мне? Я счастливее всех счастливиц.

— Нас могут услышать, — сказал Рафаэль.

— Полно, тут никого нет, — отвечала она с своенравным жестом.

— Так пойди же ко мне! — вскричал Валантен, протягивая к ней руки.

Она вскочила к нему на колени и обхватила его за шею.

— Обнимите меня, — сказала она, — за все горе, которое вы мне причинили, сотрите все страдания, которые доставили мне ваши радости; обнимите меня за все ночи, которые я провела за раскрашиванием экранов...

— Экранов?

— Теперь мы богаты, мое сокровище, и я могу тебе рассказать все. Бедное дитя! Как легко обмануть умных людей! Разве тебе за три франка в месяц могли стирать два раза в неделю жилет и рубашки? Да ты выпивал вдвое больше молока, чем можно было купить за твои деньги. Я тебя обманывала на всем: на топливе, на масле, на деньгах. О, мой Рафаэль, не женись на мне, — смеясь сказала она, — я ведь прехитрая.

— Но как же ты это устраивала?

— Я работала до двух часов ночи и отдавала половину заработка от экранов матери, а другую тебе.

Они некоторое время глядели друг на друга, опешив от радости и любви.

— О! — вскричал Рафаэль, — за это счастье нам, наверно, придется когда-нибудь поплатиться ужасающим горем.

— Разве ты женат? — вскричала Полина. — Я никому не уступлю тебя!

— Я свободен, милая.

— Свободен! — повторила она. — Свободен и мой!

Соскользнув, стала она перед Рафаэлем на колени и, сложив руки, глядела на него с молитвенным восторгом.

— Я боюсь сойти с ума! Как ты хорош! — продолжала она, запуская руку в его белокурые волосы.— Глупа она, твоя графиня Федора! Как я была счаст-

лива вчера, когда все мужчины восторгались мною! Такого успеха она никогда не видала, никогда! Послушай, милый, когда я коснулась спиной твоего плеча, во мне какой-то голос сказал: «Это он!» Я обернулась и увидела тебя. О, я убежала: мне вдруг захотелось при всех броситься тебе на шею.

— Ты счастлива, что можешь высказываться! — вскричал Рафаэль.— А у меня сердце точно сжалось. Я хотел бы заплакать, да не могу. Не отнимай своей руки. Мне кажется, что я до конца жизни мог бы так глядеть на тебя, довольный, счастливый.

— О, повтори это еще раз, любовь моя!

— Что такое слова! — сказал Валантен и уронил горячую слезу на руку Полины. — После я постараюсь высказать мою любовь, теперь же я могу только чувствовать ее...

— О, — вскричала она, — и эта прекрасная душа, и этот прекрасный талант, и это сердце, которое я знаю, всё это принадлежит мне, как я тебе?

— Навеки, нежное создание, — сказал взволнованным голосом Рафаэль. — Ты будешь моей женой, моим добрым гением. Твое присутствие всегда разгоняло мои печали и освежало мне душу; в это мгновение твоя ангельская улыбка, если можно так выразиться, очистила меня. Мне кажется, я начинаю жить сызнова. Мое жестокое прошлое, мои печальные безумства кажутся мне тяжелым сном. Подле тебя я непорочен. Я чувствую веяние счастья. О, будь всегда тут, — прибавил он, прижимая ее к своему трепещущему сердцу.

— Пусть смерть придет, когда хочет, — в восторге воскликнула Полина: — я жила.

Счастлив тот, кто поймет их радости: они станут и его достоянием!..

— О, мой Рафаэль, — сказала Полина, прервав молчание, длившееся два часа, — я хочу, чтобы впредь никто не входил на этот милый чердачок.

— Надо заложить дверь, вставить решетку в слуховое окно и купить дом, — отвечал маркиз.

— Именно, — сказала она. Затем, после минутного молчания добавила: — А мы и забыли отыскать твои рукописи.

Они простосердечно рассмеялись.

— О, что мне теперь все науки! — вскричал Рафаэль.

— А слава, сударь?

— Ты моя единственная слава.

— Ты был очень несчастлив, когда царапал эти каракульки? — сказала она, перелистывая бумаги.

— Моя Полина...

— О, конечно, я твоя Полина. Ну, и что же?

— Где ты живешь?

— На улице св. Лазаря. А ты?

— На улице Варен.

— Как нам будет далеко друг от друга, пока...

Она замолчала и с лукавым кокетливым видом поглядела на своего друга.

— Но нам придется жить в разлуке не больше двух недель, — отвечал Рафаэль.

— Правда, через две недели мы будем женаты!

Она подпрыгнула, как ребенок.

— Ах, я дурная дочь, — продолжала она: — я больше не думаю ни об отце, ни о матери, ни о чем на свете. Ты не знаешь, мой милый, ведь здоровье моего отца очень плохо. Из Индии он воротился совсем больной и чуть было не умер в Гавре, куда мы поехали к нему навстречу. Ах, боже мой, — вскричала она, взглянув на часы, — уже три часа! Мне необходимо вернуться к четырем, когда он проснется. Я в доме хозяйка: мать исполняет все мои желания, отец обожает меня; но я не хочу злоупотреблять их добротой, это нехорошо. А ведь это отец меня вчера заставил ехать в Итальянскую оперу... Ты ведь завтра навестишь его, не правда ли?

— Позвольте вашу руку, маркиза де Валантен.

— О, я унесу ключ от этой комнаты! — сказала она. — Разве наше сокровище не настоящий дворец?

— Полина, еще поцелуй.

— Хоть тысячу! Боже мой, — сказала она, глядя на Рафаэля, — неужели всегда будет так? Я, кажется, грежу.

Они медленно спустились с лестницы; затем, слитые воедино, пошли они в ногу, дрожа под бременем одного и того же счастья, прижимаясь друг к другу, как голубки; так они дошли до Соборной площади, где ждала карета Полины.

— Я хочу поехать к тебе! — вскричала она.— Мне хочется видеть твою спальню, твой кабинет, посидеть за столом, где ты работаешь. Как в былое время,— краснея, добавила Полина.— Жозеф,— сказала она слуге,— раньше, чем отправиться домой, я заеду на улицу Варен. Теперь четверть четвертого, а мне надо быть дома к четырем. Пусть Жорж погоняет.

И влюбленные через несколько минут были на улице Варен.

— О, как я рада, что видела всё это! — сказала Полина, теребя шелковые занавеси у постели Рафаэля. — Засыпая, я мысленно буду тут и увижу, как твоя головка покоится на этой подушке. Послушай, Рафаэль, ты ни с кем не советовался, когда меблировал дом?

— Ни с кем.

— Правда? Или какая-нибудь женщина...

— Полина!

— О, я страшно ревную! У тебя хороший вкус. Завтра я достану себе такую точно постель.

Рафаэль, опьяненный счастьем, обнял Полину.

— Ах! А мой отец, мой отец! — сказала она.

— Я провожу тебя; мне хочется, по возможности, не расставаться с тобой! — вскричал Валантен.

— Как ты ласков! Я не смела предложить тебе...

— Разве ты не жизнь моя?

Было бы скучно передавать в подробностях всю эту очаровательную любовную болтовню, которой только нюансы голоса, взгляд, непередаваемый жест и придают ценность. Валантен проводил Полину до дома и воротился с сердцем, настолько полным счастья, насколько человек может чувствовать и вынести его в сей юдоли. Когда он уселся в кресло у камина и стал раздумывать о внезапном и полном осуществлении своих надежд, холодная мысль пронзила ему душу, как сталь кинжала пронзает грудь, и он взглянул на Шагреневую Кожу; она слегка сжалась. Он произнес самое сильное французское ругательство, но без иезуитских умалчиваний, к которым прибегла Андульетская аббатисса [1], склонил голову на кресло и остался недвижим, уставившись на жертвенную чашу и не видя ее.

— Великий боже! — вскричал он. — Как? Все мои желания, все. Бедная Полина!

Он взял циркуль и смерил, во сколько дней ему обошлось сегодняшнее утро.

— Мне не осталось и на два месяца, — сказал он.

Его обдал холодный пот; вдруг, повинуясь невыразимому порыву ярости, он схватил Шагреневую Кожу и вскричал:

— Я глупец!

Он вышел, побежал, пересек сад и бросил талисман в колодец.

— Будь что будет! — сказал он. — К черту все эти глупости!

Рафаэль отдался счастью любви и жил сердце в сердце со своей Полиной, которая не испытала отказа во взаимности. Их свадьба, отсроченная вследствие затруднений, о которых не стоит рассказывать, должна была состояться в первых числах марта. Они испытали друг друга, не сомневались более в самих себе, счастье открыло им всю силу их привязанности; никогда две души, два характера не были спаяны так, как эти двое своей страстью; узнавая друг друга, они еще более влюблялись; с обеих сторон та же деликатность, та же стыдливость, то же сладострастие, самое сладостное из всех, сладострастие ангелов; ни облачка не пробежало по их небу; поочередно желания одного становились законом для другого. Оба они были богаты и не знали прихотей, которых не могли бы удовлетворить, и при всем том у них не было прихотей. Изящный вкус, чувство прекрасного, истинная поэзия оживотворяли душу супруги; она презирала женские финтифлюшки, улыбка друга казалась ей лучше всех ормузских жемчугов, и самыми дорогими ее уборами были кисея и цветы. Притом Полина и Рафаэль избегали света; их уединение было так прекрасно и полно. Праздные люди видели неизменно каждый вечер эту прелестную необзаконенную чету в Итальянском или в Большом оперном театре. Если сперва салоны немного и позабавились злословием на их счет, то вскоре поток событий, пронесшихся над Парижем, заставил позабыть о двух безобидных влюбленных; впрочем, для умиротворения ханжей, их свадьба была оглашена, а так как, по счастью, слуги

[1] *Андульетская аббатиса* — действующее лицо романа Стерна «Тристрам Шенди».

их оказались не болтливы, то молодая чета и не поплатилась за свое блаженство слишком обидными оговорами.

Однажды, в конце февраля, когда довольно хорошие дни позволили уже думать о вешних радостях, Полина и Рафаэль завтракали утром в небольшой теплице, своего рода гостиной, наполненной цветами и расположенной на одном уровне с садом. Бледное и кроткое зимнее солнце, лучи которого проникали сквозь редкие кусты, нагревало воздух. Резкие контрасты разнообразной листвы, краски цветущих купин и всевозможные переливы света и тени увеселяли взоры. Когда весь Париж грелся у скучных каминов, молодые супруги смеялись под сводами из камелий, лилий и вереска. Их веселые лица возвышались над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. Пол этой богатой и полной сладострастия теплицы был устлан африканской циновкой, цветистой, как ковер. На стенках, обтянутых зеленым тиком, не было ни малейших следов сырости. Мебель была деревянная, на вид грубоватая, но с полированной поверхностью, сверкавшей чистотой. Котенок взобрался на стол, куда его заманил запах молока, и позволил Полине вымазать ему мордочку кофеем; она играла с ним, не давала ему сливок и только разрешала нюхать их, дабы испытать его терпение и продолжать игру, при каждой его гримасе она разражалась хохотом и отпускала тысячу шуток, чтобы помешать Рафаэлю читать газету, которая уже десять раз вываливалась у него из рук. Эта утренняя сцена, как и все, что естественно и правдиво, была напоена невыразимым счастьем. Рафаэль всё притворялся, будто читает газету, и украдкой поглядывал на Полину, игравшую с котенком, на свою Полину, облаченную в длинный пеньюар, который не вполне прикрывал ее, на свою Полину с неубранными волосами, выставившую вперед белую с синими прожилками ножку в черной бархатной туфельке. Прелестная в своем утреннем наряде, восхитительная, как фантастические фигуры Уэстхолла, она казалась одновременно и девушкой и женщиной, быть может даже скорей девушкой, чем женщиной, и наслаждалась ничем не смущенным счастьем, отведав от любви только первые ее радости. В то время как погруженный в сладостные мечты Рафаэль совсем забыл про газету, Полина схватила ее, скомкала, превратила в клубок и бросила в сад; котенок пустился за политикой, которая, как всегда, вертелась вокруг самой себя.

Когда Рафаэль, отвлекшись этой детской сценой, вздумал вновь приняться за чтение, то взялся было за газету, которой уже не было, и тут поднялся у них смех, беззаботный, веселый, непрерывный, возобновлявшийся, как птичье щебетанье.

— Я ревную тебя к газете, — сказала она, утирая слезы, выступившие у нее от ребячливого смеха. — Разве это не измена, — продолжала она, вдруг становясь вполне женщиной, — что ты в моем присутствии читаешь русские манифесты и предпочитаешь прозу императора Николая[1] словам и взглядам любви?

[1] *Проза императора Николая* — воззвание Николая I к полякам от 5 и 12 декабря 1830 г., после жестокого подавления восстания в Польше.

— Я не читал, мой ангелочек, я смотрел на тебя.

В это время вблизи теплицы раздались тяжелые шаги садовника; под его подошвами, подбитыми гвоздями, хрустел песок на дорожке.

— Извините, господин маркиз, что помешал вам и госпоже маркизе, но я нашел диковинку, какой раньше никогда не видал. Сейчас брал я с вашего позволения воду из колодца и вытащил это чудное морское растение. Вот оно! А как к воде-то привыкло — ничуть не намокло и даже не отсырело. Сухое, как дрова, и наощупь совсем не жирное. Господин маркиз, конечно, поученее меня; так вот я и подумал, что надо его отнести вашей милости и что вашей милости любопытно будет взглянуть.

И садовник показал Рафаэлю неумолимую Шагреневую Кожу; поверхность ее равнялась всего шести квадратным дюймам.

— Спасибо, Ваньер, — сказал Рафаэль, — вещь очень любопытная.

— Что с тобой, мой ангел, ты побледнел! — вскричала Полина.

— Ступайте, Ваньер.

— Ты меня пугаешь, — продолжала юная супруга, — у тебя голос совсем изменился. Что с тобою? Что ты чувствуешь? Где у тебя болит? Ты болен? Доктора! — вскричала она. — Ионафан! Ионафан!

— Замолчи, Полина, — отвечал, оправившись, Рафаэль. — Пойдем. Тут есть какой-то цветок, запах которого меня беспокоит. Быть может, это вербена.

Полина бросилась к невинному кустарнику, схватила его за стебель и выбросила в сад.

— О, ангел,— вскричала она, сжимая Рафаэля с силой, равной их любви, и подставляя ему с томной кокетливостью свои алые губки для поцелуя; — увидав, как ты побледнел, я поняла, что не переживу тебя: ты моя жизнь! Дотронься рукой до моей спины, Рафаэль. Я еще чувствую, как по ней пробегает дрожь и холод. У тебя губы горят. А рука... Рука, как лед,— добавила она.

— Пустяки! — вскричал Рафаэль.

— А откуда эта слеза? Дай я выпью ее.

— Ах, Полина, Полина, ты слишком меня любишь!

— С тобой происходит что-то необыкновенное, Рафаэль. Будь искренен; я скоро узнаю твою тайну. Дай мне это,— сказала она, взяв Шагреневую Кожу.

— Ты мой палач! — вскричал молодой человек, с ужасом глядя на талисман.

— Как изменился твой голос, — отвечала Полина, роняя фатальный символ судьбы.

— Любишь ли ты меня? — спросил он.

— Люблю ли? Что за вопрос!

— Так оставь меня, уйди!

Бедняжка вышла.

— Как,— вскричал Рафаэль, оставшись один; — в наш просвещенный век, когда мы узнали, что алмаз — кристалл углерода, в эпоху, когда всему находят объяснение, когда полиция привлекла бы к суду нового мессию и отдала бы его чудеса на рассмотрение Академии наук, в эпоху, когда верят только в нотариаль-

ные скрепы, я... я буду верить в какие-то *мане, факел, фарес?*.. Нет, клянусь богом, я не допущу мысли, чтобы верховное существо могло находить удовольствие в том, чтобы мучить свое достойное создание... Пойду к людям науки.

Вскоре он был уже между Винным рынком, громадным складом бочек, и Сальпетриер, громадной семинарией пьянства, подле небольшого болотца, где весело плавали утки, замечательные по редкости пород; их переливчатые цвета, похожие на соборные витражи, сверкали на солнце. Тут были утки со всего света; они крякали, рылись в грязи, копошились и составляли как бы утиную палату, созванную против своей воли, но, по счастью, без хартии и политических принципов; они жили, не встречая охотников, на виду у случайно наблюдавших за ними естествоиспытателей.

— Вот г-н Лаврий, — сказал сторож Рафаэлю, пожелавшему видеть великого жреца зоологии.

Маркиз увидел низкорослого человека, разглядывавшего двух уток и глубоко погруженного по этому поводу в какие-то мудрые размышления. У этого ученого средних лет было кроткое лицо, выражение которого казалось еще кротче, потому что в нем видна была обязательность; но вся его особа была проникнута ученой озабоченностью; он беспрестанно почесывал парик и самым фантастическим образом сбивал его на сторону, открывая при этом полосу седых волос, свидетельствовавших о рьяной склонности к открытиям, которая, как все страсти, так властно отвлекает нас от предметов мира сего, что мы теряем сознание своего «я».

Рафаэль, сам человек науки и исследований, с восторгом смотрел на натуралиста, посвящавшего бессонные ночи на увеличение человеческих знаний и прославившего Францию своими ошибками; но какая-нибудь модница, без сомнения, посмеялась бы над просветом между брюками и полосатым жилетом ученого, просветом, впрочем стыдливо прикрытым рубашкой, которую ее носитель основательно измял, то нагибаясь, то выпрямляясь в связи со своими зоогенетическими наблюдениями.

После нескольких вежливых фраз Рафаэль почел необходимым обратиться к г-ну Лаврийю с банальным комплиментом насчет его уток.

— О, у нас богатое собрание уток, — отвечал естествоиспытатель. — Этот вид, впрочем, как вам, без сомнения, известно, самый распространенный в семействе перепончатопалых. Он начинается с лебедя и кончается уткой зензен, заключая в себе сто тридцать семь резко обозначенных разновидностей, из которых каждая носит свое имя, имеет свои нравы, свое отечество, свою физиономию и отличается от других так же, как белый от негра. В самом деле, когда мы едим утку, то обыкновенно и не подозреваем об обширности...

Он прервал свою речь, увидав хорошенькую уточку, которая выходила на отлогий берег лужи.

— Там вот, вы видите лебедя с воротником, уроженца Канады; он приехал к нам издалека, чтоб показать нам свое серо-бурое оперение и свой черный галстучек. Взгляните, он чешется. Вот знаменитый пуховый гусь или утка гага, под пухом которой спят наши модницы; как она красива! Кто не залюбуется этим бе-

ло-красноватым брюшком, этим зеленым клювом? Я только что был свидетелем случки, в возможности которой до того отчаивался. Брак был заключен довольно удачно, и я с великим нетерпением буду ждать результата. Я надеюсь получить сто тридцать восьмую разновидность, которая, быть может, будет носить мое имя. Вот новобрачные, — сказал он, указывая на двух птиц. — С одной стороны гусь хохотун (anas albifrons), а с другой — большая утка свистун (anas ruffina Бюфона). Я долго колебался между свистуном, уткой белобровкой и уткой коксуном (anas clypeata); вот поглядите на коксуна: это тот толстый черно-коричневый негодник с зеленоватой кокетливо переливчатой шейкой. Но свистун оказался



хохлатым, и вы понимаете, сударь, что я более уже не колебался. Нам не хватает тут еще разновидности утки с черной головкой. Ученые единогласно утверждают, что эта утка есть только повторение так называемого чирка с согнутым клювом. Что до меня касается... — тут он сделал удивительный жест, выражавший сразу и скромность, и гордость ученого, гордость, полную упрямства, и скромность, полную довольства, — я придерживаюсь другого мнения, — добавил он. — Вы видите, мы тут не занимаемся пустыми забавами. В настоящее время я составляю монографию о семействе пластинчатоклювых... Но я к вашим услугам.

Направляясь к хорошенькому домику на улице Бюфон, Рафаэль передал Шагреневую Кожу Лаврийю для обследования.

— Я знаю этот продукт, — сказал ученый, направив лупу на талисман, — он служил для обивки какого-нибудь ящика. Шагрень употребляется с самых давних времен. Теперь футлярщики предпочитают галюша. Галюша, как вам, вероятно, известно, это кожа raja sephen, рыбы, которая водится в Красном море...

— Но этот, раз уж вы так необыкновенно любезны...

— Этот, — прервал его ученый, — совсем иное дело; между этими двумя сортами шагреня, сударь, такая же разница, как между океаном и землей, между рыбой и четвероногим. Но рыбья кожа тверже, чем кожа животных, водящихся на суше. Этот, — сказал он, указывая на талисман, — как вы, без сомнения, знаете, один из самых любопытных зоологических продуктов.

— А именно? — вскричал Рафаэль.

— Это кожа осла, — ответил ученый, опускаясь в кресло.

— Это я знаю, — сказал молодой человек.

— В Персии встречается необыкновенно редкий вид осла, — продолжал натуралист, — это онагр древних, aequus asinus, именуемый татарами кулан. Паллас наблюдал его и перенес в область науки. В самом деле, это животное долго считали мифическим. Оно, как вы знаете, не раз упоминается в священном писании; Моисей запретил случать его с сородичами. Но онагр еще более прославился тем, что был предметом распутства, о чем часто говорят библейские пророки. Паллас, как вам, без сомнения, известно, в Act. Petrop[1]., том II, говорит, что эти странные эксцессы до сих пор упорно почитаются персиянами и ногаями целебным средством против болезни почек и ишиаса. А мы, несчастные парижане, и не подозреваем этого!.. В зверинце при нашем Ботаническом саде нет онагра. Что за великолепное животное! — продолжал ученый. — Оно исполнено тайн: в его глазу есть некая отражающая оболочка, которой восточные народы приписывают силу чарования, шкура у него красивее и глаже, чем у самых красивых из наших лошадей; она испещрена рыжими полосами разных оттенков и похожа на шкуру зебры. Шерсть онагра мягкая, волнистая и жирна на ощупь, зрение по верности и точности не уступит человеческому; он немного крупнее наших лучших ручных ослов и одарен необыкновенной храбростью. Если случайно на него нападут, он защищается весьма удачно от свирепейших зверей; что касается скорости его бега, то ее можно сравнить только с птичьим полетом; на бегу онагр загнал бы насмерть лучших арабских или персидских лошадей. По свидетельству добросовестного доктора[2] Нибура-отца, недавнюю

---

[1] *Acta Petrop*. — «Acta Petropolitana» («Петербургская летопись») — труд естествоиспытателя, археолога и географа Петра-Симона Палласа, изданный в Петербурге в 1774—1776 гг. в трех томах.

[1] *Добросовестным доктором* здесь именуется автор «Римской истории» Бертольд Нибур, умерший в 1831 г. Его отец, Карстерс Нибур (1733—1815), опубликовал «Путешествие по Аравии», в котором говорится и об онагре. Упоминание о Нибуре-сыне позволяет уточнить вопрос о том, когда происходит эта сцена.

кончину которого мы, как вы, без сомнения, знаете, горько оплакиваем, это удивительное животное пробегает средним числом семь географических миль в час. Наши выродившиеся породы ослов, конечно, не могут дать нам и понятия об этом гордом и независимом осле. У него грациозная осанка, живой темперамент, умный и тонкий взгляд, изящная голова и полные кокетливости движения. Это зоологический царь Востока. Турецкие и персидские поверья приписывают ему даже таинственное происхождение, и имя Соломона связано с повествованиями тибетских и среднеазиатских сказителей о подвигах этих благородных животных. Наконец, прирученный онагр стоит огромных денег; его почти невозможно поймать в горах, где он прыгает, как дикая коза, и словно летает, как птица. Миф о крылатых конях, о нашем Пегасе, без сомнения, родился в этих странах, где пастухи могли часто наблюдать, как онагр прыгает со скалы на скалу. Верховых ослов, которые родятся в Персии от случки ослиц с прирученным онагром, выкрашивают в красный цвет в силу незапамятной традиции. Этот обычай, быть может, и породил нашу пословицу: зол, как красный осел. В то время, когда естественная история была во Франции в великом небрежении, какой-нибудь путешественник, вероятно, привез одно из этих любопытных животных, которые весьма нетерпеливо переносят рабство. Отсюда и поговорка. Кожа, которую вы мне показали, — продолжал ученый, — кожа онагра. Насчет происхождения этого имени мнения противоречивы. Одни полагают, что «шагри» слово турецкое, другие утверждают, что «шагри» название города, где этот зоологический продукт подвергается химической обработке, довольно хорошо описанной Палласом и придающей ему ту зернистость, которая нас восхищает; но г-н Мартелан писал мне, что «шагри» это ручеек.

— Я вам весьма благодарен за разъяснения, которые дали бы возможность какому-нибудь отцу Кальме[1] написать удивительную заметку, если б бенедиктинцы еще существовали; но я имею честь обратить ваше внимание на то обстоятельство, что этот кусок первоначально имел объем... вот этой географической карты, — оказал Рафаэль, указывая Лаврийю на открытый атлас, — и что в течение трех месяцев он заметным образом сжался...

— Понимаю, — отвечал ученый. — Все останки первобытных образований подлежат естественному уничтожению, которое легко заметить и ход которого зависит от атмосферических влияний. Даже самые металлы расширяются и сжимаются заметным образом, и инженеры наблюдали значительные пространства между большими камнями, первоначально прижатыми друг к другу железными обручами. Наука обширна, а жизнь человеческая коротка, и потому мы не притязаем на то, будто нам известны все явления природы.

— Извините, — в смущении продолжал Рафаэль, — но я предложу вам еще вопрос. Уверены ли вы, что эта кожа подчинена общим законам зоологии и что она может расшириться?

---

[2] К а л ь м е — богослов XVIII в.; славился пространностью своих комментариев.

— О, конечно... Ах, черт возьми! — воскликнул г-н Лаврий, тщетно стараясь растянуть талисман. — Но если вы отправитесь к г-ну Планшету, — продолжал он, — нашему знаменитому профессору механики, то он, конечно, найдет средство воздействовать на эту кожу, смягчить ее и растянуть.

— Ах, г-н Лаврий, вы спасли мне жизнь!

Рафаэль отвесил поклон ученому натуралисту и поспешил к г-ну Планшету, оставив добряка Лаврийя в кабинете, полном склянок и высушенных растений. Сам того не подозревая, он при этом посещении познакомился со всей человеческой наукой: с номенклатурой. Этот добряк Лаврий походил на Санчо-Панса, рассказывающего Дон-Кихоту побасенку о козах: он забавлялся тем, что считал животных и нумеровал их. Достигнув края могилы, он едва узнал небольшую частицу тех неизмеримых чисел, которые определяют великое стадо, рассеянное богом с неведомой целью по океану миров. Рафаэль был доволен.

— Буду держать своего осла в узде! — вскричал он.

Стерн раньше него сказал: «Кто хочет дожить до старости, должен щадить своего осла». Но скотина-то эта с норовом!

Планшет был высокий сухопарый мужчина, настоящий поэт, углубленный в непрестанное созерцание, занятый постоянным рассматриванием бездонной пропасти: *движения*. Обывательские душонки считают безумцами эти возвышенные умы, этих непонятных людей, живущих, нисколько не заботясь о роскоши и свете, курящих по целым дням потухшую сигару и являющихся в гостиную, не застегнув как следует пуговиц. И вот, в один прекрасный день, после долгого измерения пустоты или нагромождения иксов под Aa — Gg, им удается проанализировать какой-нибудь закон природы и разложить простейший из элементов; тогда толпа вдруг приходит в изумление от новой машины или какой-нибудь повозки, несложность устройства которой нас и удивляет, и поражает. Скромный ученый улыбается, говоря своим поклонникам: «Что ж я изобрел? Ничего. Человек не изобретает силу, он только управляет ею, и наука заключается в подражании природе».

Рафаэль застал механика стоящим неподвижно, в позе повешенного, оттянувшего веревку виселицы. Планшет наблюдал за агатовым шариком, который катился по диску солнечных часов, и ждал, когда тот остановится. Бедняга не получил ни ордена, ни пенсии, потому что не умел расхваливать своих вычислений. Счастливый тем, что живет, подкарауливая какое-нибудь открытие, он не думал ни о славе, ни о самом себе, и жил, погруженный в науку ради науки.

— Нет, это непостижимо! — вскричал Планшет. — Ах, здравствуйте, сударь, — продолжал он, заметив Рафаэля. — Здорова ли ваша матушка? Пройдите к жене...

«А ведь и я мог бы жить так!» — подумал Рафаэль и вывел ученого из мечтательности, спросив, каким способом воздействовать на талисман, который он тут же ему передал.

— Хотя бы вы стали смеяться над моим легковерием, — сказал в заключение маркиз, — я не скрою от вас ничего. Эта кожа, как мне кажется, обладает такой силой сопротивления, которую ничто не в силах превозмочь.

— Светские люди обращаются с наукой довольно бесцеремонно,— возразил ученый,— почти все повторяют нам то, что сказал Лаланду[1] один энкруаябль, приведя к нему дам по окончании затмения: «Будьте добры, начните сначала». Какое действие хотите вы произвести? Цель механики — прилагать законы движения или же их нейтрализовать. Что же касается самого движения, то я вам смиренно заявляю, что мы бессильны определить его. Установив это, мы заметили несколько постоянных явлений, которые управляют действием твердых и жидких тел. Воспроизводя причины, порождающие эти явления, мы можем перемещать тела, сообщать им двигательную силу в соответствии с определенной скоростью, кидать их, делить их просто или до бесконечности, смотря по тому, дробим ли мы их или превращаем в порошок, затем мы можем их свертывать, придавать им вращательное движение, видоизменять их, сжимать, расплющивать и растягивать. Эта наука, милостивый государь, покоится исключительно на одном факте. Вы видите этот шарик,— продолжал Планшет.— Он находится здесь, на этом камне. А вот он уже там. Каким именем обозначим мы это действие, физически столь естественное и нравственно столь необыкновенное? Движение, передвижение, перемещение? Какое огромное тщеславие скрывается под этими словами! Разве слово это — объяснение? И, однако, в этом вся наука. Наши машины пользуются этим актом, этим фактором или разлагают его. Это незначительное явление, примененное в большом масштабе, взорвало бы Париж. Мы можем увеличить скорость за счет силы и силу за счет скорости. Что такое сила и скорость? Наша наука не может ответить на этот вопрос, как она не может создать движения. Движение, какого бы рода оно ни было, великая сила, а человек не изобретает сил. Сила едина, как и движение, являющееся сущностью силы. Всё есть движение. Мысль есть движение. Природа основана на движении. Смерть есть движение, предел которого нам мало известен. Если бог вечен, то, поверьте, он вечно в движении; бог, быть может, и есть движение. Вот почему движение столь же необъяснимо, как и он, и как он, глубоко, беспредельно, непостижимо и неосязаемо. Кто когда-либо осязал, понял, измерил движение? Мы чувствуем его проявления, не видя их. Мы можем даже отрицать его, как отрицаем бога. Где оно или где его нет? Откуда оно исходит? Где его начало? Где его конец? Оно окружает, толкает нас и ускользает. Оно, очевидно, как факт, как абстракция: в одно и то же время — следствие и причина Ему, как нам, нужно пространство, а что такое пространство? Только движение открывает нам его; без движения оно не что иное, как слово, лишенное смысла. Движение, эта неразрешимая проблема, сходная с проблемой пустоты, проблемой творения, проблемой бесконечности, спутывает наши мысли, и человеку дозволено постигнуть только то, что он никогда ее не постигнет. Между каждой из точек, постепенно занимаемых этим шариком в пространстве,— продолжал ученый,— зияет пропасть для человеческого разума, пропасть, куда упал Паскаль. Чтоб воздействовать

[1] Лаланд, Ж.-Ж. (1732—1807) — французский астроном.

на неизвестное вещество, которое вы хотите подвергнуть влиянию неизвестной силы, мы сперва должны изучить это вещество; смотря по его природе, оно или разобьется под ударом, или устоит; если оно распадется на части, а это не соответствует нашим намерениям, то мы не достигнем намеченной цели. Вы хотите его сжать? Надо передать равное движение всем частичкам вещества таким образом, чтоб промежутки, их разделяющие, уменьшились равномерно. Хотите ли вы его расширить,— вы должны постараться придать каждой молекуле эксцентрическую силу; без точного соблюдения этого закона мы вызовем разрыв и нарушим непрерывность. Движению, милостивый государь, присущи бесконечные формы, бесчисленные комбинации. Какую цель вы преследуете?

— Я желаю, — нетерпеливо отвечал Рафаэль, — при помощи какого-нибудь достаточно сильного давления растянуть эту кожу до беспредельности...

— Вещество имеет предел, — отвечал математик, — и его нельзя бесконечно расширять; сжимание неизбежно увеличит его поверхность за счет толщины; оно будет утончаться до тех пор, пока не исчезнет материя.

— Достигните этого результата, и вы получите миллионы! — вскричал Рафаэль.

— Это значило бы украсть у вас деньги, — с голландской флегматичностью отвечал профессор. — Я вам в двух словах объясню устройство машины, которая способна раздавить самого бога, как муху. Она превратит человека в промокашку, целого человека, вместе с сапогами, шпорами, галстуком, шляпой, золотом, драгоценностями... и всем прочим...

— Какая ужасная машина!

— Вместо того, чтоб бросать детей в воду, китайцы должны бы при помощи этого способа извлекать из них пользу, — продолжал ученый, не думая об уважении человека к своему потомству.

Поглощенный своею идеей, Планшет взял пустой цветочный горшок с дырочкой на дне и поставил его на плиту солнечных часов; затем он принес из сада немного глины. Рафаэль был очарован, как ребенок, которому мамка рассказывает волшебную сказку. Положив глину на плиту, Планшет вынул из кармана садовый нож, срезал две ветки бузины и начал вычищать сердцевину, посвистывая, точно Рафаэля тут и не было.

— Вот части машины, — сказал он.

При помощи глиняного колена он прикрепил одну из этих деревянных трубочек ко дну горшка таким образом, что отверстие трубочки соответствовало дырке в горшке. Получилась как бы громадная трубка. Затем он положил на плиту слой глины, придав ей форму лопаты, поставил цветочный горшок более широким концом и прикрепил бузинную ветку к части, представлявшей ручку. Потом положил ком глины у края бузинной трубки и укрепил там другую полую ветку, совсем прямо, вылепив еще колено, чтобы соединить ее с горизонтальной веткой, так что воздух или другая окружающая жидкость могла обращаться в этой импровизированной машине и течь от отверстия вертикальной трубки через промежуточный канал в большой пустой цветочный горшок.

— Этот прибор, — сказал он Рафаэлю с серьезностью академика, произносящего вступительную речь, — вполне оправдывает восхищение, которое вызывает в нас Паскаль.

— Не понимаю.

Ученый улыбнулся. Он отвязал от фруктового дерева небольшую склянку, присланную ему аптекарем и заключавшую в себе липкую жидкость для ловли муравьев, отбил у нее дно, устроил воронку и тщательно приставил ее к отверстию полой ветки, которую укрепил вертикально в противовес большому резервуару, изображаемому цветочным горшком; затем, при помощи лейки, он налил туда такое количество воды, чтоб она держалась на одном уровне и в большом сосуде и в маленьком круглом отверстии бузинной трубки. Рафаэль думал о своей Шагреневой Коже.

— Мы и в наше время придерживаемся убеждения, что вода — тело несжимаемое, — сказал механик; — не забудьте этого основного принципа; тем не менее, она сжимается, но столь незначительно, что мы можем считать силу ее сжимаемости равной нулю. Вы видите поверхность воды, поднявшейся до краев цветочного горшка?

— Да.

— Ну-с, теперь предположите, что эта поверхность в тысячу раз больше по сравнению с отверстием бузинной трубочки, через которую я влил жидкость. Глядите, я отнимаю воронку.

— Вижу...

— Итак, милостивый государь, если я при помощи какого-нибудь средства увеличу объем этой массы, введя через отверстие маленькой трубки новое количество воды, то жидкость, вынужденная опуститься, будет подниматься в резервуаре, изображаемом цветочным горшком, до тех пор, пока не достигнет в обоих сосудах одного и того же уровня.

— Очевидно! — вскричал Рафаэль.

— Но тут та разница, — продолжал ученый, — что если тонкий столб воды, прибавленный в маленькую вертикальную трубочку, представляет силу, равную весу, примерно, одного фунта, то поскольку его действие вполне передается жидкой массе и будет давить на все точки водяной поверхности в цветочном горшке, у нас получится тысяча столбцов воды, и все эти столбцы, стремясь подняться, как если б они были приведены в движение силою, равной той, что заставляет жидкость опускаться в вертикальной бузинной трубке, неизменно произведут здесь, — сказал Планшет, указывая Рафаэлю на отверстие цветочного горшка, — силу в тысячу раз большую, чем та, которая туда введена.

И ученый указал пальцем на деревянную трубку, вертикально вставленную в глину.

— Все это очень просто, — сказал Рафаэль.

Планшет улыбнулся.

— Другими словами,— продолжал он с логическим упорством, свойственным математикам,— для противодействия натиску воды необходимо бу-

дет развить в каждой части поверхности силу, равную силе, действующей в вертикальной трубке; но с тою разницею, что если бы столб жидкости равнялся там футу, то тысячи маленьких столбцов большой поверхности поднялись бы здесь на весьма незначительную высоту. Теперь,— сказал Планшет, щелкая по палочкам,— заменим этот смешной прибор металлическими трубами достаточной прочности и соответствующих размеров; если вы покроете крепкой подвижной плоскостью жидкую поверхность большого резервуара и если этой плоскости вы противопоставите другую, обладающую надежной сопротивляемостью и упругостью; если, сверх того, вы дадите мне возможность беспрерывно доливать воду через маленькую вертикальную трубку к жидкой массе, то предмет, находящийся между двумя плоскостями, должен неизбежно уступить той огромной беспредельной силе, которая сжимает его. Непрерывно накачивать воду при посредстве маленькой трубки, а равно и передавать давление жидкой массы какой-нибудь плоскости механику ровно ничего не стоит. Для этого достаточно двух поршней и нескольких клапанов. Согласитесь же, мой милый,— продолжал он, взяв Валантена за руку,— что нет вещества, которое, будучи помещено между этими двумя непреодолимыми в отношении сопротивляемости силами, не было бы принуждено расплющиться.

— Как? И это открыл автор «Провинциальных писем?» — вскричал Рафаэль.

— Да, милостивый государь, он, и вполне самостоятельно. Механика не знает ни более простого, ни более прекрасного открытия. Обратному принципу, принципу расширяемости воды, мы обязаны изобретением паровой машины. Но вода расширяется только до известной степени, между тем как ее несжимаемость, будучи в некотором смысле силой отрицательной, является неизбежным образом беспредельной.

— Если вы растянете эту кожу, — сказал Рафаэль, — то я даю обещание воздвигнуть колоссальную статую Блезу Паскалю, учредить на каждые десять лет премию в сто тысяч франков за решение наиболее выдающейся задачи по механике, дать приданое вашим двоюродным и троюродным сестрам и, наконец, построить богадельню для обедневших и сошедших с ума математиков.

— Это было бы очень полезно, — ответил Планшет. — Завтра же, — продолжал он со спокойствием человека, живущего в чисто интеллектуальной сфере, — мы отправимся к Шпигхальтеру. Этот превосходный механик только что соорудил по моим планам усовершенствованную машину, при помощи которой ребенок может уместить тысячу вязанок сена в своей шляпе.

— До завтра, сударь.

— До завтра.

— Вот что значит механика! — вскричал Рафаэль. — Разве это не первейшая из наук? Тот со своими онаграми, классификацией, утками, видами и уродами в склянках достоин разве только быть маркером в общественной биллиардной.

На другой день Рафаэль в веселом расположении духа отправился к Планшету, и они вместе поехали на улицу Здоровья, самое имя которой было хо-

рошим предзнаменованием. Очутившись у Шпигхальтера, маркиз увидал обширное помещение и в нем множество красных и раскаленных горнов. То был дождь огня, поток гвоздей, океан поршней, винтов, рычагов, брусьев, пил, гаек; море чугуна, дерева, клапанов и полосовой стали. Металлическая пыль лезла в горло. В воздухе чувствовалось железо, люди были покрыты железом, все воняло железом; железо жило, оно было организовано, оно превращалось в жидкость, ходило, думало, принимая всяческие формы, повинуясь всем причудам. Под вой поддувальных мехов, под крещендо молотов, под свист станков, на которых рычало железо, Рафаэль прошел в большое помещение, чистое и хорошо проветренное, где мог вдоволь насмотреться на огромный пресс, о котором ему говорил Планшет. Он залюбовался на толстые чугунные доски и железные щеки зажима, соединенные неразрушимым стержнем.

— Если вы быстро повернете семь раз эту ручку, — сказал ему Шпигхальтер, указывая на балансир из полированного железа, — то стальной брус разлетится на тысячи кусочков, которые вопьются вам в ноги, как иголки.

— Черт возьми! — вскричал Рафаэль.

Планшет сам просунул Шагреневую Кожу между двумя плоскостями могучего пресса и, полный того спокойствия, которое дают научные убеждения, быстро повернул ручку.

— Ложитесь все, или вас убьет! — вскричал Шпигхальтер громовым голосом и сам бросился на землю.

В мастерских послышался ужасный свист. Вода, находившаяся в машине, разорвала чугун, брызнула с неизмеримой силой и, по счастью, ударила в старый горн, который опрокинула, перевернула, смяла, как смерч мнет в своих объятьях и уносит с собой дома.

— О, — спокойно сказал Планшет, — а шагрень-то целехонек! У вас, Шпигхальтер, в чугуне была трещина или какая-нибудь щель в большой трубе.

— Нет, нет, за чугун я ручаюсь. Унесите отсюда, сударь, эту штуковину, в нее сам черт вселился.

Немец схватил кузнечный молот, бросил кожу на наковальню и со всей силы, какую порождает гнев, закатил талисману такой удар, какого еще не раздавалось в его мастерских.

— И даже следа не осталось! — вскричал Планшет, разглаживая упрямый шагрень.

Прибежали рабочие. Подмастерье схватил кожу и бросил ее на угли одного из горнов. Все столпились полукругом около огня, с нетерпением ожидая, когда будут приведены в действие огромные мехи. Рафаэль, Шпигхальтер и профессор Планшет стояли в центре этой черной и внимательной толпы. Глядя на эти белые глаза, на головы, покрытые железной пылью, на черные лоснящиеся одежды, на косматые груди, Рафаэль подумал, что перенесся в мрачный и фантастический мир немецких баллад. Продержав кожу в горне около десяти минут, подмастерье схватил ее щипцами.

— Дайте сюда, — сказал Рафаэль.

Подмастерье, думая пошутить, поднес ее Рафаэлю. Маркиз без всякого усилья помял рукой холодную и гибкую кожу. Раздался крик ужаса, рабочие разбежались; в опустевшей мастерской остались только Валантен и Планшет.

— Действительно, тут замешалась чертовщина! — в отчаянии вскричал Рафаэль. — Никакая человеческая сила не сможет прибавить мне и дня жизни.

— Я ошибся, — с сокрушенным видом отозвался математик, — следовало бы подвергнуть эту странную кожу действию прокатного станка. Где у меня были глаза, когда я предложил подвергнуть ее давлению?

— Я сам пожелал этого, — возразил Рафаэль.

Ученый вздохнул, как обвиняемый, оправданный двенадцатью присяжными. Впрочем, заинтересованный странной задачей, которую предлагала ему эта кожа, он подумал с минуту и сказал:

— Надо действовать на это странное вещество реактивами. Пойдемте к Жафе; быть может, химия окажется счастливее механики.

Валантен пустил лошадь рысью, в надежде застать знаменитого химика Жафе в лаборатории.

— Ну, старый друг,— сказал Планшет, увидя, что Жафе сидит в кресле и рассматривает осадок,— как поживает химия?

— Заснула. Ничего нового. Впрочем, Академия признала существование салицина. Но салицин, аспарагин, вокелин и дигиталин еще не открытия.

— Не имея возможности открывать новые элементы, — заметил Рафаэль, — вы, по-видимому, довольствуетесь изобретением новых имен.

— Черт подери, это истинная правда, молодой человек!

— Так вот, — сказал профессор Планшет химику, — попробуй-ка разложить это вещество; если ты добудешь из него какой-нибудь новый элемент, то я заранее называю его *дьяволином*, так как, желая сжать его, мы только что сломали гидравлический пресс.

— Покажите-ка, покажите! — весело вскричал химик, — быть может, это еще не открытое простое тело.

— Это всего-навсего кусок ослиной кожи, — сказал Рафаэль.

— Что? — с важностью переспросил знаменитый химик.

— Я не шучу, — отвечал маркиз, подавая ему Шагреневую Кожу.

Барон Жафе прикоснулся к коже нервными сосочками своего языка, столь опытного в распознавании на вкус солей, кислот, щелочей, газов, и после нескольких попыток сказал:

— Никакого вкуса! Ну-с, попробуем попоить ее немного фтористой кислотой.

Подверженная действию этого вещества, столь быстро разлагающего ткани животных, кожа не претерпела никакого изменения.

— Это не шагрень! — вскричал химик. — Давайте считать этого таинственного незнакомца минералом и дадим ему щелчок по носу, положив в огнеупорный тигель, где у меня как раз углекислый калий.

Жафе вышел и скоро вернулся.

— Позвольте мне кусочек этого странного вещества, — сказал он Рафаэлю, — оно до того необыкновенно...

— Кусок! — вскричал Рафаэль, — ни даже в толщину волоска. Впрочем, попробуйте, возьмите, — сказал он с печальным и вместе с тем насмешливым видом.

Ученый, пытаясь отрезать кусок шагреня, сломал бритву; он попробовал разбить кожу при помощи сильного электрического разряда, затем подвергнул ее действию вольтового столба, но все перуны его науки оказались бессильны в отношении страшного талисмана.

Было семь часов вечера. Планшет, Жафе и Рафаэль, не замечая, как бежит время, ждали результата последнего опыта. Шагрень вышел победителем из ужасного испытания, которому его подвергли, прибегнув к значительному количеству хлористого азота.



— Я погиб! — вскричал Рафаэль. — Тут перст божий! Я умру!

И он покинул изумленных ученых.

— Не надо говорить об этом случае в Академии: наши товарищи засмеют нас, — сказал Планшет химику после долгого молчания, в течение которого они глядели друг на друга, не осмеливаясь высказать свои мысли.

Они походили на христиан, которые, проснувшись за гробом, не нашли бы бога на небе. Наука? — она бессильна! Кислоты? — чистая вода! Углекислый газ? — обесчещен! Вольтов столб и молния? — игрушки!

— Гидравлический пресс раскрошился, как ломтик хлеба, — прибавил Планшет.

— Я верю в дьявола, — сказал барон Жафе после минутного молчания.

— А я в бога, — отвечал Планшет.

Оба не вышли из своих ролей. Для механика вселенная — машина, предполагающая существование мастера; для химии, этой дьявольской все разлагающей науки, мир есть газ, одаренный движением.

— Мы не можем отвергать факта, — сказал химик.

— Ба, для нашего утешения господа доктринеры придумали туманную аксиому: «Глупо, как факт».

— По-моему, — возразил химик, — твоя аксиома фактически глупа.

Они захохотали и отобедали, как люди, не видящие в чуде ничего, кроме обыкновенного явления.

Когда Валантен вернулся домой, его обуяло холодное бешенство; он больше ни во что не верил, мысли мутились у него в голове, вертелись и колыхались, как у человека, наткнувшегося на невозможный факт. Он охотно поверил бы в скрытый недостаток машины Шпигхальтера; бессилие науки и огня не удивляло его; но гибкость кожи, когда он вертел ее в руках, ее устойчивость в отношении всех средств разрушения, доступных человеку, ужасала его. От этого неоспоримого факта у него кружилась голова.

— Я сошел с ума, — сказал он самому себе. — Я ничего не ел с утра, а между тем не чувствую ни голода, ни жажды, и в груди у меня точно огонь горит.

Он вставил Шагреневую Кожу в рамку, где она была раньше, и, очертив красными чернилами теперешний контур талисмана, сел в кресло.

— Уже восемь часов! — воскликнул он. — Нынешний день прошел, как сон.

Он облокотился на ручку кресла, подпер голову левой рукой и предался тем печальным размышлениям, тем снедающим думам, тайну которых уносят с собой приговоренные к смерти.

— Ах, Полина, — вскричал он, — бедное дитя! Есть пропасти, через которые не может перелететь любовь, как ни сильны ее крылья.

В это время он весьма явственно услышал подавленный вздох и, благодаря одному из самых трогательных преимуществ страсти, узнал дыхание своей Полины.

— О! — сказал он,— вот мой приговор. Будь она тут, я хотел бы умереть в ее объятиях.

Взрыв чистосердечного, веселого смеха заставил его обернуться в сторону кровати, и сквозь полупрозрачные занавеси он увидел лицо Полины, которая улыбалась, как ребенок, обрадованный удавшейся проделкой; ее прекрасные волосы рассыпались бесчисленными локонами по плечам; она походила на бенгальскую розу в ворохе белых роз.

— Я подкупила Ионафана, — сказала она. — Разве это не моя постель? Ведь я твоя жена. Не брани меня, милый, я хотела только уснуть подле тебя, застать тебя врасплох. Прости мне эту шалость.

Она, как кошечка, спрыгнула с постели, сияя в своем кисейном наряде, и села к Рафаэлю на колени.

— О какой пропасти говорил ты, любимый мой? — сказала она, причем у нее на челе появилось озабоченное выражение.

— О смерти.

— Ты меня огорчаешь,— отвечала она.— Есть некоторые вещи, о которых мы, несчастные женщины, не можем думать: они нас убивают. Отчего это, от силы ли любви или от недостатка храбрости? Не знаю. Смерть меня не страшит,— смеясь продолжала она.— Умереть с тобой завтра утром, слившись в последнем поцелуе — было бы счастьем. Мне кажется, что я прожила бы при этом более ста лет. Что значит число дней, если в одну ночь, в один час мы исчерпаем целую жизнь, полную мира и любви!

— Ты права, само небо говорит твоим прелестным ротиком. Дай же я поцелую его, и умрем, — сказал Рафаэль.

— Умрем, — со смехом отвечала она.

Около девяти часов утра свет проник сквозь щели жалюзи; хотя он и был ослаблен кисейными занавесями, всё-таки можно было разглядеть пышную расцветку ковра и шелковую мебель комнаты, где почивали двое влюбленных. Кое-где блестела позолота. Луч солнца замирал на пуховом одеяле, сброшенном на пол в пылу любовных игр. Повешенное на большом трюмо платье Полины казалось туманным привидением. Крохотные туфельки валялись поодаль от постели. Соловей присел на подоконнике; его повторявшиеся трели, а затем и шорох быстро раскрытых крыльев, когда он улетал, разбудили Рафаэля.

— Для того, чтобы я умер, — сказал он, доканчивая мысль, пришедшую ему во сне, — надо, чтобы мое тело, этот механизм из мяса и костей, оживленный моей волей и превращающий меня в человеческий индивид, получило значительное повреждение. Доктора должны знать симптомы поражения жизнеспособности и могут определить: здоров я или болен.

Он посмотрел на спящую жену, лицо которой и во сне выражало нежное внимание любви. Грациозно раскинувшись, как ребенок, и повернувшись лицом к Рафаэлю, Полина, казалось, всё еще глядела на него и подставляла ему свой очаровательный ротик, полуоткрытый ровным и чистым дыханием. Фарфоровые зубки оттеняли кармин ее свежих губ, на которых блуждала улыбка; румянец был еще живее, и белизна, так сказать, еще более в эту минуту, чем в самые напоенные любовью часы дня. Ее прелестная, полная доверчивости непосредственность сочетала чары любви с милой привлекательностью заснувшего ребенка. Женщины, даже самые естественные, днем повинуются некоторым общественным условностям, налагающим оковы на наивную откровенность их души; но сон как будто возвращает им живую порывистость, столь красящую детство. Полина не краснела ни от чего, как те милые и небесные создания, у которых ум не придал еще движениям рассудочности, а взглядам — тайны. Ее профиль отчетливо вырисовывался на тонком батисте подушек; крупные кружевные рюши спутались с распущенными волосами и придавали ей слегка задорное выражение; она заснула в час наслаждения, ее длинные ресницы прижались к щеке, как будто в защиту глаз от слишком сильного света или для того, чтобы создать ту сосредоточенность души, с помощью которой она пытается удержать бесподобное, но скоропреходящее вожделение; ее маленькое бело-розовое ушко, обрамленное кудрями, и вы-

делявшееся на банте из мехельнских кружев, могло бы свести с ума ценителя искусств, живописца, старца, быть может возвратить разум безумному. Видеть свою любовницу спящей, улыбающейся во сне, покоящейся под вашей защитой, любящей вас даже среди сонных грез, в те мгновения, когда как будто перестаешь жить, и подставляющей вам немой ротик, который говорит о последнем поцелуе! — видеть доверчивую, полуобнаженную женщину, закутанную в любовь, как в плащ, и целомудренную, несмотря на наготу; любоваться на ее разбросанные одежды, на шелковый чулок, быстро снятый вчера для вашего удовольствия, на распущенный пояс, говорящий о бесконечной доверчивости к вам, разве это не радость, которой нет имени? Этот пояс — целая поэма; женщины, которую он защищал, уже не существует, она принадлежит вам, она сделалась вами; отныне, поступив с ней вероломно, вы нанесете обиду самому себе. Умиленный Рафаэль окинул взором комнату, напоенную любовью, полную воспоминаний, где свет принимал сладострастные оттенки, и вновь стал глядеть на чистые, юные, еще насыщенные страстью формы этой женщины, чьи чувства, в особенности, принадлежали ему безраздельно. Рафаэлю хотелось жить вечно. Не успел взгляд его упасть на Полину, как она тотчас же открыла глаза, словно на них заиграл луч солнца.

— Здравствуй, дружок, — сказала она улыбаясь, — как ты хорош, плутишка!

Печать прелести, зависящей от любви, молодости, полусвета и тишины, отличала эти две головы, и они представляли одну из тех дивных картин, преходящее очарование которых выпадает только на долю первых дней страсти, подобно тому, как наивность и чистота составляют принадлежность детства. Увы, этим вешним радостям любви, как и смеху юных лет, суждено исчезнуть и жить только в нашем воспоминании, приводя нас в отчаяние или же распространяя на нас некое утешающее благоухание, смотря по причудам наших тайных мечтаний.

— Зачем ты проснулась? — сказал Рафаэль. — Я любовался тобой, когда ты спала, и плакал при этом.

— И я тоже, — отвечала она, — я тоже плакала нынче ночью, глядя, как ты спишь, но только не от радости. Послушай, Рафаэль, послушай меня. Когда ты спишь, дыхание у тебя не свободное: в твоей груди что-то отдается, и это пугает меня. Во сне у тебя короткий, сухой кашель, совсем такой, как у моего отца, а он умирает от чахотки. По шуму в легких я узнала признаки этой болезни. Потом у тебя лихорадка, я уверена: твоя рука была мокрая и горячая. Милый, — вздрогнув, продолжала она, — ты еще молод, ты можешь вылечиться, если по несчастью... Но нет, — весело вскричала она, — никакого несчастья быть не может; ведь эта болезнь передается: так говорят врачи.

Она обняла Рафаэля и вобрала в себя его дыхание одним из тех поцелуев, в которых передается душа.

— Я не хочу быть старухой, — сказала она. — Умрем оба молодыми и полетим на небо с цветами в руках.

— Такие мечты приходят всегда, когда мы вполне здоровы, — отвечал Рафаэль, погружая руку в волосы Полины.

Но тут с ним сделался ужасный припадок кашля, того мрачного и звонкого кашля, словно исходящего из могилы, от которого у больных бледнеет лоб и который, истрепав все нервы, истерзав бока, утомив спинной мозг и влив в жилы какую-то тяжесть, вызывает дрожь и испарину во всем теле. Рафаэль, разбитый, бледный, медленно прилег; он был истомлен, как человек, растративший всю силу в последнем напряжении. Полина уставилась на него глазами, расширенными от страха, да так и осталась без движения, бледная и безмолвная.

— Не будем больше делать глупостей, ангел мой, — сказала она, стараясь скрыть от Рафаэля волновавшие ее ужасные предчувствия.

Она закрыла лицо руками, потому что увидела отвратительный остов *смерти*. Голова Рафаэля стала мертвенной и впалой, как череп, вырытый из глубины кладбища, чтоб сделаться предметом изучения какого-нибудь ученого. Полина вспомнила о восклицании, которое накануне вырвалось у Валантена, и сказала самой себе:

— Да, есть пропасти, через которые любви не перелететь, но она должна похоронить в них себя.

В одно мартовское утро, через несколько дней после этой ужасной сцены, Рафаэль сидел в кресле, окруженный четырьмя врачами, которые поместили его на свету перед окном и поочередно проверяли пульс, ощупывали и расспрашивали с видимым интересом. Больной старался угадать мысли своих эскулапов, перетолковывая про себя их жесты и малейшие складки, появляющиеся у них на лбу. Эта консультация была его последней надеждой. Верховные судьи должны были вынести приговор: жить ему или умереть. И вот, чтобы исторгнуть у человеческой науки ее последнее слово, Валантен созвал оракулов новейшей медицины [1]. Благодаря его состоянию и знатному имени перед ним находились три системы, между которыми колеблются человеческие знания. Трое из этих докторов были носителями всей философии медицины и представляли ту борьбу, которая происходит между спиритуализмом, анализом и уж не знаю каким насмешливым эклектизмом. Четвертый доктор был Гораций Бьяншон, человек науки и с будущностью, быть может самый выдающийся из начинающих врачей, умный и скромный представитель той прилежной молодежи, которая готовится получить в наследство сокровища, собранные в течение пятидесяти лет парижским факультетом, и, вероятно, воздвигнет памятник из накопленных предыдущими веками столь разнообразных материалов. Друг Растиньяка и маркиза, он лечил последнего уже несколько дней и помогал ему отвечать на расспросы тех профессоров, которым с некоторой настойчивостью разъяснял признаки, обнаруживавшие, по его мнению, легочную чахотку.

---

[1] *Оракулы современной медицины.* В их спорах Бальзак довольно точно изобразил трех известных врачей своего времени. Брисе даже по внешности напоминает врача Бруссе, главу физиологической школы, и Камеристус — врача Рекамье, главу виталистической школы. У Могреди комментаторы находят черты врача Мажанди, эклектика. Четвертый доктор, Бьяншон — фигура вымышленная. Он фигурирует во многих произведениях Бальзака.

— Вы, без сомнения, предавались излишествам, вели рассеянную жизнь, занимались усиленной умственной работой? — спросил Рафаэля один из трех знаменитых докторов, четырехугольная голова, широкое лицо и энергичный облик которого, по-видимому, обличали гений более выдающийся, чем у его двух антагонистов.

— Я хотел убить себя разгулом после трехлетней работы над обширным сочинением, которым вы, быть может, когда-нибудь займетесь, — отвечал ему Рафаэль.

Великий врач кивнул головой в знак удовлетворения и как бы сказал самому себе:

«Я был в этом уверен!»

Этот доктор был известный Брисе, глава органической школы, последователь Кабаниса и Бита, врач позитивного и материалистического направления, который видел в человеке законченное существо, подлежащее единственно законам своей собственной организации, существо, чье нормальное или смертельно анормальное состояние объясняется очевидными причинами.

При этом ответе Брисе молча взглянул на человека среднего роста, чье багровое лицо и горящие глаза словно принадлежали какому-нибудь древнему сатиру и который, опершись спиной об угол амбразуры, внимательно и безмолвно рассматривал Рафаэля. Человек восторженный и верующий, доктор Камеристус, глава виталистов, поэтический защитник отвлеченных доктрин ван Гельмонта, видел в человеческой жизни возвышенный и тайный принцип, необъяснимое явление, которое смеется над анатомическим скальпелем, обманывает хирургию, ускользает от фармацевтических лекарств, от иксов алгебры, от показательных анатомических опытов и издевается над нашими усилиями; особый род пламени, неосязуемого, невидимого, подлежащего некоему божественному закону, которое часто еще теплятся в теле, уже приговоренном нами к смерти, и, напротив, угасает в самых живучих организмах.

Сардоническая улыбка блуждала на устах третьего доктора, г-на Могреди, человека с замечательным умом, но скептика и насмешника, который верил только в скальпель, соглашался с Брисе насчет смерти вполне здорового человека и признавал с Камеристусом, что человек может жить и после своей кончины. Он находил положительные стороны во всех теориях, не признавая ни одной; полагал, что лучшая медицинская система заключается в том, чтобы вовсе не иметь системы и придерживаться фактов. Панург науки, царь наблюдений, этот великий исследователь и насмешник, сторонник самых рискованных опытов, разглядывал Шагреневую Кожу.

— Я желал бы быть свидетелем совпадения, существующего между вашими желаниями и сжатием кожи, — сказал он маркизу.

— Зачем? — вскричал Брисе.

— Зачем? — повторил Камеристус.

— Ага, вы согласны между собою, — заметил Могреди.

— Это сжатие — весьма простая вещь, — добавил Брисе.

— Оно сверхъестественно, — сказал Камеристус.

— В самом деле, — заметил Могреди, принимая важный вид и отдавая Рафаэлю Шагреневую Кожу, — ссыхание кожи — факт необъяснимый и в то же время естественный; с начала мира он приводит в отчаяние и медицину и хорошеньких женщин.

Присматриваясь к трем докторам, Валантен не обнаружил в них никакого сочувствия к его страданиям. Все трое, умолкая после его ответов, глядели на него с полным безразличием и расспрашивали без всяких признаков сожаления. Небрежность просвечивала сквозь их вежливость. Были ли доктора уверены в себе или заняты размышлениями, но говорили они так мало и так равнодушно, что Рафаэль иногда принимал это за рассеянность. Только Брисе от времени до времени повторял: «Хорошо, прекрасно!» при каждом печальном симптоме, на который указывал Бьяншон. Камеристус был погружен в глубокую задумчивость, а Могреди походил на автора комедий, изучающего двух оригиналов, для того чтобы перенести их с полным сходством на сцену. Лицо Горация выдавало глубокую скорбь и умиленность, полную тоски. Он еще слишком недавно стал доктором, чтоб равнодушно смотреть на страдания и оставаться безучастным у постели умирающего; он не умел еще удерживать дружелюбных слез, которые застилают зрение и не позволяют, как это делает главнокомандующий, схватить благоприятный для победы момент, не внимая крикам умирающих. Посвятив полчаса сниманию, если так можно выразиться, мерки с болезни больного, подобно портному, которому молодой человек заказал подвенечный фрак, доктора высказали несколько общих мест, поговорили даже об общественных делах; затем они пожелали пройти в кабинет Рафаэля, чтобы сообщить друг другу свои мысли и сформулировать приговор.

— Господа, — сказал им Рафаэль, — нельзя ли мне присутствовать при вашем совещании?

Услышав это, Брисе и Могреди с живостью запротестовали и, невзирая на настояния больного, отказались совещаться в его присутствии. Рафаэль подчинился обычаю, сообразив, что он может пробраться в коридор и оттуда свободно услышать медицинские рассуждения трех докторов.

— Господа, — сказал, входя, Брисе, — позвольте мне наскоро изложить вам свое мнение. Я не хочу ни навязывать вам его, ни выслушивать возражений; оно ясно, точно и проистекает из полного сходства между одним из моих больных и субъектом, к которому мы призваны; помимо того, меня ждут в больнице. Важность дела, требующего моего там присутствия, послужит мне извинением в том, что я первый взял слово. Занимающий нас субъект равно утомлен как умственной работой... Что он написал, Гораций? — спросил Брисе, обращаясь к молодому врачу.

— *Теорию воли!*

— А, черт возьми, да это обширная тема!.. Он утомлен,— говорю я,— чрезмерным умственным напряжением, уклонением от правильного режима и повторным употреблением слишком крепких возбуждающих средств. Усиленная деятельность тела и мозга повредила правильному отправлению всего организма. В симптомах лица и тела, господа, легко распознать необычайное

раздражение желудка, невроз симпатического нерва, сильную чувствительность в подложечной области и сжатие подреберной плевы. Вы заметили величину и вздутость печени. Наконец, г-н Бьяншон постоянно следил за пищеварением больного и говорил нам, что оно затруднено и болезненно. Собственно говоря, желудка более не существует, человек уничтожился. Ум атрофирован, потому что человек не переваривает пищи. Прогрессивное изменение верхней брюшной полости, центра жизни, повредило всей системе. Отсюда явные и постоянные отраженные боли: при посредстве нервного сплетения расстройство достигло мозга; отсюда чрезмерная раздражительность этого органа. Налицо — мономания. Больной находится под гнетом навязчивой идеи. Для него Шагреневая Кожа в действительности сжимается, хотя, быть может, она всегда была такой, какой мы ее видели; но сжимается он или нет, все же этот шагрень для него та же муха, которую один великий визирь видел постоянно у себя на носу. Поэтому приставьте скорее пиявки к подложечной области, успокойте раздражение этого органа, являющегося средоточием всего человека, держите большого на диете, и мономания пройдет. Я больше ничего не скажу доктору Бьяншону; он должен подумать о методе лечения вообще и о подробностях. Быть может, налицо имеется усложнение болезни, быть может, и дыхательные пути также раздражены; но я считаю, что лечение кишечного аппарата важнее, необходимее, безотложнее, чем лечение легких. Упорное занятие отвлеченными предметами и сильные страсти вызвали резкое расстройство этого живого механизма; но еще не поздно исправить пружины: ничего не испорчено в слишком сильной степени. Итак, вам легко еще спасти вашего друга,— сказал он Бьяншону.

— Наш ученый коллега принимает следствие за причину,— отвечал Камеристус.— Да, повреждения, столь точно им наблюденные, существуют у больного, но не желудок был причиною отражения болей в теле и в мозгу, которые, подобно радиусам, разбегаются от трещины в стекле. Однако нужен был удар, чтоб пробить стекло; кто же нанес этот удар? Известно ли это нам? Достаточно ли мы наблюдали больного? Знаем ли мы все обстоятельства его жизни? Господа, в нем поврежден жизненный принцип, *архей* ван Гельмонта [1]; жизненность повреждена в самой своей сущности, божественная искра, все скрепляющий разум, создающий связь в машине и обусловливающий волю, перестал регулировать обиходные явления механизма и отправления отдельных органов; отсюда проистекли неисправности, так удачно отмеченные моим ученым собратом. Движение шло не от подложечной области к мозгу, а обратно, от мозга к подложечной области. Нет,— продолжал он, с силой ударяя себя в грудь,— я не желудок, превращенный в человека! Нет, тут еще не все! Я не чувствую в себе смелости утверждать, что если у меня хорош желудок, то все остальное только формальность. Мы не можем,— продолжал он спокойнее,— сводить к одной и той же физической причине и подвергнуть одно-

[1] Ван Гельмонт, Ж.-Б. (1577—1644) — бельгийский медик; учил, что духовное начало архея — важнейший элемент человеческого организма.

образному лечению тяжкие расстройства, встречающиеся в той или иной степени у различных субъектов. Человек не походит на человека. У нас у всех есть поособенному созданные органы, различным образом восприимчивые, различным образом питаемые, способные выполнять различные предназначения и исполнять различные задачи, необходимые для установления неизвестного нам порядка вещей. Часть великого целого, которая по высшей воле совершает и поддерживает в нас явление жизни, различным образом формулируется в каждом человеке и создает из него существо, по видимости обособленное, но которое в одной точке соприкасается с бесконечной причиной. Поэтому мы должны отдельно изучать каждого субъекта, проникать в него, узнавать, в чем состоит его жизнь и какова ее устойчивость. Между мягкостью смоченной губки и твердостью пемзы существуют бесконечные оттенки. Таков человек. Медицине приходится иметь дело с различными явлениями, начиная от губкообразной организации лимфатических сосудов до металлической твердости мускулов некоторых людей, которым суждена долгая жизнь, а потому каких только ошибок не натворит единая, неумолимая система лечения, опирающаяся на истощение, на прострацию человеческих сил, которые, как вы полагаете, всегда находятся в раздражении. В силу этого я желал бы, чтобы здесь было применено лечение чисто моральное, глубокое исследование внутреннего существа. Давайте искать причины болезни в недрах души, а не в недрах тела. Врач есть существо вдохновенное, одаренное особым гением, которого бог наделяет свойством постигать жизненное начало в человеке, как он дарует пророкам очи, прозревающие будущее, поэту — способность воспроизводить природу, музыканту — дар согласовать звуки в гармоническом порядке, прообраз которого существует, быть может, в небесах...

— Вечно все та же его абсолютистская, монархическая и религиозная медицина! — проворчал Брисе.

— Господа, — тотчас же заговорил Могреди, торопливо заглушая восклицание Брисе, — не будем выпускать из виду больного...

— Так вот в чем наука! — печально воскликнул Рафаэль.— Мое излечение колеблется между четками и десятком пиявок, между ножом Дюпюитрена [1] и молитвой принца Гогенлоэ. А на черте, отделяющей факт от слова, материю от духа, стоит Могреди и сомневается. Человеческие *да* и *нет* преследуют меня всюду. Вечно *каримари, каримара* [2] Рабле: я болен духовно, каримари! или болен телесно, каримара! Буду ли я жить? Они не знают. Планшет, по крайней мере, был откровеннее, он прямо сказал: «Я не знаю».

В эту минуту Рафаэль услышал голос доктора Могреди.

— Больной мономан! — вскричал он, — что ж, я согласен, но у него двести тысяч ливров дохода, а такие мономаны редкость, и мы обязаны, по крайней мере, дать ему совет. Что касается до того, подействовала ли у него подложеч-

[1] Дюпюитрен. Г. (1777—1835) — знаменитый французский хирург. Князь А. Гогенлоэ (1794—1850) — монах, иезуит, лечивший больных молитвами.

[1] *Каримари, каримара* — см. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», кн. 1, гл. 17.

ная область на мозг или мозг на подложечную область, то мы сможем, вероятно, установить это, когда он умрет. Итак, резюмируем. Он болен, факт бесспорный. Необходимо какое-нибудь лечение. Отбросим доктрины. Поставим ему пиявки для успокоения кишечного раздражения и невроза, в определении которых мы согласны; затем пошлем его на воды; таким образом, мы будем действовать согласно обеим системам. Если у него чахотка, то спасти его мы не можем; таким образом...

Рафаэль быстро удалился из коридора и уселся снова в свое кресло. Вскоре четыре доктора вышли из кабинета. Гораций взял слово и сказал:

— Эти господа единогласно признали необходимым поставить немедленно пиявки к животу и применять одновременно и физическое и нравственное лечение. Во-первых, диетический режим, для того, чтоб успокоить раздражение в вашем организме...

Брисе сделал одобрительный жест.

— Затем гигиенический режим, для воздействия на вашу психику. Поэтому мы единогласно советуем вам отправиться на воды Экс в Савойе или же на воды Мон-Дор в Оверни, если вы их предпочтете; воздух и картины природы в Савойе приятнее, чем в Кантале, но вы можете выбирать по своему вкусу.

Тут доктор Камеристус сделал одобрительный жест.

— Эти господа, — продолжал Бьяншон, — определив легкие изменения дыхательного аппарата, признали правильными мои предыдущие предписания. Они полагают, что ваше исцеление не вызовет затруднений и будет зависеть от разумного и поочередного употребления этих различных средств. И...

— И вот от этого-то ваша дочь и онемела[1], — сказал Рафаэль улыбнувшись и повел Горация в свой кабинет, чтоб передать ему плату за бесполезную консультацию.

— Они последовательны,— отвечал ему молодой врач.— Камеристус чувствует, Брисе исследует, Могреди сомневается. Разве человек не состоит из души, тела и разума? Одна из этих трех первичных причин действует в нас более или менее сильно, и человек всегда скажется в человеческой науке. Поверь мне, Рафаэль, мы не исцеляем, мы помогаем исцелению. Между медицинами Брисе и Камеристуса есть еще медицина выжидающая; но чтоб применить ее с успехом, надо знать больного десять лет. В корне медицины, как и всех наук, лежит отрицание. Поэтому попробуй жить благоразумно, съезди в Савойю; самое лучшее и есть и будет — положиться на природу.

Спустя месяц в дивный летний вечер несколько лиц, съехавшихся в Экс на воды, сошлись по возвращении с прогулки в гостиных казино. Поместившись у окна, спиной к окружающим, Рафаэль долго сидел один, погруженный в ту безотчетную задумчивость, когда мысли рождаются, сцепляются, исчезают, не

---

[2] *И вот от этого-то ваша дочь и онемела* — фраза из комедии Мольера «Лекарь поневоле», сделавшаяся пословицей.

принимая формы, и проходят в нас, как легкие, едва окрашенные облачка. В эти мгновения печаль коротка, радость туманна и душа почти спит. Отдавшись такой чувственной жизни, Валантен купался в теплой вечерней атмосфере, вдыхая чистый и благоуханный горный воздух и радовался тому, что не ощущает никакой боли и заставил молчать Шагреневую Кожу. В то время как красное зарево заката погасло на вершинах и в воздухе посвежело, Рафаэль встал и захлопнул окно.

— Будьте добры, не закрывайте окна, — сказала ему старая дама, — мы все задыхаемся.

Эта фраза ударила по барабанной перепонке Рафаэля каким-то особенно резким диссонансом; она походила на необдуманное словцо, которое роняет человек, в чью дружбу нам хочется верить, и которое вдруг разрушает сладкую иллюзию чувства, обнаруживая целую пропасть эгоизма. Маркиз холодно поглядел на старуху взглядом невозмутимого дипломата и позвал слугу, а когда тот пришел, сухо сказал ему:

— Откройте это окно!

При этих словах на всех лицах отразилось необычайное изумление. Все стали шептаться, глядя более или менее выразительно на больного, точно он совершил какое-нибудь нестерпимое невежество. Рафаэль, еще не вполне отделавшийся от робости, которая свойственна на первых порах молодым людям, почувствовал стыд; но он стряхнул оцепенение, приободрился и потребовал от себя отчета в этой странной сцене. Вдруг быстрая мысль оживила его сознание; прошедшее явилось перед ним отчетливым видением, и причины внушаемых им чувств выступили наружу с такой же рельефностью, как вены на трупе, малейшие разветвления которых натуралисты окрашивают при помощи хитроумной инъекции; он узнал самого себя в этой мимолетной картине, проследил в ней свое существование, изо дня в день, от мысли до мысли; он не без удивления увидел себя, сумрачного и рассеянного, посреди этой смеющейся толпы, где, вечно раздумывая о своей судьбе, занятый своею болезнью, пренебрегая, казалось, самой незначительной болтовней, он избегал эфемерной близости, столь быстро устанавливающейся между путешественниками (потому что они, без сомнения, рассчитывают больше не встретиться), и не обращал на других никакого внимания — словом, походил на скалу, бесчувственную как к ласкам, так и к ярости волн. Затем, благодаря редкому дару интуиции, Рафаэль стал читать во всех душах: увидев при свете канделябра желтый череп и сардонический профиль старика, он вспомнил, что как-то выиграл у него и не предложил ему реванша; далее, он заметил хорошенькую женщину, к заигрываниям которой остался равнодушен; каждое лицо упрекало его в одном из тех неправых поступков, формально необъяснимых, вся неправота которых кроется в невидимой ране, нанесенной самолюбию. Он невольно погладил против шерсти мелкое тщеславие всех этих людей, тянувшихся к нему. Гости на его празднествах или те, кому он предлагал своих лошадей, были раздражены его роскошью; удивленный их неблагодарностью, он не подвергал их

более такого рода унижению, они же думали, что он их презирает, и обвиняли его в аристократизме. Проникая таким образом в сердца, он мог разгадывать самые тайные мысли и пришел в ужас от общества, от его вежливости, от его лоска. Он был богат и одарен недюжинным умом, а потому ему завидовали, его ненавидели; его молчание не удовлетворяло любопытства, его скромность людям мелочным и поверхностным казалась надменностью. Он догадывался, в каком скрытом и непростительном преступлении был виновен перед ними: он ускользал от суда их посредственности. Восставая против их инквизиторского деспотизма, он мог обойтись без них; из мести за такую скрытую величественность, все инстинктивно вступили в союз, чтоб дать ему почувствовать свою власть, подвергнуть его некоторого рода остракизму и показать, что они могут обойтись без него. Вначале он почувствовал жалость при виде этого мирка, но затем вздрогнул при мысли о гибкой власти, приподнимавшей перед ним телесный покров, под которым таилась нравственная природа. И он закрыл глаза, как бы для того, чтобы ничего не видеть. Вдруг черная завеса загородила эту мрачную фантасмагорию истины, и он очутился в ужасающем уединении — уделе всех Властей и Господств. В это мгновение его одолел жестокий приступ кашля. Но он не услышал ни одного из тех, по внешности безразличных, слов, которые у собравшихся случайно людей порядочного общества, хотя бы притворно, выражают нечто вроде вежливого сострадания; напротив, вокруг раздались враждебные восклицания и жалобы, произнесенные вполголоса. Общество даже не удостоило притвориться ради него; быть может, потому что он его разгадал.

— Его болезнь заразительна...

— Председатель казино должен был бы воспретить ему вход сюда.

— Что же это за порядки! так кашлять просто непозволительно.

— Когда человек настолько болен, ему незачем ездить на воды.

— Он выживет меня отсюда!

Рафаэль встал, чтобы скрыться от общего злорадства, и стал ходить по казино. Ему хотелось найти у кого-нибудь защиту, и он подошел к молодой одиноко сидевшей даме, которой думал сказать какую-нибудь любезность, но при его приближении она повернулась к нему спиной и притворилась, будто смотрит на танцующих. Рафаэль боялся, что уже воспользовался своим талисманом в течение этого вечера; он не чувствовал в себе ни желания, ни смелости завязать разговор и удалился в биллиардную. Там никто не заговорил с ним, не поклонился ему, не бросил на него сколько-нибудь благосклонного взгляда. Его от природы созерцательный ум, в силу органического всасывания, открыл ему общую и рациональную причину отвращения, которое он возбуждал.

Этот мирок повиновался, быть может не сознавая того, великому закону, управляющему высшим обществом, чью неумолимую мораль окончательно постиг Рафаэль. Оглянувшись в прошлое, он увидел прообраз этого общества в Федоре. Тут он мог встретить не больше сочувствия к своей болезни, чем там — к своим сердечным невзгодам. Хорошее общество изгоняет несчаст-

ных из своей среды, как человек цветущего здоровья извергает из своего тела вещество, вызывающее болезнь. Свет ненавидит страдания и несчастия; он их боится не меньше заразы и никогда не колеблется в выборе между ними и пороком: порок — своего рода роскошь. Как бы величественно ни было несчастье, общество сумеет умалить его или осмеять при помощи эпиграммы; оно рисует карикатуры, чтобы швырнуть ими в голову павшим королям за обиды, которые, по его мнению, оно претерпело от них; подобно римской молодежи в цирке, оно никогда не пощадит павшего гладиатора; оно живет золотом и насмешкой. *Смерть слабым!* — девиз этого рода всаднического сословия, существующего у всех народов мира, ибо всюду возвышаются богачи, и, этот приговор написан в глубине сердец, сгнивших в богатстве и вспоенных на аристократизме. Соберете ли вы детей в школе, — вы увидите уменьшенный образ общества, тем более правдивый, что он наивнее и откровеннее, и найдете там бедных илотов, страдающих и болящих созданий, которые немедленно очутятся между презрением и жалостью: Евангелие обещает им царствие небесное. Спуститесь ниже по лестнице организованных существ — стоит птице заболеть на заднем дворе, и другие будут преследовать ее клевками, ощипают и убьют.

Верный этой хартии эгоизма, свет неумолимо строг к несчастьям, осмеливающимся явиться на его праздник и смутить его удовольствия. Кто болен душой или телом, у кого нет денег или власти,— тот пария. Пусть остается в своей пустыне! Чуть он перейдет ее границы, его повсюду встретит зима: холод взглядов, холод обращения, слов, сердец; и он может почитать себя счастливцем, если не пожнет оскорбления там, где для него должно бы расцвесть утешение. Умирающие, оставайтесь без призора на своих постелях. Старики, сидите одиноко у холодных очагов. Бедные бесприданницы, мерзните и угасайте на уединенных чердаках. Если свет терпит несчастье, то не для того ли, чтобы приспособить его для своего употребления, извлечь из него пользу, навьючить, взнуздать, покрыть чепраком, сесть на него верхом, сделать из него забаву? Своенравные компаньонки, стройте веселые лица, сносите причуды своей мнимой благодетельницы, таскайте ее собачонок; соперницы ее пинчеров, забавляйте ее, отгадывайте ее желания, а затем молчите! А ты, царь безливрейных лакеев, бесстыдный паразит, оставь свой характер дома; переваривай пищу, как твой амфитрион, плачь его плачем, смейся его смехом, считай его эпиграммы за удовольствия; если хочешь позлословить на его счет, то дождись его падения. Так-то свет почитает несчастье: он его убивает или прогоняет, унижает или оскопляет.

Такие размышления взлетели фонтаном в сердце Рафаэля с быстротой поэтического вдохновения; он оглянулся вокруг и почувствовал тот страшный холод, который выделяет общество, чтоб удалить от себя несчастья, и который знобит душу пуще, чем декабрьская вьюга тело. Он скрестил руки на груди, оперся спиной о стену и погрузился в глубокую меланхолию. Он думал о том, как мало счастья приносит свету это ужасающее благочиние. В чем оно заключается? Развлечения без удовольствия, веселье без радости, празднества без утехи, отрада



без вожделения, наконец дрова или пепел камина, но без искры пламени. Когда он поднял голову, то увидел, что никого нет: игроки разбежались.

«Чтоб заставить их обожать мой кашель, мне стоит только объявить о своем могуществе»! — сказал он про себя.

И при этой мысли он завернулся в презрение, как в плащ, отделив им себя от мира.

На другой день местный доктор явился к нему с приветливым видом и выразил беспокойство насчет его здоровья. Рафаэль испытал радостное чувство, услыхав дружелюбные слова, к нему обращенные. Он нашел, что лицо у доктора носит печать ласки и доброты, букли его белокурого парика дышали человеколюбием, покрой фрака, складки штанов, широких, как у квакера, башмаки,— всё до пудры, упавшей кружком с его косички на слегка сутуловатую спину, все говорило об апостольском характере, выражало христианскую любовь и преданность человека, который, ревнуя о своих больных, принужден хорошо играть в вист и триктрак, чтоб их обыгрывать.

— Господин маркиз,— сказал он, проболтав довольно долго с Рафаэлем,— я, без сомнения, рассею вашу печаль. Теперь я достаточно изучил ваш организм и могу утверждать, что парижские доктора, великий талант которых я вполне признаю, ошиблись насчет природы вашей болезни. Если не будет какой-нибудь несчастной случайности, господин маркиз, то вы можете прожить Мафусаилов век. У вас легкие крепки, как кузнечный мех, а желудок посрамит желудок страуса; но если вы поживете еще в возвышенной местности, то рискуете скоро и прямо отправиться на божью ниву. Господин маркиз поймет меня с двух слов. Химия доказала, что дыхание у человека представляет настоящее горение, большая или меньшая интенсивность которого зависит от обилия или редкости флористических элементов, собираемых организмом, в зависимости от индивидуума. У вас изобилие флогистона; вы, если позволено так выразиться, гиперкислородны вследствие пылкой комплекции, свойственной людям с большими страстями. Вдыхая свежий и чистый воздух, который ускоряет жизненные функции у людей с мягкими фибрами, вы только способствуете горению, и без того слишком быстрому. Поэтому одним из условий вашего существования является густой воздух конюшен, долин. Так вот, такой воздух, благотворный для жизни человека, снедаемого гением, встречается на жирных пастбищах Германии, в Баден-Бадене, в Теплице. Если вы не боитесь Англии, то ее туманная атмосфера ослабит вашу наклонность; но наши воды, расположенные на тысячу футов над уровнем Средиземного моря, для вас убийственны. Таков мой совет,— добавил он, сделав жест, свидетельствовавший о его скромности,— я даю его в ущерб нашим интересам, потому что, если вы ему последуете, мы будем иметь несчастье потерять вас.

Без этих последних слов Рафаэль поверил бы лживому добродушию медоточивого доктора, но он был слишком глубокий наблюдатель, чтобы по оттенку голоса, жесту и взгляду, которые сопровождали эту слащаво-насмешливую фразу, не догадаться, что маленький доктор действовал по поручению, данному

ему собранием веселых больных. Итак, эти праздные люди, со свежим цветом лица, эти скучающие старухи, бродячие англичане и франтихи, отделывавшиеся на время от мужей и явившиеся на воды в сопровождении любовников, решили изгнать бедного, хилого и слабого умирающего, по внешности неспособного противостоять ежедневному преследованию. Рафаэль, видя в этой интриге развлечение, принял вызов.

— Не желая опечалить вас моим отъездом, — отвечал он доктору, — я попробую, оставаясь здесь, воспользоваться вашим добрым советом. С завтрашнего же дня прикажу строить дом, где мы и видоизменим воздух согласно вашему предписанию.

Поняв горько-насмешливую улыбку, которая бродила на устах Рафаэля, доктор, не зная что ответить, удовольствовался тем, что откланялся.

Озеро Бурже похоже на огромную чашу, выдолбленную в горах, где на высоте от семи- до восьмисот футов над уровнем Средиземного моря сверкает капля воды такого синего цвета, какого нет больше нигде в мире. С высоты Кошачьего Зуба озеро кажется оброненной бирюзой. Эта прелестная капля воды имеет в окружности около девяти льё, а в некоторых местах достигает глубины пятисот футов. Плыть по нему в лодке, среди водной шири, при ясном небе, слышать только шум весел, видеть на горизонте только покрытые облаками горы, любоваться на блестящие снега Французской Морены и переноситься попеременно от гранитных скал, покрытых бархатом папоротника или карликовыми кустами, к смеющимся холмам, лицезреть с одной стороны пустыню, с другой — богатую природу, как бедняка на обеде у богача,— это зрелище гармоничное и дисгармоничное, где все велико и все мало. Вид гор изменяет условия оптики и перспективы; сосна в сто футов кажется вам тростинкой; широкие долины представляются узкими тропинками. Это единственное озеро, где сердце может откровенно поговорить с сердцем. Там мыслят и любят. Нигде больше вы не встретите такого прекрасного соответствия между водой, небом, горами и землей. Тут найдется бальзам для всяких житейских невзгод. Это место хранит тайну страданий, облегчает их, смягчает, придает любви какую-то величавость и сосредоточенность, отчего страсть становится глубже и целомудреннее. Поцелуй тут приобретает значительность. Но по преимуществу это озеро воспоминаний: оно благоприятствует им, придавая оттенок своих волн, этого зеркала, где все отражается.

Рафаэль легко переносил свое бремя только среди этого прекрасного пейзажа; он становился беспечен, мечтателен, не знал желаний. После посещения доктора он отправился гулять и велел перевезти себя на пустынный отрог красивого холма, на котором расположена деревня св. Иннокентия. С этого мыска можно видеть горы Бюжи, у подошвы которых течет Рона, и заглядывать в глубину озера; но Рафаэль любил смотреть оттуда на противоположный берег, на меланхолическое аббатство Откомб, усыпальницу сардинских королей, покоившихся у подножия гор, точно пилигримы, достигшие предела своего паломничества. Ровные и мерные рывки весел нарушили тишину этого пей-

зажа, как бы наделив его монотонным голосом, похожим на монашеский напев. Удивленный встречей с катающимися в этой, обычно уединенной, части озера, маркиз, не выходя из мечтательного настроения, взглянул на сидевших в лодке и узнал сзади старуху, которая так сурово обошлась с ним накануне. Когда лодка проходила мимо Рафаэля, никто ему не поклонился, кроме компаньонки этой дамы, бедной знатной девушки, которую, как ему казалось, он видел в первый раз. Несколько мгновений спустя он уже забыл о катающихся, быстро скрывшихся за мысом, как вдруг услышал за собой шуршание платья и шум легких шагов. Обернувшись, он увидел компаньонку; по ее смущенному виду он догадался, что она хочет заговорить с ним, и пошел ей навстречу. Около тридцати шести лет от роду, высокая и тонкая, сухая и холодная, она, как все немолодые девушки, не умела справляться со своим взглядом, который уже не соответствовал нерешительной, неловкой, лишенной эластичности походке. Одновременно и старуха, и молодая, она держалась с известным достоинством и тем самым выдавала, какую высокую цену придает своим прелестям и совершенствам. Впрочем, у нее были скромные и монастырские манеры женщин, привыкших любить самих себя, без сомнения для того, чтобы не упустить своего любовного предназначения.

— Ваша жизнь в опасности, не ходите больше в казино, — сказала она Рафаэлю, отступая на несколько шагов, словно добродетель ее уже пострадала.

— Не откажите, мадемуазель, высказаться яснее, — отвечал, улыбаясь, Рафаэль, — раз уж вы соблаговолили прийти...

— Ах,— возразила она,— без важной причины, приведшей меня сюда, я никак не решилась бы заслужить немилость графини; ведь узнай она только, что я вас предупредила...

— Но кто же известит ее об этом? — вскричал Рафаэль.

— Вы правы, — отвечала девушка, бросая на него трепещущий взгляд совы, загнанной на солнце. — Но подумайте о себе, — продолжала она: — несколько молодых людей хотят прогнать вас отсюда и дали друг другу слово вызвать вас и принудить драться на дуэли.

Вдали раздался голос старой дамы.

— Мадемуазель, примите мою благодарность... — начал маркиз.

Но его покровительница уже убежала, услыхав голос своей хозяйки, снова затявкавшей где-то среди скал.

«Бедная девушка! Несчастные всегда сочувствуют друг другу!» — подумал Рафаэль, садясь под облюбованным им деревом.

Знак вопроса есть безусловно ключ ко всяким наукам; большинством открытий мы обязаны слову: «как?», а мудрость жизни заключается, быть может, в том, чтоб по всякому поводу спрашивать: «почему?». Зато это надуманное предвидение убивает все наши иллюзии. А потому Валантен, сделав, без предумышленного философствования, добрый поступок старой девы темой своих блуждавших размышлений, обнаружил в нем немало желчи.

— Ничего нет удивительного в том, — сказал он самому себе, — что в меня влюбилась какая-то компаньонка: мне двадцать семь лет, я ношу титул и имею двести тысяч ливров годового дохода. Но не странно ли и не примечательно ли, что ее хозяйка, оспаривающая у кошек пальму гидрофобии, привезла ее сюда ко мне в лодке? И с какой стати эти две особы, приехавшие в Савойю, чтобы спать, как сурки, и в полдень спрашивающие, светает ли, поднялись сегодня до восьми утра и пустились преследовать меня на авось?

Вскоре эта старая дева со своей сорокалетней наивностью стала в его глазах новой метаморфозой лукавого и придирчивого света, мелочной хитростью, неловкой интригой, злобной поповской или женской выдумкой. Была ли дуэль басней, или его просто хотели постращать? Надоедливые и неотвязные, как мухи, эти мелкие душонки достигли того, что затронули его тщеславие, пробудили его гордость, раздразнили его любопытство. Не желая попасть впросак, ни прослыть за труса, а, быть может, забавляясь этой ничтожной драмой, Рафаэль в тот же вечер отправился в казино. Он встал, опершись локтем о мраморную доску камина, и стоял молча среди главного зала, стараясь не дать никому над собой преимущества; но он приглядывался к лицам и своей осмотрительностью бросал вызов обществу. Как дог, уверенный в своей силе, он поджидал боя, не лая без толку. В конце вечера он прогуливался по игорному залу, шагая от входной двери до двери в биллиардную и по временам поглядывая на молодых людей, составивших там партию. Пройдясь несколько раз взад и вперед, он услыхал, что они произносят его имя. Хотя они говорили тихо, но Рафаэлю не трудно было догадаться, что они спорят по поводу него, и он под конец уловил несколько фраз, сказанных громко.

— Ты?

— Да, я!

— Не верю!

— Пари?

— О, он пойдет!

В то время как Валантен, любопытствуя узнать, о чем идет заклад, остановился, чтобы внимательнее прислушаться к разговору, из биллиардной вышел высокий и сильный молодой человек, красивый собой, но с неподвижным и наглым взглядом, как у людей, которые опираются на какую-нибудь материальную силу.

— Мне поручено передать вам, милостивый государь,— сказал он спокойно, обращаясь к Рафаэлю,— одно обстоятельство, быть может, вам неизвестное: ваше лицо и вы сами не нравитесь здесь никому, а мне в особенности; вы человек вежливый, а потому, надеюсь, пожертвуете собой ради общего блага, и я прошу вас больше не являться в казино.

— Милостивый государь, эта шутка уже была в ходу во времена Империи во многих гарнизонах, но нынче она считается поступком весьма дурного тона, — холодно отвечал Рафаэль.

— Я вовсе не шучу, — возразил молодой человек, — повторяю вам: ваше здоровье сильно пострадает от пребывания здесь; жара, свет, воздух в зале и общество вредны для вашей болезни.

— Где вы учились медицине? — спросил Рафаэль.

— Милостивый государь, я получил степень бакалавра в тире у Лепажа, в Париже, и степень доктора у Серизье, короля фехтовального искусства.

— Вам остается получить еще одну степень, — возразил Валантен, — изучите законы вежливости, и вы станете законченным кавалером.

В это время молодые люди, молча или улыбаясь, вышли из биллиардной. Другие игроки, насторожившись, бросили карты, чтобы прислушаться к ссоре, льстившей их страстям. Один посреди враждебной толпы, Рафаэль старался сохранить хладнокровие и не сделать ничего, заслуживающего порицания; но когда его противник позволил себе насмешку, где оскорбление было выражено в форме чрезмерно резкой и остроумной, он ответил ему серьезным тоном:

— Милостивый государь, теперь не принято давать пощечины; но я не знаю, каким словом заклеймить поведение столь гнусное, как ваше.

— Довольно, довольно, вы объяснитесь завтра, — сказали несколько молодых людей, бросаясь между спорящими.

Рафаэль вышел из зала, приняв, в качестве обидчика, встречу близ замка Бордо, на небольшой покатой лужайке, недалеко от вновь проложенной дороги, по которой победитель мог бежать в Лион. Рафаэлю по необходимости приходилось либо слечь в постель, либо уехать с вод. Общество торжествовало. На другой день, а восемь часов утра, противник Рафаэля, в сопровождении двух секундантов и хирурга, первый явился на место встречи.

— Нам будет здесь отлично, погода для дуэли превосходная! — весело вскричал он, поглядывая на голубое небо, воды озера и скалы и не питая ни затаенных сомнений, ни печали. — А что, если я попаду ему в плечо, — продолжал он, — как вы думаете, доктор, уложу я его на месяц в постель?

— По меньшей мере, — отвечал хирург. — Но не трясите ивы, не то вы утомите руку и возьмете неверный прицел. Пожалуй, еще убьете своего благоприятеля, вместо того чтобы его ранить.

Послышался стук кареты.

— Вот и он, — сказали секунданты, увидев вскоре на пути дорожную коляску, запряженную четверкой и с двумя форейторами.

— Что за чудак! — вскричал противник Валантена. — Он на почтовых спешит на смерть.

На дуэли, как и при игре, самые незначительные обстоятельства оказывают влияние на воображение участников, сильно заинтересованных в исходе дела; а потому и молодой человек с некоторого рода беспокойством ожидал приближения кареты, которая остановилась на дороге. Из нее, тяжело ступая, вылез старый Ионафан и помог выйти Рафаэлю; он поддерживал его своими расслабленными руками, проявляя кропотливую забот-

ливость, словно влюбленный, ухаживающий за своей возлюбленной. Оба скрылись на тропинках, которые вели от дороги к месту встречи, и появились вновь только спустя долгое время: они шли медленно. Все четверо зрителей этой необычайной сцены испытывали глубокое волнение при виде Валантена, опиравшегося на руку своего старого слуги. Бледный и изможденный, он шел, точно подагрик, опустив голову и не говоря ни слова. Вы сказали бы... два старика, равно разрушенные, один временем, другой — думой; у первого возраст обозначался сединами, у молодого нельзя было определить возраста.

— Милостивый государь, я не спал, — сказал Рафаэль своему противнику.

Эти ледяные слова и страшный взгляд, которым они сопровождались, заставили вздрогнуть истинного зачинщика; он понял свою неправоту и втайне устыдился своего поведения. В манере держаться, в голосе и жестах Рафаэля было что-то странное. Маркиз сделал паузу; остальные также хранили молчание. Беспокойство и напряженность достигли высшей точки.

— Еще не поздно,— продолжал он,— дать мне легкое удовлетворение, но, милостивый государь, если вы его мне не дадите, то будете убиты. Вы и в настоящую минуту все еще надеетесь на свое искусство, и у вас нет и мысли уклониться от боя, где все преимущества на вашей стороне. Но, милостивый государь, я великодушен и предупреждаю вас о своем превосходстве. Я обладаю страшным могуществом. Чтоб свести на нет ваше мастерство, затуманить глаза, чтоб заставить вашу руку дрогнуть, а сердце биться, наконец, чтоб убить вас, мне стоит только пожелать. Я не хочу быть вынужденным прибегнуть к своей силе; мне это обойдется слишком дорого. Умрете не вы один. Если же вы откажетесь извиниться передо мною, то, несмотря на привычку к убийству, ваша пуля попадет в воду этого каскада, а моя, хотя я не буду целиться, прямо вам в сердце...

В это мгновение смутный гул голосов прервал Рафаэля. Во время своей речи маркиз не переставал смотреть на противника невыносимо ясным неподвижным взглядом; он выпрямился, и лицо его приняло бесчувственное выражение, какое бывает у злых сумасшедших.

— Заставь его замолчать, — сказал молодой человек своему секунданту, — от его голоса у меня перевернуло все внутренности.

— Довольно, милостивый государь. Ваши речи бесполезны! — закричали Рафаэлю хирург и секунданты.

— Господа, я исполнил свой долг. Не угодно ли этому молодому человеку сообщить свою последнюю волю?

— Довольно, довольно!

Маркиз стоял неподвижно, не выпуская ни на мгновение из виду своего противника, который, одолеваемый силой, почти волшебной, был точно птичка перед змеей; принужденный сносить этот убийственный взгляд, он избегал его, и снова непрестанно встречался с ним.

— Дай воды, мне хочется пить, — сказал он своему секунданту.

— Ты боишься?

— Да, — отвечал он. — Глаза этого человека горят и гипнотизируют меня.

— Хочешь извиниться?

— Поздно.

Противников поставили в пятнадцати шагах друг против друга. В распоряжении каждого было по два пистолета и, согласно условию церемониала, каждый мог сделать по два выстрела, но только после знака, данного секундантами.

— Что с тобой, Шарль? — вскричал молодой человек, бывший секундантом у противника Рафаэля. — Ты забил пулю раньше пороха.

— Я убит, — пробормотал тот, — вы меня поставили лицом к солнцу.

— Оно у вас за спиной, — торжественным голосом сказал Рафаэль, медленно заряжая свой пистолет и не обращая внимания ни на то, что знак уже подан, ни на то, что его противник старательно целится.

В этой сверхъестественной уверенности было нечто до того ужасное, что проняло даже форейторов, привлеченных жестоким любопытством. Играя своим могуществом или желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Ионафаном и смотрел на него в то мгновение, как противник выстрелил. Пуля Шарля переломила ветвь у ивы и рикошетом прошлась по воде. Стреляя наугад, Рафаэль попал своему противнику в сердце и, не обращая внимания на то, что молодой человек упал, быстро вынул Шагреневую Кожу, чтоб посмотреть, во что ему обошлась человеческая жизнь. Талисман был не больше маленького дубового листка.

— Ну, что вы глазеете? Едем! — сказал маркиз форейторам.

Прибыв в тот же вечер во Францию, он немедленно свернул на Овернскую дорогу и поехал на воды Мон-Дор. В течение этого путешествия у него в сердце возникла одна из тех внезапных мыслей, которые западают нам в душу, подобно лучу солнца, проникающему сквозь густые облака в какую-нибудь мрачную долину. Печальный просвет, неумолимая мудрость! Они освещают совершившиеся события, открывают нам наши ошибки и оставляют нас неоправданными в собственных глазах. Он вдруг подумал, что обладание властью, как бы огромна она ни была, не дает умения ею пользоваться. Для ребенка скипетр игрушка, для Ришелье он секира, а для Наполеона — рычаг, которым можно наклонить мир. Власть нисколько не изменяет нас, мы остаемся, какими были; она возвеличивает только великих. Рафаэль мог сделать всё, и не сделал ничего.

На Мондорских водах он вновь встретил общество, которое удалялось от него с той же поспешностью, с какой животные бегут от трупа своего сородича, почуяв издали его запах. Ненависть была обоюдна. Последнее происшествие возбудило в нем глубокое отвращение к обществу. Поэтому первой его заботой было отыскать уединенное пристанище в окрестностях Мон-Дора. Он инстинктивно чувствовал потребность приблизиться к природе, к неподдельным впечатлениям, к той растительной жизни, которой мы всей душой предаемся посреди полей. На другой день по приезде он не без труда взобрался на пик

Санси и побывал в верхних долинах, в заоблачных местах, среди неведомых озер, в деревенских хижинах Дорских гор, суровые и дикие красоты которых начинают привлекать кисть наших художников. Порой там встречаются удивительные пейзажи, полные прелести и свежести, и составляющие сильный контраст с мрачным видом пустынных гор. В полулье от деревни Рафаэль напал на местечко, где природа, кокетливая и веселая, как ребенок, словно находила удовольствие в том, чтоб скрывать свои сокровища; увидев этот укромный уголок, живописный и наивный, он решился туда переселиться. Жизнь там должна была быть покойной, ни от чего не зависимой, плодоподобной, сходной с жизнью растений.



Вообразите себе опрокинутый конус, но конус гранитный и сильно расширенный, вроде воронки, у которой края обломаны самым причудливым образом: здесь круглые плоскости без растительности, гладкие, синеватые, по которым солнечные лучи скользят, как по зеркалу; тут скалы, надсеченные изломами, изборожденные оврагами, со свесившимися глыбами базальта, падение коих медленно подготавливалось дождевыми водами и увенчанные редкими засохшими деревьями, скрюченными ветром; затем, там и сям, темные и прохладные уступы, где возвышаются высокие, как кедры, купы каштанов или желтоватые гроты с черной и глубокой пастью, поросшей ежевикой, цветами и украшенной спереди полоской зелени. На дне этой чаши, быть может некогда кратера вулкана, лежал пруд, прозрачная вода которого сверкала, как алмаз. Вокруг этого глубокого бассейна, обрамленного гранитом, ивами, шпажником, ясенем и тысячью душистых, бывших тогда в цвету растений, простиралась лужайка, зеленая, как английский газон; тонкая и краси-

вая трава орошалась ручейками, струившимися в расщелинах скал, и удабривалась растительными останками, постоянно приносимыми бурями с высот.

Пруд, неправильно окаймленный зазубринами, словно подол платья, занимал около трех десятин; смотря по тому, ближе или дальше подходили скалы к воде, лужайка была шириной от одной до двух десятин; в некоторых местах едва оставалась стежка для коров. На известной высоте растительность прекращалась. Гранитные скалы имели самые причудливые формы и тот туманный оттенок, который придает высоким горам отдаленное сходство с облаками. В противоположность сладостному зрелищу долины, эти голые и лысые скалы представляли дикий, бесплодный и безотрадный вид, грозили обвалами и отличались до того странными формами, что одну из высот прозвали Капуцином, настолько напоминает она монаха. Порой эти острые иглы, эти смелые нагромождения, эти воздушные пещеры поочередно освещались, смотря по высоте солнца или капризам атмосферы, и принимали золотистые оттенки, одевались в пурпур, становились то ярко розовыми, то серыми, то бурыми. Эти высоты представляли постоянно меняющееся зрелище, как радужные отблески голубиной шейки. Часто на вечерней или утренней заре между двумя обломками лавы, точно рассеченной топором, светлый солнечный луч проникал до глубины этой, радующей глаз, корзинки и играл в водах бассейна, подобно тем золотым полосам, какие падают в Испании сквозь щели ставен, тщательно закрытых во время полуденного отдыха. Когда солнце стояло над древним кратером, наполнившимся водой, быть может, в эпоху какой-нибудь допотопной геологической катастрофы, его скалистые бока сильно нагревались, старый вулкан загорался, и эта теплота будила зародыши, оплодотворяла растительность, окрашивала цветы и способствовала созреванию плодов в этом неведомом уголке земли.

Когда Рафаэль зашел туда, то увидал коров, пасшихся на лужайке; он сделал несколько шагов по направлению к пруду и заметил в том месте, где луг был всего шире, скромный дом, построенный из гранита и крытый деревом. Крыша этой своеобразной хижины, в гармонии со всем окружающим, была украшена мхом, плющом и цветами, свидетельствовавшими о ее глубокой древности. Жидкий дымок, которого уже не пугались птицы, выходил из обвалившейся трубы. У дверей, между двумя огромными кустами жимолости, красными от цветов и благоухавшими, стояла скамейка. Стен почти не было видно за виноградной лозой и за гирляндами роз и жасмина, которые росли на воле, как придется. Не придавая ценности этому сельскому украшению, хозяева хижины не заботились о нем и предоставили природе проявлять свою девственную и шаловливую прелесть. Повешенные на смородинном кусте пеленки сушились на солнце. Кошка прикорнула у трепалки для конопли, а под ней, посреди картофельной кожуры, валялся желтый, недавно починенный котел. По другую сторону дома Рафаэль увидел изгородь из тернового хвороста, без сомнения предназначенную для защиты плодов и огорода от кур.

Казалось, что тут кончается мир. Это жилище походило на птичьи гнезда, хитро примощенные к выемке скал и обнаруживающие столько же искусства,

сколько небрежности. То была славная, добродетельная природа, настоящий сельский пейзаж, но поэтический, потому что расцветал за тысячу льё от нашей приглаженной поэзии, не имел сходства ни с каким замыслом и вырос сам собою, — истинное торжество случая. В тот час, когда пришел Рафаэль, солнце бросало лучи справа налево, заставляло сверкать все цвета растительности, делало рельефными или украшало обаянием света, противопоставлением теней желтые и сероватые скалы, разнообразную зелень листвы, голубоватые, красные или белые пятна цветов, вьющиеся растения и их колокольчики, переливчатый бархат мхов, пурпурные кисти вереска и особенно поверхность светлой воды, где с точностью отражались гранитные вершины, деревья, дом и небо. В этой прелестной картине всё блестело по-своему, начиная от сверкающей слюды, до пучка белесоватой травы, скрытой в мягкой светотени; все было гармонично для глаза: и пятнистая с глянцевитой шерстью корова, и хрупкие водяные цветы, свисавшие, как бахрома, над наполненной водою впадиной, где жужжали насекомые в лазурной и изумрудной броне, и корни деревьев, венчавших, наподобие рыжих вихров, уродливую рожу каменной глыбы. Теплые ароматы вод, цветов и гротов, наполнявших благоуханием это уединенное убежище, вызвали в Рафаэле чувство, почти напоминавшее вожделение.

Величественное молчание, царившее в этой рощице, пропущенной, быть может, в списке сборщика податей, вдруг было нарушено лаем двух собак. Коровы поворотили головы ко входу в долину, показали Рафаэлю свои влажные морды и, тупо поглядев на него, снова принялись за траву. Коза и козленок, висевшие на скалах точно по волшебству, прибежали вскачь и, остановившись на гранитной площадке, подле Рафаэля, казалось вопрошали его. Тявканье собак привлекло из дома толстого ребенка, который так и остался с открытым ртом; затем показался седой, среднего роста, старик. Оба эти существа гармонировали с пейзажем, воздухом, цветами и домом. Здоровье било через край в этом изобильном уголке; тут и детство, и старость были равно прекрасны; наконец, во всех этих видах существования заметна была первобытная непритязательность, рутинное счастье, опровергающее наши пустозвонные философские проповеди и излечивающее сердце от напыщенных страстей.

Старик походил на излюбленную натуру могучей кисти Шнеца; то было загорелое лицо, многочисленные морщины которого, казалось, были тверды наощупь, прямой нос, выдающиеся скулы, покрытые красными жилками, как увядший виноградный лист, угловатые очертания, все признаки силы даже там, где сила уже исчезла; на его загрубелых руках, хотя они уже не работали, сохранились седые и редкие волоски; его осанка истинно свободного человека заставляла предполагать, что в Италии, из любви к драгоценной свободе, он, быть, может, стал бы разбойникам. У ребенка, настоящего горца, были черные глаза, которыми он, не жмурясь, мог глядеть на солнце, бурое лицо и темные, спутанные волосы. Он был ловок и решителен, естественен в движениях, как птица; сквозь прорехи его скверной одежонки виднелась белая свежая кожа. Оба стояли молча, друг подле друга, движимые одним и тем же чувством, и на лицах

видна была полная тождественность их равно праздной жизни. Старик перенял детские игры, а ребенок — стариковское расположение духа, в силу некоего рода договора между двумя разновидностями слабости, между исчезающей силой и силой, готовой развернуться. Вскоре на пороге показалась женщина лет тридцати. Она пряла на ходу. То была овернка, с ярким румянцем, с веселым, открытым выражением, с белыми зубами, с овернским лицом, овернской фигурой, в овернских чепце и платье, с полными овернскими грудями и овернским говором; полное олицетворение страны трудолюбивых нравов, невежества, бережливости и сердечности.

Она поклонилась Рафаэлю; они разговорились; собаки притихли, старик сел на скамью, озаренную солнцем, а ребенок всюду бродил за матерью, не раскрывая рта, но слушая и разглядывая незнакомца.

— И вы не боитесь тут жить, хозяюшка?

— Чего нам, сударь, бояться? И кто сможет войти, когда вход загорожен? О, мы ничего не боимся! Притом, — добавила она, впуская маркиза в самую большую комнату своего жилища, — что ворам и красть-то у нас?

Она указала на почерневшие от дыма стены, всё украшение которых состояло из расцвеченных синей, красной и зеленой краской картинок, изображавших: «Смерть г-на Кредита», «Страсти Иисуса Христа» и «Гренадеров императорской гвардии»; кроме того, в комнате была старая орехового дерева кровать со столбиками, стол с гнутыми ножками, скамьи, квашня, сало, подвешенное к потолку, горшок с солью, очаг, а на камине пожелтевшие раскрашенные гипсовые фигурки. Выйдя из дома, Рафаэль увидал среди скал мужчину с мотыгой в руке, который, наклонившись, с любопытством поглядывал на дом.

— Это хозяин, сударь, — сказала овернка с обычной у крестьянок усмешкой, — он пашет там наверху.

— А старик — ваш отец?

— Извините, сударь, это дед нашего хозяина. Вот он весь перед вами: ему сто два года. Что ж, намедни он сводил пешком нашего парнишку в Клермон! Силач он был, а теперь только спит, пьет и ест. Он вечно играет с мальчишкой. Порой тот его затащит в горы, и что ж, он не отстает.

Валантен тотчас же решил жить с этим стариком и мальчишкой, дышать их воздухом, питаться их хлебом, пить их воду, спать их сном и нажить себе такую же кровь, какая текла в их жилах. Причуда умирающего! Превратиться в одного из моллюсков этой скалы, одурманить и спасти хотя бы еще на несколько дней свою раковину казалось ему прообразом индивидуальной морали, безошибочной формулой человеческого существования, прекрасным идеалом жизни, единственной жизнью, истинной жизнью. В его сердце внедрилась мысль, полная эгоизма, поглотившая всю вселенную. Для него не было больше вселенной, вся вселенная перешла в него. Для больных свет начинается у изголовья и оканчивается в ногах кровати. Этот уголок стал кроватью Рафаэля.

Кто хотя бы раз в жизни не подглядывал за движениями и хлопотами муравья, заползающего с соломинки в единственное отверстие, через которое дышит

бесцветный слизень, кто не следил за причудами тонкой стрекозы, не восхищался тысячью цветистых, как круглое готическое окно, жилок, которые выделяются на красноватом фоне листьев молодого дубка! Кто с восторгом не любовался подолгу эффектами дождя и солнца на бурой черепичной кровле и не заглядывался на капли росы, на лепестки цветов, на разнообразные очертания их чашечек! Кто не погружался в эти материальные мечтания, апатичные и в то же время хлопотливые, лишенные цели, но тем не менее приводящие к какой-нибудь мысли! Кто, наконец, не жил детской жизнью, жизнью ленивой, жизнью дикаря, но не испытывая его трудов? Так провел Рафаэль много дней, без забот, без желаний, чувствуя значительное улучшение, необычайное благоденствие, успокаивавшее его тревогу, облегчавшее его страдания. Он взбирался на скалы, садился на каком-нибудь пике, откуда его взоры охватывали обширный пейзаж. Там он просиживал целые дни, как растение на солнце, как заяц в логовище. Или же, сливаясь с явлениями растительной жизни, с переменчивостью неба, он следил за ходом бытия на земле, в водах или в воздухе.

Он старался приобщиться к внутреннему движению этой природы и настолько отождествиться с ее пассивным послушанием, чтобы попасть под властный и охранительный закон, управляющий всеми инстинктивными существованиями. Он не хотел более тяготиться заботами о самом себе. Подобно тому как в старину преступники, преследуемые правосудием, бежали под сень алтаря, чтоб стать неприкосновенными, так и он старался прокрасться в святилище жизни. Ему удалось стать составной частью этого обширного и могущественного плодоносного процесса: он привык к переменчивости погоды, побывал во всех ущельях, узнал нравы и обычаи всех растений, изучил законы воды, положение берегов и ознакомился с животными; словом, он до того вполне слился с этой одушевленной землей, что в некотором смысле понял ее душу и проник в ее тайны. Для него бесчисленные формы всех царств были развитием одной и той же сущности, комбинациями одного и того же движения, безмерным дыханием необъятного существа, которое действовало, мыслило, двигалось, росло, и он сам хотел расти, двигаться, мыслить и действовать вместе с ним. Он фантастически сочетал свою жизнь с жизнью этой скалы, он внедрился в нее. Благодаря такому мистическому иллюминизму и мнимому выздоровлению, похожему на благодетельное забытье, которое дарует природа в виде отдыха от страданий, Валантен в течение первых дней своего пребывания среди этого веселого пейзажа вкушал радости второго детства. Он отправлялся выискивать какие-нибудь пустяки, брался за тысячу занятий и ни одного не оканчивал, забывал назавтра вчерашние замыслы, предавался полной беззаботности; он был счастлив, он думал, что спасен.

Однажды утром он случайно залежался в постели до полудня, погруженный в грезу, помесь сна и бодрствования, которая придает действительности подобие фантазии, а химерам рельефность жизни, как вдруг, не зная еще, проснулся он или нет, услыхал в первый раз отчет о своем здоровье, который его хозяйка отдавала Ионафану, приходившему каждое утро за справками. Овернка, без со-

мнения, думала, что Валантен еще спит, и потому не пощадила диапазона своего горного голоса.

— Не лучше ему и не хуже,— говорила она; — он и нынче ночью так кашлял, что вот-вот богу душу отдаст. Кашляет он, харкает, милый наш барин, так что жалость одна. Уж мы дивились с мужем, откуда у него сила берется так кашлять. Просто сердце разрывается. Что за проклятая у него болезнь! Нет, плохо ему! Всё вот боимся, придешь к нему поутру, а он и окочурился в постели. И как он бледен-то, словно Иисус восковой. Э, матерь божья! — видела я его, когда он встает; что ж, тельце у него тщедушное, тоньше гвоздя. Плохо он уже попахивает! А ему всё равно: сам себя мучает, бегая так, точно у него продажное здоровье. И духу еще хватает не жаловаться на боль! Лучше бы, право, лежать ему в земле, чем на лугу; с ним просто страсти господни! Нам-то оно, сударь, вовсе нежелательно, потому один убыток. А только, если бы он нам и не платил того, что платит, все-таки я любила бы его; тут не о выгоде дело. Ах, боже мой! — продолжала она,— только у парижан и бывают такие собачьи болезни! Откуда они только берутся? Бедный молодой человек! — уж, верно, это добром не кончится. Лихорадка, видите ли, она его донимает, она его и буравит, она его и изводит! А он и не думает; ничего-то он, сударь, не знает, ничего не замечает. Не следует о том сокрушаться, г-н Ионафан! Надо сказать самому себе, что он будет счастлив, когда перестанет страдать. Вам бы заказать девятины за здравие. Сама видела от девятины расчудесные исцеления, и охотно свечку поставлю, чтобы спасти такую кроткую, такую добрую душу, такого агнца пасхального.

Голос Рафаэля до того ослабел, что он не мог громко крикнуть, и ему поневоле пришлось выслушать эту страшную болтовню. Но нетерпение подняло его в постели, и он показался на пороге.

— Старый мошенник! — закричал он на Ионафана, — в палачи ты мне нанялся, что ли?

Крестьянка приняла его за призрак и убежала.

— Я тебе запрещаю, — продолжал Рафаэль, — справляться о моем здоровье.

— Слушаю, господин маркиз, — отвечал старый слуга, утирая слезы.

— И ты поступишь умно, если впредь не станешь являться сюда без моего приказа.

Ионафан повиновался; но перед тем, как уйти, он поглядел на Рафаэля преданным и сочувственным взглядом, в котором тот прочел свой смертный приговор. Обескураженный, поняв сразу свое положение, Валантен сел на пороге, скрестил руки на груди и опустил голову. Испуганный Ионафан подошел к своему барину.

— Сударь...

— Убирайся! Убирайся! — закричал больной.

На следующее утро Рафаэль, взобравшись на скалы, присел в углублении, поросшем мхом, откуда была видна узкая дорога, ведшая от Мон-Дора к его жилищу. Он увидел у подножья пика Ионафана, который снова беседовал с овернкой.

Какая-то коварная сила истолковала ему покачивание головой, жесты отчаяния, мрачную наивность этой женщины и среди тишины даже донесла до него на крыльях ветра роковые слова. Потрясенный ужасом, он взобрался на самые высокие вершины и пробыл там до вечера, будучи не в силах прогнать упрямых мыслей, столь роковым образом возбужденных в его сердце тем жестоким участием, какое в нем принимали. Вдруг перед ним, как тень в тени вечера, выросла овернка. Повинуясь причудам своей поэтической фантазии, он нашел в ее юбке с черными и белыми полосами отдаленное сходство с высохшими ребрами скелета.

— Роса падает, милый барин, — сказала она ему. — Не след вам тут оставаться, а не то неровен час загниете, как плод в луже. Идите-ка домой. Нездорово сырость-то вдыхать, да вы к тому же с утра ничего не ели.

— Ах, силы небесные! — воскликнул он. — Приказываю вам не вмешиваться в мою жизнь, старая колдунья, а не то я сейчас же выберусь отсюда и уеду! Довольно и того, что вы мне каждое утро копаете могилу; не ройте ее, по крайней мере, по вечерам.

— Вам могилу! Я вам рою могилу! Да где же она, ваша могила? Быть бы вам двужильным, как наш старик; вот чего я вам желаю, а вовсе не в могилу! В могилу! В могилу всегда успеешь.

— Довольно, — сказал Рафаэль.

— Обопритесь, сударь, на мою руку.

— Не хочу.

Человеку труднее всего перенести сожаление к себе, особенно когда он его заслуживает. Ненависть — тоническое средство, она побуждает к жизни, внушает месть; но сожаление убивает, оно еще больше ослабляет нашу слабость. Это боль, прикидывающаяся лаской; это презрение под личиной нежности или нежность под личиной оскорбления. Рафаэль в сожалении старика видел торжество, в сожалении ребенка — любопытство, у хозяйки — сплетню, у хозяина — выгоду; но под каким бы видом ни проявлялось это чувство, оно всегда было чревато смертью. Поэт из всего создает поэму, грозную или веселую, смотря по тому, какие образы поразили его; его встревоженная душа отбрасывает нежные оттенки и выбирает всегда живые и резкие цвета. Это сожаление создавало в душе Рафаэля страшную поэму, полную скорби и печали.

Мечтая приблизиться к природе, он, без сомнения, не принял в расчет прямоты непосредственных натур. Когда он думал, что одиноко сидит под деревом, борясь с упорным кашлем и постоянно выходя из этой схватки совершенно обессиленным, то оказывалось, что за ним следят блестящие и подвижные глаза мальчика, который караулил там, как дикарь, за купиной трав, рассматривал его с детским любопытством, заключавшим в себе столько же насмешливости, сколько и удовольствия, а также какой-то интерес с примесью бесчувственности. Страшное изречение траппистов: «Брат, готовься к смерти», казалось, было постоянно написано во взглядах крестьян, с которыми жил Рафаэль; он не знал, чего боялся больше: их ли наивных слов или молчания; все в них стесняло его. Раз утром он увидел двух мужчин в черном, которые кружили вокруг него, точно

обнюхивали и изучали его украдкой; затем, притворившись, будто вышли на прогулку, они обратились к нему с банальными вопросами, на которые он кратко отвечал. Он узнал в них доктора и священника при водах; они, без сомнения, были подосланы Ионафаном или призваны его хозяевами, или же их приманил сюда запах близкой смерти. Тут он как бы увидел свои похороны, услышал пение священников, подсчитал число свечей и стал смотреть не иначе, как сквозь креп, на красоты богатой природы, на лоне которой надеялся обрести жизнь. Всё, что еще недавно пророчило ему долгое существование, теперь говорило о близкой кончине.

На следующий же день он отправился в Париж, сопровождаемый потоком печальных и сердечно-жалобных пожеланий своих хозяев.

Проехав всю ночь, он проснулся в одной из прелестнейших долин Бурбоне, пейзажи и уголки которой, быстро кружась, проносились перед ним, как туманные образы сна. Природа с жестоким кокетством показывала ему свои красоты. То Алье в богатой перспективе развертывал перед ним блестящую ленту своих вод, и деревеньки, скромно запрятавшиеся в глубине желтоватых ущелий, показывали иглы своих колоколен; то мельницы небольшой долины появлялись вдруг после монотонных виноградников и всюду попадались веселые замки, села, свесившиеся на склонах, или дороги, обсаженные величавыми тополями; наконец длинной, алмазной полосой заискрилась Луара посреди золотистых песков. Какой рой соблазнов! Природа, живая, резвая, как ребенок, с трудом сдерживавшая июньские соки и июньскую любовь, роковым образом приковывала к себе потухшие взоры больного. Он поднял жалюзи в карете и вновь заснул. К вечеру, проехав Кон, он был разбужен веселой музыкой и очутился посреди деревенского праздника. Почтовая станция находилась близ площади. Пока кучера перекладывали лошадей, он смотрел на танцы развеселившихся сельчан, на девушек, украшенных цветами, красивых, с задорным выражением, на оживленных парней, на пьяные хари стариков, молодцевато раскрасневшиеся от вина. Детишки шалили, старухи болтали смеясь; все обрело голос, и веселье озаряло даже платья и расставленные столы. Площадь и церковь имели счастливый вид; крыши, окна, даже двери в деревне, казалось, принарядились по-праздничному.

Нетерпеливый, как умирающие, к малейшему шуму, Рафаэль не мог воздержаться от мрачного возгласа, от желания принудить к молчанию эти скрипки, уничтожить это оживление, заглушить гомон, разогнать назойливый праздник. Печальный, сел он в карету. Когда он оглянулся на площадь, то увидел, что веселье точно спугнули, крестьянки бегут, и скамьи опустели. На подмостках для оркестра только слепой музыкант продолжал наигрывать на кларнете крикливое рондо. Эта музыка без танцующих, этот одинокий старик с угрюмым профилем, в лохмотьях, с всклокоченными волосами, запрятанный в тени липы, был точно фантастическим олицетворением желания Рафаэля. Полил, как из ведра, один из тех июньских проливных дождей, которые вдруг налетают и так же быстро проходят. Все это было так естественно, что Рафаэль, поглядев на небо, где ве-

тер гнал белесоватые тучи, даже не вздумал взглянуть на Шагреневую Кожу. Он уселся в угол кареты, и вскоре она покатила по дороге.

На другой день он был уже у себя, в своей комнате, у своего камина. Он велел посильней растопить его: ему было холодно. Ионафан подал ему письма, все они были от Полины. Он неспеша распечатал первое и развернул его, точно то была сероватая нештемпелеванная повестка от сборщика податей. Он прочел первую фразу:

«Уехал! Да ведь это же бегство, Рафаэль... Как, никто не может сказать мне, где ты? А если я не знаю, то кому же знать...»

Не желая знакомиться с продолжением, он холодно взял письма и бросил их в камин, глядя тусклым, бесцветным взором, как пламя свертывало надушенную бумагу, высушивало ее, переворачивало и уничтожало.

Клочки крутились по золе. Мелькали начала полуобгорелых фраз, слов, мыслей, и Рафаэль машинально развлекался тем, что пробегал их глазами.

«...Сижу у твоей двери... ожидая... Каприз... покоряюсь... Соперницы... я, нет!.. Твоя Полина... любит... значит, нет больше Полины?.. Если бы ты хотел бросить меня, ты так бы не уехал... Вечная любовь... Умереть...»

При этих словах он почувствовал нечто вроде угрызения совести; он схватил щипцы и спас от огня последний отрывок письма:

«...Я досадовала, — писала Полина, — но не жаловалась, Рафаэль. Расставаясь со мною, ты, без сомнения, хотел избавить меня от бремени какого-нибудь горя. Ты, быть может, убьешь меня когда-нибудь, но ты слишком добр, чтоб заставлять меня страдать. Не уезжай же в другой раз так. Знай, я могу перенести самые страшные пытки, но только подле тебя. Горе, которое ты мог бы мне доставить, уже не будет горем: у меня в сердце еще больше любви, чем я выказала тебе. Я могу все перенести; но плакать вдали от тебя, не зная, что с тобой...»

Рафаэль положил на камин почерневший остаток письма и вдруг сбросил его в огонь. Эта бумажка была слишком живым олицетворением его любви и роковой жизни.

— Пошли за г-ном Бьяншоном, — сказал он Ионафану.

Пришел Гораций и застал Рафаэля в постели.

— Друг мой, не можешь ли ты прописать мне питье с небольшим количеством опиума, чтоб оно поддерживало меня неизменно в сонном состоянии и чтоб постоянное употребление этого снадобья не вредило мне?

— Нет ничего легче, — отвечал молодой врач, — но всё-таки придется не спать несколько часов в день, чтоб поесть.

— Несколько часов? — прервал его Рафаэль. — Нет, нет, я хочу просыпаться не больше, как на час.

— Но какая же у тебя цель? — спросил Бьяншон.

— Спать — это все-таки значит жить, — ответил больной. — Не принимай никого, ни даже мадемуазель Полины де Вичнау, — сказал Валантен Ионафану, пока доктор писал рецепт.

— Ну, что, г-н Гораций, есть ли надежда? — спросил старый слуга у молодого доктора, провожая его до крыльца.

— Он может протянуть еще долго или умереть нынче вечером. У него одинаковые шансы на жизнь и смерть. Я ничего не понимаю, — отвечал врач, выражая жестом сомнение. — Надо развлекать его.

— Развлекать! Не знаете вы его, сударь. Он недавно убил человека и даже не поморщился! Ничто его не развлекает.

Рафаэль на несколько дней погрузился в небытие своего искусственного сна. В силу вещественного действия, оказываемого опиумом на нашу невещественную душу, этот человек со столь сильным и живым воображением опустился до уровня тех ленивых животных, которые хиреют в глубине лесов, похожие на кучи гниющих растений, и шагу не делают, чтоб схватить легкую добычу. Рафаэль даже погасил небесный свет; день больше не заглядывал к нему. Около восьми часов вечера он вставал с постели; не сознавая ясно своего существования, он утолял голод, затем тотчас же засыпал вновь. Холодные и хмурые часы его бытия возбуждали в нем только смутные образы, призраки, светотени на черном фоне. Он погрузился в глубокое молчание, в отрицание движения и мысли. Раз вечером он проснулся позже обыкновенного, а обед не был еще подан. Он позвонил Ионафану.

— Можешь убираться, — сказал он ему. — Я обогатил тебя, ты доживешь счастливо до конца своих дней; но я не хочу, чтобы ты впредь играл моей жизнью. Как, негодяй, я хочу есть, а где обед? Отвечай!

Ионафан радостно улыбнулся, взял свечу, свет от которой затрепетал в глубокой темноте огромных покоев, повел своего барина, превратившегося в машину, в большую галерею, и вдруг отворил двери. Тотчас же Рафаэль, залитый светом, был ослеплен, ошеломлен изумительным зрелищем. В люстрах горело множество свечей, самые редкие цветы из его теплиц были артистически расставлены, стол блестел серебром, золотом, перламутром, фарфором; дымился царский обед и вкусные блюда щекотали нёбо. Он увидел, что созваны его друзья, что вперемежку с ними сидят разодетые и восхитительные женщины, декольтированные, с обнаженными плечами, с цветами на голове, с большими глазами, всё красавицы в разном роде, соблазнительные в своих сладострастных одеяниях: одна, подчеркнувшая свои заманчивые формы ирландской жакеткой, другая, одетая в похотливую андалузскую баскину, та полунагая, в одежде Дианы-охотницы, эта скромная и любвеобильная в костюме мадемуазель де Ла Вальер, — все они были под чарами хмеля. Во взглядах гостей блестели радость, любовь, наслаждение.

В ту минуту, как мертвенное лицо Рафаэля показалось в открытых дверях, раздался внезапный возглас, быстрый, пылающий, как лучи этого импровизированного пира. Голоса, благоухания, свет, эти умопомрачительной красоты женщины поразили все его чувства, возбудили в нем вожделение. Восхитительная музыка, скрытая в соседнем зале, покрыла потоком гармонии опьяняющий шум и дополнила это странное видение. Рафаэль почувствовал, что его хотят

обнять чьи-то свежие и белые руки, что его пальцы сжимают ласкающие пальцы, женские пальцы — пальцы Акилины. Он понял, что картина не была ни случайной, ни фантастической, как мимолетные образы его бесцветных снов; он зловеще вскрикнул, быстро захлопнул двери, и обесчестил старого слугу ударом по лицу.

— Чудовище, так ты поклялся уморить меня! — вскричал он.

Затем, весь дрожа от грозившей ему опасности, он собрал силы, чтобы дойти до спальни, выпил сильную дозу снотворной настойки и лег в постель.

— Что за черт! — опомнясь, сказал Ионафан. — А ведь г-н Бьяншон настоятельно приказал мне развлекать барина.

Было около полуночи. В этот час, по одному из тех физиологических процессов, которые изумляют и приводят в отчаяние медицинские науки, погруженный в сон Рафаэль сверкал красотой. Живой румянец красил бледные щеки. Его прелестный, как у молодой девушки, лоб отражал гениальность. Жизнь распускалась на этом покойном и отдохнувшем лице. Вы сказали бы, что это ребенок, уснувший под охраной матери. Сон его был хорошим сном; сквозь алые уста шло ровное и чистое дыхание; он улыбался, без сомнения, перенесясь во сне в прекрасную жизнь. Быть может, ему снилось, что он столетний старец; быть может, внуки желали ему долгих дней; быть может, сидя на деревенской скамье, при свете солнца, под листвой дерева, он, как пророк с вершины горы, видел обетованную землю в блаженном отдалении.

— Вот ты где!

Эти слова, сказанные серебристым голоском, рассеяли туманные образы его сновидения. При свете лампы он увидел, что на постели сидит его Полина, но Полина, похорошевшая от разлуки и горя. Рафаэль был ошеломлен видом этого белого, как лепестки водяных цветов, лица, которое в обрамлении длинных черных волос казалось во мраке еще белее. Слезы оставили на ее щеках сверкающий след и повисли на них, готовые упасть при малейшем движении. Вся в белом, склонив голову и еле примяв постель, она походила на ангела, слетевшего с небес, на видение, которое исчезнет от дуновения.

— Ах, я забыла всё! — вскричала она в то мгновение, когда Рафаэль раскрыл глаза. — Одно только я в силах оказать тебе: — я твоя! Мое сердце полно любви. Ах, никогда, мой ангел, ты не был так хорош. Твои глаза блистали, как молнии. Но я догадываюсь, да! Ты ездил, чтоб без меня запастись здоровьем, ты меня боялся... Скажи.

— Беги, беги, оставь меня! — глухим голосом отвечал Рафаэль. — Да уходи же! Если ты останешься, я умру. Ты хочешь видеть, как я буду умирать?

— Умирать! — повторила она — Разве ты можешь умереть без меня? Умереть!.. Но ты молод! Умереть!.. Но я люблю тебя! Умереть!.. — добавила она глубоким грудным голосом, в порыве безумия хватая его за руки. — Холодные! — сказал она. — Или мне так кажется?

Рафаэль достал из-под изголовья кусочек Шагреневой Кожи, хрупкий и маленький, как листик барвинка.

— Полина, прекрасный образ моей прекрасной жизни, простимся! — сказал он, показывая ей кусок.

— Простимся? — с удивлением повторила она.

— Да, это талисман, исполняющий мои желания; он изображает мою жизнь. Вот сколько от него осталось. Если ты взглянешь на меня еще раз, я умру...

Молодая девушка подумала, что Валантен сошел с ума, она взяла талисман и пошла за лампой. В свете дрожащего огонька, освещавшего и Рафаэля, и талисман, она принялась пристально разглядывать лицо своего возлюбленного и последний кусочек волшебной Кожи. Ужас и любовь придали Полине такую красоту, что, посмотрев на нее, Рафаэль перестал владеть своими мыслями; воспоминание об испытанных ласках и безумных восторгах страсти восторжествовало в его давно уснувшей душе и вспыхнуло, как плохо загашенный огонь.

— Полина, Полина, подойди!

Страшный крик вырвался из горла молодой девушки, глаза ее расширились, ее брови, вздернутые неслыханным страданием, раздвинулись от ужаса: она прочла в глазах Рафаэля одно из тех яростных желаний, которые она некогда с торжеством приписывала своему обаянию; но по мере того как росло это желание, Кожа, сжимаясь, щекотала ей руку. Не задумываясь, бросилась она в соседнюю гостиную и заперла за собой дверь.

— Полина, Полина! — кричал умирающий, устремившись за ней, — я люблю, я обожаю тебя. Я хочу тебя! Если ты не отворишь, я прокляну тебя! Я хочу умереть, слившись с тобой!

С невероятной силой, последней вспышкой жизни, он повалил дверь на пол и увидел свою полуобнаженную возлюбленную, метавшуюся на кушетке. Полина тщетно пыталась разодрать грудь и, чтоб ускорить смерть, душила себя шалью.

— Если я умру, он будет жить!.. — восклицала она, тщетно стараясь затянуть завязанную ею петлю. Ее волосы растрепались, плечи обнажились, платье было в беспорядке, и в этой борьбе со смертью, вся в слезах, с воспаленным лицом, корчась в ужасном отчаянии, открыла она перед опьяненным любовью Рафаэлем тысячи прелестей, которые усиливали его исступление; он бросился на нее с быстротой хищной птицы, разорвал шаль и хотел сжать ее в своих объятиях.

Умирающий искал слов, чтобы выразить желание, поглощавшее все его силы; но в его груди остался только глухой хрип, и каждое дыхание, въедаясь в глубину, казалось, выходило из самых его внутренностей. Наконец, будучи не в силах испускать и звуков, он укусил Полину в грудь. Явился Ионафан, в ужасе от раздававшихся криков, и, увидев в углу труп, над которым, присев на корточки, наклонилась девушка, попытался вырвать его из ее объятий.

— Что вам надо? — сказала она — Он мой, я его убила... разве я не предсказывала этого?

ЭПИЛОГ

— Что сталось с Полиной?

— Ах, с Полиной? — да. Сиживали ли вы порою, в тихий зимний вечер, у своего домашнего очага, предаваясь сладостным воспоминаниям о любви или молодости и глядя, как по дубовому полену пробегают огненные полосы? Пламя рисует то красные клетки шахматной доски, то отливает бархатом; пробегают синие огоньки, прыгая и играя в глубине на раскаленных угольях. И вот является неведомый живописец и пользуется этим пламенем; с неподражаемым искусством чертит он на фоне этих пылающих фиолетовых или пурпуровых оттенков сверхъестественное и бесподобно тонкое лицо, мимолетное явление, которое случай никогда уже не повторит; то женщина с развевающимися по ветру волосами, профиль которой дышит восхитительной страстью. Огонь в огне. Она улыбается, она исчезает, вы никогда больше ее не увидите. Прощай, цветок пламени, прощай, незавершенный и нежданный элемент, явившийся слишком рано или слишком поздно, чтоб стать дорогим алмазом!

— Но Полина?

— Вы не поняли? Начинаю снова. Посторонитесь! Посторонитесь! Вот она, Царица иллюзий, женщина, которая мелькнет, как поцелуй, женщина, быстрая, как молния, и, как она, блеснувшая огнем в небе, несозданное существо, сплошная душа, сплошная любовь! Тело ее заключено в какую-то пламенную оболочку, или, быть может, пламя одушевилось для нее на мгновение! Линии ее форм так чисты, что она кажется вам слетевшей с небес. Разве она не сияет, как ангел? Разве вы не слышите воздушного шелеста ее крыл? Легче птицы, она опускается рядом с вами, и ее страшные глаза завораживают вас; ее нежное, но могучее дыхание волшебной силой притягивает ваши уста; она убегает и увлекает вас, вы не чувствуете под собой земли. Вы хотите только раз провести вашей чувствительной, вашей нафанатазированной рукой по ее белоснежному телу, смять ее золотые кудри, поцеловать ее блестящие очи. Вас опьяняет какой-то пар, вас околдовывает чарующая музыка. Вы вздрагиваете всеми нервами, вы весь желание и мука. О счастье, которому нет имени! Вы коснулись уст этой женщины; но вдруг вы просыпаетесь от жестокой боли. Ха, ха, вы ударились головой об угол кровати, вы поцеловали красное дерево, холодную позолоту, что-то бронзовое, Амура из меди.

— Ну, а Полина?

— Опять! Слушайте же. В одно прекрасное утро молодой человек, выезжая из Тура на пароходе «Город Анже», держал в своей руке руку хорошенькой женщины. Стоя так над широкими водами Луары, оба долго любовались белой фигурой, художественно расцветшей посреди тумана, как плод воды и солнца или каприз облаков и воздуха. Поочередно ундина и сильфида, это зыбкое созданье порхало в воздухе, как слово, которого тщетно ищешь и которое ускользает из памяти; она носилась среди островов, просовывала голову между высокими тополями, затем, исполински вырастая, заставляла блестеть тысячи складок своей

одежды либо сиять ореол, начертанный солнцем вокруг ее головы; она плыла над деревьями и холмами и, казалось, мешала пароходу идти мимо замка Юсе. Вы сказали бы, что это «Высокородная дама» [1] хочет защитить родную страну от вторжений современности.

— Прекрасно; в этом образе я узнаю Полину. Но Федора?

— О, Федору вы еще встретите! Вчера она была в Опера-Буфф, а сегодня будет в Большой опере; она везде и повсюду. Она, так сказать, — общество.

Париж 1830-1831 г.



СОДЕРЖАНИЕ

ТАЛИСМАН 6
ЖЕНЩИНА БЕЗ СЕРДЦА 58
АГОНИЯ 133
ЭПИЛОГ 198

[1] *Высокородная дама* — Бальзак имеет в виду героиню романа Антуана де ла Саль «Юный Жеан де Сантре» (1459 г.), которая является здесь символом куртуазно-рыцарской эпохи и защищает страну от грубого вторжения прозаической современности.

Оноре Де Бальзак

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Том 160

На основании п. 2.3 статьи 1 Федерального закона № 436-ФЗ от 29.12.2010 не требуется знак информационной продукции, так как данное издание классического произведения имеет значительную историческую, художественную и культурную ценность для общества

Верстка и работа с иллюстрациями
Д. Петерфельд
Дизайн обложки, подготовка к печати
А. Яскевича

Сдано в печать 11.05.2023
Объем 12,5 печ. листов.
Тираж 3100 экз.
Заказ № 2171/23

Бумага
Сыктывкарская пухлая книжная кремовая офсетная 60 г/м^2

ООО СЗКЭО
Телефон в Санкт-Петербурге: +7 (812) 365-40-44
E-mail: knigi@szko.ru
Интернет-магазин: www.сзкэо.рф

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт»,
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А,
www.pareto-print.ru



С легкой руки Бальзака выражение «шагреневая кожа» стало крылатым. Так можно назвать любой важный ресурс, который быстро и необратимо тает. Например, это может быть время, возможности или финансы. Шагренью называют хорошо выделанную мягкую козлиную или овечью кожу с характерной шероховатой поверхностью. В романе Бальзака «Шагреневая кожа» кусок такой шагрени играет роль мистического и могущественного талисмана, который главный герой Рафаэль де Валентен приобретает в антикварной лавке. Молодой человек готов от хронического безденежья свести счеты с жизнью, но талисман спасает несчастного, ведь эта кожа способна выполнять любые желания своего владельца. Об этом говорит находящаяся на ней таинственная надпись, которая, по мнению антиквара, сделана на санскрите. Однако за каждую реализованную мечту приходится платить. Кожа, символизирующая жизнь своего обладателя, каждый раз неизбежно сжимается. В масштабном цикле «Человеческая комедия», который Бальзак начал писать, перешагнув тридцатилетний рубеж, роман «Шагреневая кожа» отнесен к «Философским этюдам». Необычный мистический сюжет романа позволил писателю поразмышлять и о подспудных желаниях людей, и о цене, которую нередко приходится платить за их воплощение в жизнь.

Любопытно, что в первом издании романа, вышедшем в 1831 г., Бальзак привел содержание магической надписи только на французском. Она имела вид треугольника, начинавшегося со строчки «Обладая мною, ты будешь обладать всем...». В надписи было без артиклей 45 слов и 237 букв. «Оригинал» надписи появился лишь в издании 1838 г., но сделан он был не на санскрите, а на арабском языке. Перевести придуманный Бальзаком магический текст помог видный австрийский востоковед барон Йозеф фон Хаммер-Пургшталь. В его записи была сделана помарка, которую наборщики приняли за букву. В еще одном бегло написанном слове они поставили вместо исходной буквы другую, внешне с ней схожую, потеряв смысл фразы. В результате в издании 1839 г. арабский текст был воспроизведен уже с двумя ошибками. В более поздних публикациях романа, в том числе в его переводах на русский и английский языки, в магической формуле на арабском неточности только нарастали, и лишь в этом издании она воспроизведена абсолютно верно — по оригинальной записи Хаммера.

Издание украшают иллюстрации французского художника Шарля Уарда, который проиллюстрировал все сорок томов сочинений Бальзака. Уард прекрасно умел схватывать позы, эмоции и движения людей. Художник оставил после себя множество рисунков. В них, как и в произведениях Бальзака, была зафиксирована окружающая его жизнь во всей ее полноте.